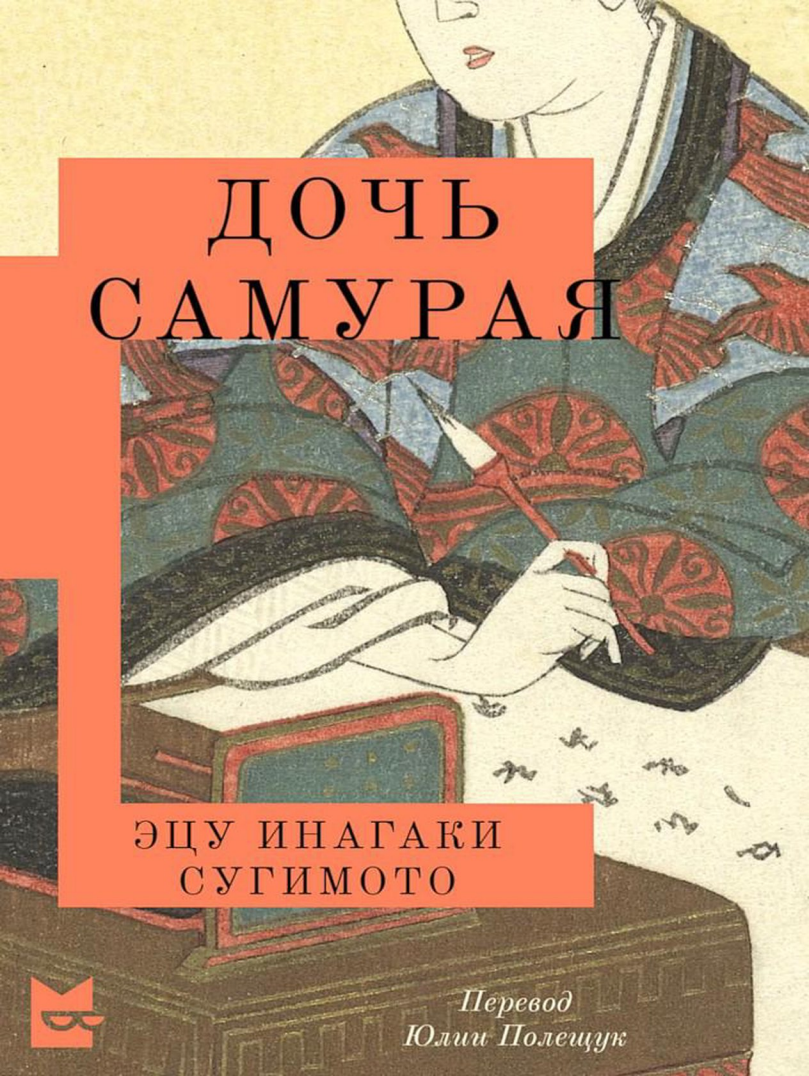

ДОЧЬ САМУРАЯ

ЭЦУ ИНАГАКИ СУГИМОТО

Перевод
Юлии Полещук

Дочь самурая
Эцу Инагаки Сугимото

Аннотация
Эцу Инагаки Сугимото. Дочь самурая
Глава I. Зимы в Этиго
Глава II. Кудрявые волосы
Глава III. Зимние дни
Глава IV. Старое и новое
Глава V. Опавшие листья
Глава VI. Солнечный новый год
Глава VII. Несостоявшаяся свадьба
Глава VIII. Две затеи
Глава IX. История марионетки
Глава X. День петуха
Глава XI. Моё первое путешествие
Глава XII. Наука странствий
Глава XIII. Иностранцы
Глава XIV. Учёба
Глава XV. Как я стала христианкой
Глава XVI. В плавание по неведомым морям
Глава XVII. Первые впечатления
Глава XVIII. Странные обычаи
Глава XIX. Размышления
Глава XX. Соседи

Глава XXI. Новые впечатления
Глава XXII. Цветок в чужом краю
Глава XXIII. Тиё
Глава XXIV. Снова в Японии
Глава XXV. Наш токийский дом
Глава XXVI. Досадные пустяки
Глава XXVII. Досточтимая бабушка
Глава XXVIII. Визит сестры
Глава XXIX. Японка былых времён
Глава XXX. Белая корова
Глава XXXI. Бесполезные сокровища
Глава XXXII. Чёрные корабли
Послесловие переводчика и редакторов
Над книгой работали

Аннотация

Детство Эцуко, родившейся в семье высокопоставленного самурая и воспитанной в традициях феодальной Японии, подчинено строгим ритуалам, а ее будущее определено заранее. Но стремительно приближающийся XX век нарушает казавшийся незыблемым уклад, чаяния семьи Инагаки терпят крах — и вот Эцу уже сосватана за японского торговца, живущего в Огайо. Юной девушке, не знающей английского языка и американской культуры, предстоит совершить долгий путь в другую часть света, суметь сохранить себя в чужой стране и стать по-настоящему счастливой, научившись сочетать японскую верность долгу с американской открытостью новому.

Автобиографический роман о столкновении двух культур в одной необыкновенной судьбе продолжает серию «Переводы Яндекс Книг» — совместный проект с «Подписными изданиями» и «Мастерской Брусникина».

Эцу Инагаки Сугимото
Дочь самурая

Как дочь феодальной Японии, словно вместив в свою жизнь сотни лет, стала современной американкой

Перевод с английского Юлии Полещук



* * *

С любовью, уважением и глубочайшей благодарностью я посвящаю эти благоговейные воспоминания ДВУМ МОИМ МАТЕРЯМ, что жили друг от друга так далеко и в таких разных мирах, но души их встретились во мне

БЛАГОДАРНОСТЬ

НЭНСИ ВИРДЖИНИИ ОСТИН, чья неоценимая дружба, бодрый дух и жизненный опыт помогли мне поверить в то, что маленькая Эцубо, сердце которой полно любви к старой Японии, способна собрать рассыпающиеся осколки самурайского духа и составить из них дивную мозаику для современного читателя

Глава I. Зимы в Этиго

Чужеземцы порой называют Японию страной солнца и цветов сакуры. Это всё потому, что туристы посещают только восточные и южные её районы, где климат мягкий и круглый год тепло. На северо-западном побережье зимы долгие и снег зачастую лежит с декабря до марта или апреля.

В провинции Этиго, где был мой дом, зима начиналась обильными снегопадами; снег валил без перерыва, так что вскоре из-под него виднелись лишь закруглённые толстые брёвна коньков наших крытых соломою крыш. Тогда выходили работники — на плечах соломенные циновки, на голове широкополые плетёные шляпы, похожие на зонты, — и большими деревянными лопатами прочищали проходы с одной стороны улицы на другую. С середины улиц снег не убирали вовсе. Длинные сугробы возносились выше крыш. Работники вырезали ступени в снегу — чистить его приходилось всю зиму, — а мы, детвора, поднимались по этим ступеням и бегали по сугробам, играли в разные игры: то в самураев,

вызволявших деревню из снежного плена, то в свирепых разбойников, что подкрадываются к ней, дабы напасть.

Но куда интереснее бывало, когда снегопады ещё не пришли и весь город готовился к зиме. Обычно это занимало несколько недель, и каждый день по пути в школу и из школы мы останавливались поглазеть, как работники деловито облекают статуи и небольшие уличные святилища соломенным зимним покровом. Каменные фонари, все кусты и деревья в наших садах укутывали соломой, и даже снаружи к стенам храмов для защиты от снега привязывали бамбуковыми верёвками циновки или огромные сети, сплетённые из соломы. Улицы каждый день меняли облик, и когда наконец соломой накрывали больших резных каменных львов у ступеней храмов, город являл собой причудливое зрелище: всюду соломенные шатры всевозможных форм и размеров, в ожидании снега, под которым мы окажемся погребены на три или четыре месяца.

В основном у больших домов крыши были соломенные, с широкими карнизами, лавчонки же крыли дранкою и придавливали доски камнями, чтобы в оттепель по весне не сходил лавиной снег. Над всеми тротуарами тянулась постоян-

ная крыша из стрех, зимой их огораживали, как стенами, деревянными щитами (впрочем, кое-где встречалась и вощёная бумага), так что улицы превращались в длинные коридоры, и даже в ненастье мы ходили по ним, полностью защищённые от ветра и снега. В коридорах царил сумрак, но всё-таки не темнота, потому что свет сквозь снег пробивается замечательно, и даже на перекрёстках — дорогу мы переходили по снежным туннелям — света было достаточно, чтобы разбирать крупные иероглифы. Возвращаясь из школы, я частенько читала домашнее задание в этих туннелях, точно те древние мудрецы, что корпели над книгами при свете снега.

Длинный хребет Кисо так надёжно отгораживает провинцию Этиго (а её название, к слову, и означает «за горами») от прочей Японии, что в Средние века власти считали Этиго холодной окраиной, куда можно ссылать тех, чьё высокое положение или общественное влияние не позволяло обращаться с ними как с обычными преступниками. Таковыми считали сторонников реформ. В ту давнюю пору в Японии к реформам что в политике, что в религии относились неодобрительно и самых прогрессивно мыслящих придворных, равно как и монахов особенно

широких взглядов, причисляли к смутьянам и отправляли жить в какое-нибудь захолустье, где о честолюбивых устремлениях приходилось забыть навсегда. Большинство тех, кого сослали в Этиго по политическим соображениям, обречены были умереть — и тогда их хоронили за пределами небольшого кладбища близ того места, где совершилась казнь, — или затеряться среди крестьян в каком-нибудь простом доме. В нашей литературе немало печальных историй о богатых и именитых молодых людях, которые, переодевшись паломниками, скитаются по селеньям Этиго в поисках сгинувших без вести отцов.

Со сторонниками религиозных реформ обходились милостивее; обычно их жизнь проходила в смиренных и безобидных трудах. Некоторые из основателей новых буддийских школ, отправленные в пожизненную ссылку, были людьми исключительно одарёнными, и постепенно их убеждения распространились столь широко, что Этиго по всей Японии прослыла оплотом буддизма в духе «новых школ». С самого раннего детства я слыхала истории священнослужителей и привыкла к изображениям, вырезанным на камнях, к статуэткам в горных пещерах, высеченным руками неутомимых средневековых монахов.

Жили мы в старинном городе Нагаоке; некогда здесь был выстроен замок. Семья наша состояла из моих отца и матери, моей досточтимой бабушки, брата, сестры и меня. Был ещё Дзия[1], главный слуга отца, моя няня Иси, а также Кин и Тоси. От случая к случаю приходили и другие старые слуги. У меня были и взрослые замужние сёстры, жили все далеко, кроме старшей, до её дома от Нагаоки можно было добраться на рикше где-нибудь за полдня. Время от времени она навещала нас, порой я возвращалась вместе с ней и гостила по нескольку дней в её большом сельском доме, крытом соломой; в древности здесь была крепость трёх гор. Самураи нередко сочетались браком с крестьянами — те считались по положению немногим ниже военных и пользовались уважением, поскольку «тот, кто владеет рисовыми полями, держит в руках судьбу своего народа».

Жили мы на самой окраине города в огромном просторном доме, на моей памяти его то и дело достраивали. В результате тяжёлая соломенная крыша провисала на стыках щипцов, оштукату-

---

[1] Примечания: 1

Это не имя, а, скорее, прозвище, которое означает «дед». Использовалось для пожилых слуг в Японии, особенно со стороны детей. — *Здесь и далее примечания переводчика, если не указано иное.*

ренные стены пестрели щербинами и заплатами, а многочисленные комнаты соединялись кривыми узкими коридорами, изгибавшимися порой самым неожиданным образом. Вокруг дома, но чуть поодаль высилась стена из расколотого булыжника, увенчанная низкой и плотной деревянной изгородью. Края крыши ворот загибались кверху; побуревшая солома там-сям поросла мхом. Держалась крыша на массивных столбах, меж которыми на фигурных железных петлях распахивались деревянные ворота; петли достигали за малым не середины тяжёлых досок. С каждой стороны стояла оштукатуренная стена — впрочем, недлинная — с узкими продолговатыми оконцами в деревянных решётках. Днём ворота не закрывались, но когда по вечерам к нам кто-то стучался и слышалось: «Таномо-о! Таномо-о!» («Позвольте войти!»[2]), то, даже если голос был хорошо знакомый — скажем, соседа, — Дзия, верный старинной привычке, непременно выглядывал в узкое оконце, прежде чем отворить гостю.

От ворот к дому вела дорожка из крупных неровных камней, в широких их трещинах росли

---

[2] Примечания: 2
Дословно: «Прошу».

первые чужеземные цветы, какие мне случилось увидеть — крохотные, круглые, на коротких стеблях, Дзия называл их пуговицами великана[3]. Кто-то дал ему семена, а поскольку Дзия считал, что иноземным цветам нечего делать в нашем почтенном саду, он схитрил — посеял семена там, где их неминуемо вытопчут наши дерзкие ноги. Но цветы оказались живучими и разрослись обильно, как мох.

То, что дом наш строился из чего придётся, было следствием одной из трагедий Реставрации[4]. В провинции Этиго, как и во многих других, верили в необходимость двойного правительства. Наши люди считали микадо фигурой священной — негоже императору вести войну и выполнять малоприятные государственные обязанности, — а потому боролись за сохранение власти сёгунов, которым их предки веками хранили верность. В ту пору мой отец был каро, то есть первым советником в княжестве Нагаока; этот пост он занял в шесть лет, когда тот неожиданно осво-

---

[3] Примечания: 3

Скорее всего, речь о портулаке.

[4] Примечания: 4

Реставрация Мэйдзи (1868–1889) — комплекс политических, военных и социально-экономических реформ, ознаменовавший переход от самурайской системы управления в виде сёгуната к прямому правлению императора Мэйдзи и его правительства.

бодился вследствие скоропостижной кончины моего дедушки. В силу некоторых необычных обстоятельств отец оказался единственным правителем, и так вышло, что в пору войн Реставрации он исполнял обязанности даймё.

В трагичнейшую минуту истории, какая когда-либо выпадала на долю Нагаоки, провинция Этиго оказалась с теми, кто потерпел поражение. Едва моя мать узнала, что дело её мужа проиграно, а его заточили в темницу, она тут же отправила всех домашних в безопасное место, после чего собственными руками подожгла наш дом, чтобы он не достался врагам, и смотрела со склона горы, как он сгорает дотла.

Когда бурные военные годы остались позади и отца освободили от обязанностей, каковые ему было велено исполнять, пока центральное правительство не упрочит своё положение, он собрал всё, что осталось от родового добра, и, поделившись с бывшими своими вассалами, которые ныне чувствовали себя как рыба, выброшенная на сушу, выстроил временный дом на месте бывшего фамильного гнезда. Затем разбил близ него небольшую шелковичную рощу и гордился тем, что положением сравнялся с крестьянами. Люди из сословия самураев ничего не смыслили

в торговле. Иметь дело с деньгами для них издавна считалось позором, так что дела передали верному, но совершенно неопытному Дзие, отец же занимал себя чтением, воспоминаниями и тем, что знакомил своих более косных соседей с идеями прогрессивных реформ, которым они упорно сопротивлялись.

Но от одной роскоши отец так и не отказался. Официальный визит в столицу — до реставрации закон обязывал людей его положения совершать такое путешествие раз в два года[5] — превратился в неофициальную ежегодную поездку, которую отец шутя называл окном в будущее. Название это подходило как нельзя лучше, ведь ежегодные эти поездки позволяли и отцу, и всей нашей семье хоть издали следить за тем, как развивается Япония. Отец всегда привозил из столицы чудесные каллиграфические картины и странные, необычные вещицы: слугам всякие безделицы, детям игрушки, моей матери полезные предметы обихода, а досточтимой бабушке — иноземные редкости.

---

[5] Примечания: 5

Речь идёт о системе поочерёдного прибытия «санкин котай», когда даймё различных княжеств вместе с приближёнными были обязаны прибывать в столицу Эдо раз в два года. Система была установлена в 1635 году для контроля сёгуната над элитами княжеств. — *Прим. науч. ред.*

В этих поездках отца неизменно сопровождал Дзия; по своим обязанностям управляющего ему доводилось входить в сношения с торговцами, а потому он был наслышан о том, как иностранцы ведут дела с японцами. Все признавали, что иностранцы торгуют умно, и пусть порой сделки оказывались исключительно невыгодными для японцев, всё-таки деловые качества чужеземца вызывали восхищение и стремление подражать. Свет не видывал души честнее Дзии, но из-за слепой верности интересам обожаемого господина ему однажды случилось запятнать наше имя позором — на то, чтобы смыть это пятно, ушли долгие месяцы и крупные суммы. Кажется, никто из сторон так толком и не осознал, что именно приключилось. Я знаю, что Дзия всю жизнь ломал над этим голову и казнил себя за проступок.

А случилось вот что.

Дзия свёл знакомство с одним японцем, тот, как агент иностранцев, скупал в окрестных деревнях карточки с яйцами тутового шелкопряда. На такие карточки специальными чернилами наносили имя или камон[6] (герб) хозяина. Потом

[6] Примечания: 6

Камон — японский геральдический символ, стилизованное изображение цветов, растений, предметов и т. п., используемый в качестве знака рода или семьи. — *Прим. науч. ред.*

карточки расстилали под жилищами бабочек, и те откладывали на них тысячи крохотных, как зёрнышки, яиц. После этого карточки сортировали и продавали перекупщикам.

И этот агент — а человек он был очень богатый — сказал Дзие, что если подменить яйца горчичными зёрнами, то эти карточки можно выгодно продать и его хозяин озолотится. И присовокупил, что все купцы Иокогамы ныне ведут дела именно на такой иностранный манер. Якобы это «новый способ укрепить могущество Японии, дабы надменные варвары впредь не могли обойти в торговле сынов Японии».

Шелковичная роща моего отца кормила множество шелководов округи, поэтому агенту было выгодно использовать его имя, а бедняга Дзия, польщённый возможностью устроить дела на новый разумный манер, разумеется, охотно ему помог. Агент изготовил карточки на сотни иен, все с гербом моего отца. Деньги, скорее всего, прикарманил; как бы то ни было, мы узнали об этой афере, лишь когда к отцу заявился высоченный краснолицый чужеземец в одежде с диковинными трубообразными рукавами. Тот день запомнился мне навсегда! Мы с сестрой, послюнив кончик пальца, протирали дырочки

в бумажных дверях, чтобы поглазеть на удивительного чужака. Мы знали, что это неприлично и нам не по чину — так ведут себя простолюдинки, — но такой случай подворачивается раз в жизни.

У меня нет причин полагать, что этот чужеземец был в чём-нибудь виноват, и, возможно — возможно! — агент тоже считал, что всего лишь соперничает в ловкости с чужеземцами. В те странные дни о многом судили неверно. Разумеется, мой отец, ничего не знавший о сделке, заплатил по счетам и восстановил своё доброе имя, но вряд ли понял, что всё это значит. В те годы слуги нередко совершали откровенные глупости: в нелепых сердцах этих простаков верности и любви к господину было куда больше, чем мудрости.

Долгими зимними вечерами я любила пробраться на половину слуг, посмотреть, как они работают, послушать их рассказы. Однажды вечером — мне было лет семь — я быстро шла по изгибавшейся веранде, которая вела в ту часть дома, как вдруг услышала голоса, перемежавшиеся глухим стуком, с каким снег сбрасывали с крыши. Обычно крышу после заката не чистили, но сейчас Дзия препирался с главным работником

и настаивал, что эту работу необходимо сделать сейчас же.

— Сам посмотри, как метёт, — донёсся до меня его голос, — к утру, если не почистить, снег проломит крышу.

Вообще-то пора идти на службу в храм, проворчал в ответ работник, и тут раздался глухой звон храмового колокола. Но Дзия настоял на своём, и работники продолжили чистить крышу. Я подивилась дерзости работника, осмелившегося перечить воле Дзии. В моих детских глазах Дзия был личностью незаурядной: он всегда прав и слово его закон. Но при всём моём уважении к его мудрости я любила его всем сердцем, и не без причины: ведь у него всегда находилась минутка смастерить для меня куколку из соломы или рассказать мне сказку, когда я сидела на камне в саду и наблюдала за его работой.

Людская занимала просторную комнату. Половину дощатого пола покрывали разбросанные там-сям соломенные циновки. Здесь пряли, мололи рис и делали всякую кухонную работу. Пол на другой половине — для грязной и трудной работы — был из плотной глины. Посередине

людской размещался очаг[7] — большой, обмазанный глиной, прямоугольный, ниже уровня пола, — подле него стояла корзина с дровами. С балки под самым потолком свисала цепь, на неё вешали утварь, потребную для готовки. Дым уходил в отверстие в центре крыши, а чтобы в дождь людскую не заливало, отверстие прикрывала ещё одна крыша, поменьше.

Я вошла в просторную комнату; гул домашней работы мешался со смехом и болтовнёй. В одном углу служанка молола рис на завтрашние данго; другая шила тряпочки из старого кимоно; ещё две перебрасывали друг другу плоскую корзину — отделяли красную фасоль от белой, а чуть поодаль крутила палочкой прялку Иси.

Меня поприветствовали: слуги любили, когда к ним заглядывала Эцубо-сама, как они меня называли. Одна из служанок поспешила принести мне подушку, другая подбросила в тлеющие уголья пригоршню сушёной каштановой скорлупы. Мне нравилось наблюдать за переменой оттенков каштановых угольков, и я остановилась полюбоваться ими.

— Идите сюда, Эцубо-сама! — окликнули меня

---

[7] Примечания: 7
Речь об ирори.

ласково.

Это была Иси. Она пересела на циновку, а свою подушку отдала мне. Она знала, как я люблю крутить прялку, и сунула мне клубочек хлопка, крепко придерживая его рукой. До сих пор помню, как мягко скользила нить сквозь мои пальцы, когда я вертела большое колесо. Боюсь, что пряжа моя получалась неровной, так что, пожалуй, к счастью для Иси, вскоре меня отвлекло появление Дзии. Он расстелил циновку на глиняном полу, сел, вытянув ногу; между пальцами ступни Дзия зажал конец верёвки, которую плёл из рисовой соломы.

— Дзия-сан, — проговорила Иси, — у нас почётная гостья.

Дзия мигом поднял глаза, забавно и часто закивал над вытянутой верёвкой и с улыбкой протянул мне соломенные сапожки юки-гуцу, висящие у него на шнурке.

— Ой! — воскликнула я, вскочила и бросилась к Дзие. — Это мне? Ты их доделал?

— Да, Эцубо-сама, — ответил Дзия и вложил мне в руки сапожки, — и доделал я их очень вовремя. Столько снегу в этом году ещё не было. И когда вы завтра пойдёте в школу, сможете срезать путь напрямую через поля и ручьи: дороги-то заметёт.

Как обычно, предсказание Дзии сбылось. Без юки-гуцу мы, девочки, нипочём не попали бы в школу. А благодаря тому, что Дзия заставил работников с вечера почистить снег, наша крыша не проломилась под его тяжестью: к утру полуторараметровый слой снега покрыл и дорожки в нашем саду, и вершину длинного белого уличного сугроба.

Глава II. Кудрявые волосы

Однажды слуги вернулись из храма, с оживлением обсуждая пожар, уничтоживший великий Хонгандзи[8] в Киото. А поскольку то был главный храм школы Дзёдо-синсю, наиболее популярной в народе, многие желали его восстановить и пожертвования текли со всех концов империи. Средневековые буддисты-изгнанники оставили в Этиго неизгладимый след, и вскоре наша провинция превзошла все прочие в стремлении отдавать, а средоточием такого порыва стала Нагаока.

Первый и пятнадцатый день месяца — когда работники отдыхали — были излюбленным временем сбора средств; мы жертвовали главным образом то, что сами производили, и было любопытно наблюдать за толпой, которая в эти дни запруживала улицы. Здесь были не только наши горожане, каждый с корзиной или свёртком: ежечасно со всей округи — с гор и из соседних

---

[8] Примечания: 8

Общее название храмов буддийской школы Дзёдо-синсю, но в данном случае имеется в виду древнейший из них, в Киото (построен в 1321 году).

деревень — прибывали всё новые люди. Приносили верёвки, пеньку, стебли бамбука, длинные их концы волочились по земле; женщины из деревень, где процветало ткачество, тащили рулоны хлопка и шёлка, крестьяне тянули длинные повозки, доверху нагруженные мешками с «пятью злаками» — рисом, пшеницей, овсом, фасолью и просом[9], а жёны крестьян (зачастую с младенцем на спине) толкали повозку сзади. Все эти дары сносили в большое здание, выстроенное специально для этого, и каждый день запасы добра прирастали.

Однажды мы с Иси стояли у наших высоких ворот и наблюдали за идущими мимо. Я заметила, что почти все женщины повязали на голову сине-белое полотенце-тэнугуи, как делают служанки, когда подметают пол или хлопочут на кухне.

— Почему они все в тэнугуи? — спросила я.

— Эти женщины обрезали волосы, Эцубо-сама, — ответила Иси.

— Они все вдовы? — изумилась я, поскольку лишь вдовы по традиции обрезали волосы до плеч и отрезанное хоронили с мужем.

Я подумала, что никогда в жизни не видела

[9] Примечания: 9

«Пять злаков» — рис, просо, чумиза, бобы и муги — в японском буквально означает «урожай». — *Прим. науч. ред.*

столько вдов, но вскоре выяснилось, что все эти женщины обрезали волосы, чтобы сплести из них толстенный канат и с его помощью поднять бревно для центральной балки нового храма. Наши служанки тоже остригли локоны, но с куда меньшим рвением, чем крестьянки: оставшихся волос хватало, чтобы завязать какой-никакой узел. Правда, одна из служанок в религиозном порыве постриглась так коротко, что ей пришлось на три года отложить свадьбу, поскольку с короткими волосами замуж не выходят. Вряд ли в те годы нашёлся б смельчак, отважившийся жениться на девушке, стриженной как вдова: это считалось недобрым знаком.

Наше семейство не принадлежало к школе Дзёдо-синсю, но всякая женщина, к какой бы школе буддизма ни принадлежала, хотела поучаствовать в богоугодном деле, и каждая из нас обрезала сколько-то прядей. Волосы отнесли в здание, где хранили пожертвования, и сплели из них длинные толстые канаты, а перед самой отправкой в Киото провели пышную религиозную церемонию и освятили дары.

Мне, ребёнку, казалось, в тот день в Нагаоке собрался весь свет. Уж конечно, обитатели всей округи, всех соседних деревень запрудили узкие

улочки, по которым мы с Иси шли в храм. Но в конце концов мы отыскали укромный уголок, и я, вцепившись в руку Иси, изумлённо разглядывала величественную, золотисто-чёрную лакированную святыню, стоявшую на повозке у самого входа в храм. Резные двери были распахнуты настежь, так что видна была статуя ясноликого Будды со сложенными руками. У подножия статуи, постепенно ширясь и удлиняясь, располагалась изящная конструкция, символизирующая «пятицветные облака рая». Резные облака были унизаны множеством цветков лотоса; золотистые, серебряные, розовые, лиловые, оранжевые — казалось, они парили в воздухе. Удивительная красота. С рогов и упряжи двух волов, которых гордые земледельцы привели специально для этого случая, струились длинные разноцветные шёлковые ленты.

Вдруг всё стихло. Затем ударили в гонг и хор голосов смешался с пронзительным рёвом храмовых труб.

— Смотрите, Эцубо-сама! — сказала Иси. — Священный Будда пускается в благодарственное путешествие. Впервые за долгие годы Благословенный покинул алтарь. Сегодня великий день!

Волы дёрнулись, потянули большое деревян-

ное ярмо, святилище с позолоченным Буддой тронулось с места, и по толпе прокатился шёпот: «Наму амида буцу!» («Славься, великий Будда!»). Я благоговейно склонила голову, сложила руки и тоже прошептала священные слова.

К передней части повозки были привязаны две длинные верёвки, скрученные из полос лиловой и белой ткани; верёвки эти тянулись далеко за волов, к поющим священнослужителям, которые шли впереди. Мужчины и мальчики, женщины (некоторые несли на спине детей) и девочки, ребятня всех возрастов цеплялись за эти верёвки. Я заметила подружку.

— Иси! Иси! — воскликнула я и с такой силой дёрнула её за рукав, что едва не оторвала. — Смотри, там Садако-сан держится за верёвку! Можно я пойду рядом с ней и тоже буду держаться за верёвку? Можно?

— Тише, маленькая госпожа. Не забывайте, что вы дочь самурая и должны вести себя подобающе. Да, я пойду рядом с вами. Ваши ручки помогут священному Будде.

Мы с Иси присоединились к шествию. Наверное, никогда в жизни я не ощущала такого восторга, как в тот час, когда мы шагали по узким улочкам за торжественными священнослужи-

телями, я сжимала верёвку, привязанную к большой скрипучей повозке, а сердце моё полнилось трепетом и благоговением.

Само освящение мне помнится очень смутно. Вокруг нового здания высились пирамиды всевозможных пожертвований. Статую Будды подвезли и поставили перед лиловым занавесом с нарисованной на нём крупной свастикой[10]. Священнослужители с пением шествовали в величественных одеяниях, сжимая в сложенных руках хрустальные чётки. Повсюду слышался аромат благовоний, негромкий стук храмовых барабанов и шёпот: «Наму амида буцу!»

Лишь одна вещь из просторного храма врезалась мне в память. На помосте пред алтарём, у самых ног священного Будды, чернели огромные кольца каната, сплетённого из волос тысяч женщин. Я вспомнила день, когда я решила, будто все женщины, кого я вижу на улице, вдовы, вспомнила наших служанок с их реденькими волосами, а потом со жгучим стыдом вспомнила и тот день, когда мы отправили собственное пожертвование: в нём, помимо длинных, блестящих, прямых волос моей сестры лежала короткая прядь, уни-

[10] Примечания: 10

Левосторонняя свастика считается в буддизме символом счастья. — *Прим. науч. ред.*

зительно извивавшаяся уродливыми волнами.

Даже долгие годы спустя мне по-прежнему жаль ту девочку, какой я была когда-то, — стоит мне вспомнить, сколько мытарств ей довелось претерпеть из-за волнистых волос. В Японии кудрявых не жаловали, и хоть я была младше сестёр, но, когда полагалось делать причёски — три раза в десять дней, — меня первой препоручали заботам мастерицы, едва она переступала порог нашего дома. Это было не принято, обычно первой идёт старшая сестра. Вымыв мне голову, мастерица умащивала мне волосы горячим чаем — за малым не кипятком — смешанным с каким-то маслом, которое придаёт волосам жёсткость. Затем зачёсывала мне волосы назад и завязывала как нельзя туже. Так я сидела, пока мастерица делала причёски моим сёстрам. К тому времени голова у меня немела, брови ползли на лоб, но волосы на какое-то время выпрямлялись, и их можно было с лёгкостью уложить в два блестящих узла, перевязанных гладким шнурком: эта причёска шла мне более прочих. Помню, ночью я старалась лежать тихонько, не шевелясь на деревянной подушечке, но к утру на шее всё равно выбивались непокорные завитки, а узлы волос на макушке подозрительно изгибались. Как я зави-

довала длинным прямым волосам придворных дам с картины-свитка, что висела в моих покоях!

Однажды я взбунтовалась и грубо ответила няньке — та пыталась меня утешить, когда мне в очередной раз «склеивали» волосы. Старая добрая Иси сразу меня простила, но матушка услышала и позвала меня к себе. Помню, я угрюмо поклонилась ей и уселась перед её подушкой, а матушка сказала, глядя на меня очень строго:

— Эцуко, ты разве не знаешь, что волнистые волосы выглядят как звериная шерсть? Дочери самурая негоже смахивать на животное.

Я смертельно обиделась, но впредь никогда не жаловалась на неудобства, которые причиняли мне горячий чай и ароматное масло.

В день моего семилетия[11] я пережила унижение столь мучительное, что мне до сих пор больно о нём вспоминать. Празднование семилетия для японок так же важно, как первый выход в свет для юных американок. На торжество пригласили всех наших родственниц; я в прелестном новом кимоно занимала почётное место. Мне сделали искусную причёску, но день был дождливый, и, наверное, какие-то упрямые мелкие прядки

[11] Примечания: 11

По европейской системе исчисления возраста Эцу шесть лет, но в Японии возраст традиционно считали с момента зачатия.

вырвались из своего тугого узилища, поскольку я услышала, как одна из моих тёток сказала: «Зря Эцу вырядили в такое красивое кимоно. Оно лишь привлекает внимание к её безобразным вьющимся волосам».

Как глубоко способен чувствовать ребёнок! Мне хотелось съёжиться и исчезнуть в кимоно, которым я так гордилась, однако я глядела прямо перед собой и не двигалась. Тут Иси внесла рис и посмотрела на меня с такой болью, что я сразу поняла: она всё слышала.

Вечером Иси пришла меня раздевать, не сняв сине-белого полотенца-тэнугуи, каким служанки в Японии повязывают себе волосы, когда хлопочут по дому. Я удивилась: показываться перед вышестоящим с покрытой головой неучтиво, а Иси всегда была исключительно вежлива. Вскоре я узнала, в чём дело. Едва обед завершился, Иси направилась в храм, отрезала свои прекрасные прямые волосы, положила их перед святилищем и попросила богов передать её волосы мне. Моя добрая Иси! Сердце моё по сей день благодарит её за столь жертвенную любовь.

Кто сказал, что Бог не смилуется над невежественными, однако любовными стараниями простой души избавить от унижения девочку,

которую она так любила? Как бы то ни было, молитвы Иси были услышаны долгие годы спустя, когда рука судьбы направила мои стопы в края, где кудрявые волосы уже не стоили мне ни стыда, ни печали.

Глава III. Зимние дни

В моём детстве садиков не было, но задолго до той поры, когда меня могли принять в новую школу — туда брали с семи лет, — я получила прочные основы знаний для последующего изучения истории и литературы. Моя бабушка любила читать, и долгими снежными зимами, когда мы практически не выходили из дома, по вечерам мы, дети, подолгу сиживали подле печки-хибати, слушая её рассказы. Так я с младых ногтей познакомилась с нашей мифологией, с жизнеописаниями величайших исторических деятелей Японии и в общих чертах с сюжетами многих лучших наших произведений. Ещё из уст моей бабушки я узнала многое о старых классических драмах. Сёстры мои получили обычное для девочек образование, мне же прочили иную стезю: стать монахиней. Я родилась с пуповиной, обвившейся вокруг шеи на манер монашеских чёток, а в те годы бытовало поверье, что это прямое указание Будды. И бабушка, и мать искренне верили в это, а поскольку в японских семьях детьми и домом ведает женщина, мой отец безропотно подчинился искреннему

желанию бабушки готовить меня в монахини. Но наставника выбрал мне сам: пригласил знакомого монаха, человека очень учёного; о храмовых порядках я от него узнала не много, зато мы с ним досконально изучали Конфуция. Труды его слыли основой литературной культуры, вдобавок мой отец считал Конфуция величайшим духовным учителем и нравственным ориентиром.

Сэнсэй всегда приходил в те дни, что оканчивались на тройку или семёрку — то есть третьего, седьмого, тринадцатого, семнадцатого, двадцать третьего и двадцать седьмого числа, в соответствии с нашей традицией разбивать дни по лунному календарю не на семёрки (как принято в солнечном календаре), а на десятки. Я обожала наши занятия. Величественный облик сэнсэя, церемонность его манер и строгое послушание, которое от меня требовалось, утоляли мою тягу к эффектным зрелищам. Да и окружающая обстановка производила на меня глубокое впечатление. В дни, когда мы занимались, комнату убирали с особенным тщанием, и когда я входила в неё, моему взору открывался один и тот же образ. Я закрываю глаза и вижу его так же ясно, как если бы это было час назад.

Комната была светлая, просторная; от садовой

веранды её отделяли раздвижные бумажные двери с тонкими деревянными перекладинами. Татами с чёрной каймой пожелтели от времени, но на них не было ни пылинки. В комнате стояли книги, письменные столики, а в токономе[12] на стенке висела картина-свиток: портрет Конфуция. Перед ним на невысокой тиковой подставочке курились благовония. По одну сторону сидел мой учитель, просторные серые одеяния величественными прямыми складками накрывали его согнутые колени, на плече золотилась парчовая накидка, на левом запястье висели хрустальные чётки. Сэнсэй всегда был бледен, и глубокие серьёзные глаза его под монашеской шапкой казались бархатными, как вода в глубоком колодце. Человека более кроткого и добродетельного мне видеть не доводилось. Долгие годы спустя он доказал, что праведное сердце и прогрессивный ум вкупе способны достичь небывалых высот; в итоге его отлучили от ортодоксального храма за проповедь реформаторской доктрины, объединявшей буддийские и христианские верования. Намеренно или случайно, но именно этого сво-

[12] Примечания: 12

Альков или ниша в стене традиционного японского дома. Обычно в токономе вешают свитки-какэмоно, ставят курильницы для благовоний, вазы для цветов.

бодомыслящего священнослужителя выбрал мне в наставники мой свободомыслящий, хоть и консервативный отец.

Занимались мы по книгам, предназначенным только для мальчиков: в ту пору девочки китайскую классику всё-таки не изучали. Первые мои уроки были по Четверокнижию. А именно: «Дайгаку» («Великое учение»), оно учит тому, что мудрое приложение знания ведёт к добродетели; «Тюё» — «Незыблемая суть», в этой книге рассматриваются непреложные универсальные законы; «Ронго» и «Моси»[13] — в них вошли жизнеописание, поучительные истории и изречения Конфуция, собранные его учениками.

Мне было всего шесть лет, и, разумеется, из этого трудного чтения я не вынесла ничего. Мой ум наполняли слова, в которых таились великие мысли, но для меня они в ту пору не имели значения. Порой мне казалось, что я почти уловила смысл и, заинтересовавшись, просила учителя объяснить. Он неизменно ответствовал: «Хорошенько подумаешь — и слова станут яснее» или «Прочти стократно — постигнешь смысл сказанного». Как-то раз он заметил: «Ты слишком

---

[13] Примечания: 13
Имеются в виду книги «Беседы и суждения» и «Мэнцзы».

мала, чтобы постичь всю глубину сочинений Конфуция».

Несомненно, так и было, но заниматься мне нравилось. В лишённых смысла словах был определённый ритм, как в музыке, и я охотно глотала страницу за страницей, так что в конце концов вызубрила все важные фрагменты из четырёх книг и могла отбарабанить их, как глупенькую считалку. Однако же занятия не пропали втуне. Постепенно, с годами, я поняла выдающиеся мысли великого философа древности, и порой, когда в памяти всплывает выученный в детстве отрывок, смысл его, подобно солнечному лучу, вспыхивает перед моим внутренним взором.

Сэнсэй проходил со мной эти книги с тем же усердием, с каким и каноны своей религии, то есть оставив всякое попечение о суетных благах. Во время урока он был вынужден, вопреки своему смиренному желанию, сидеть на шёлковой подушке, принесённой горничной: подушки служили нам стульями, а учитель — персона слишком уважаемая, чтобы позволить ему сидеть на одном уровне с учеником, но во всю продолжительность нашего двухчасового занятия сэнсэй сидел не шелохнувшись, двигались только его руки и губы. Я же сидела перед ним на татами в

столь же почтительной и неизменной позе.

Но однажды я пошевелилась. Дело было в середине урока. По какой-то причине я встревожилась и покачнулась, так что согнутое колено чуть выпрямилось. По лицу моего учителя мелькнула еле заметная тень удивления; с невероятным спокойствием он закрыл книгу и сказал мне кротко, но строго:

— Маленькая госпожа, очевидно, ваш ум сегодня не настроен на учёбу. Вам лучше пойти к себе и поразмыслить о том, что мы с вами прошли.

Детское сердце моё пронзил стыд. Делать нечего. Я смиренно поклонилась портрету Конфуция, потом сэнсэю, вежливо попятилась из комнаты и, как водится, отправилась сообщить отцу, что занятие завершилось. Отец удивился, ибо время ещё не вышло, и его беспечное замечание: «Как быстро ты сегодня управилась!» — оглушило меня похоронным звоном. Мне по сей день мучительно вспоминать об этой минуте.

И монахи, и учителя привыкли во время занятий не заботиться о телесном удобстве; стоит ли удивляться, что обычные люди прониклись убеждённостью, будто смирение плоти способствует вдохновению. По этой причине мою учёбу планировали таким образом, чтобы самые трудные

предметы и самые долгие занятия приходились на тридцать дней в середине зимы: в календаре они значатся как самые холодные дни в году. Наиболее суровым считается девятый день, и в этот день мне следовало заниматься с особенным прилежанием.

Никогда не забуду один такой «девятый день»; сестре тогда было лет четырнадцать. Вскоре её должны были выдать замуж, и поэтому она шила. Я же занималась каллиграфией. В те дни считалось, что человек образованный обязательно должен владеть каллиграфией. И не столько ради красоты — хотя упражнение в мастерстве японской каллиграфии действительно требует такой же увлечённости, как и живопись от художника: считалось, что, дабы научиться целиком и полностью владеть своими мыслями, необходимо прилежно и терпеливо выводить кистью затейливые иероглифы. Душевная смута или небрежность неизменно давали о себе знать, ведь сложная растушёвка требует абсолютной собранности и точности жеста. Вот так, внимательно направляя руку, мы, дети, учились держать ум в узде.

С первым проблеском солнца в этот «девятый день» Иси пришла меня будить. Стояла лютая

стужа. Иси помогла мне одеться, я собрала принадлежности для каллиграфии, сложила большие листы бумаги стопкою на столе, аккуратно вытерла шёлковой тряпочкой все кисти в чернильнице. В ту пору в Японии настолько преклонялись перед образованием, что даже предметы, которыми мы пользовались, считались почти священными. В такие дни мне полагалось самой готовиться к занятиям, но моя добрая Иси не отходила от меня ни на шаг и помогала чем могла, — хотя, разумеется, не делала за меня мою работу. Наконец мы вышли на веранду, которая смотрит в сад. Небо было серое, всюду лежали сугробы. Помню, перистые верхушки бамбука в роще были так густо усыпаны снегом, что походили на раскрытые зонтики. Раз-другой слышался громкий треск, и пушистый снег осыпался на землю: стволы не выдерживали его тяжести. Иси надела соломенные юки-гуцу, усадила меня на закорки и медленно подошла к дереву; я дотянулась до нижней ветки и набрала в горсть чистейший девственный снег — только что с неба. Я топила его; талый снег был мне нужен для каллиграфии. Мне полагалось самой выйти в сад за снегом, но Иси сделала это за меня.

Поскольку отсутствие мирских удобств обу-

словливало вдохновение, разумеется, я занималась в комнате без очага. Дома у нас строят как в тропиках, так что в отсутствии печурки-хибати с тлеющими угольями холодно в комнате было точь-в-точь как на улице. Японская каллиграфия — занятие тщательное и неторопливое. Тем утром я отморозила пальцы, но поняла это, лишь когда подняла голову и увидела, как добрая нянька плачет, глядя на мою багровую руку. В ту пору с детьми, даже такими маленькими, как я, не церемонились, так что ни я, ни Иси не пошевелились, пока я не закончила урок. И лишь тогда Иси укутала меня в большое утеплённое кимоно, вдобавок подогретое, и спешно отнесла в комнату бабушки. Там меня ждала миска тёплой сладкой рисовой каши, которую бабушка сварила собственноручно. Спрятав замёрзшие коленки под мягкое стёганое одеяло, накрывавшее очаг-котацу, я ела кашу, Иси тем временем растирала снегом мою онемевшую руку.

Разумеется, никто и никогда не ставил под сомнение необходимость подобных строгостей, но я полагаю, что моя матушка всё же порой переживала из-за этого, поскольку я росла болезненной. Как-то раз я вошла в комнату, когда они с отцом разговаривали.

— Досточтимый супруг, — говорила мать, — порой я дерзаю задаться вопросом, не слишком ли занятия Эцубо суровы для не самого сильного ребёнка.

Отец привлёк меня к своей подушке и ласково взял за плечо.

— Мы не должны забывать, жена, — ответил он, — об устоях самурайского дома. Львица сталкивает детёныша с утёса и без тени жалости смотрит, как он медленно карабкается обратно из долины, хоть сердце львицы при этом разрывается от боли за львёнка. Но это необходимо, чтобы он набрался сил для дела своей жизни.

В семье меня называли Эцубо, потому что воспитывали и наставляли как мальчика: суффикс «бо» обычно используют в именах мальчиков, а в именах девочек — «ко». Однако занятия мои не ограничивались мальчишечьими. Меня, как и моих сестёр, учили домоводству — шить, ткать, вышивать, готовить, а также искусству икебаны и всем премудростям чайных церемоний.

Впрочем, жизнь моя не состояла из одной лишь учёбы. За играми я провела немало счастливых часов. По традициям старой Японии у нас, детей, для каждого времени года были свои игры — и для тёплых сырых дней ранней весны, и для летних

сумерек, и для свежей душистой осенней поры, когда собирают урожай, и для ясных, морозных и снежных зим. Я любила их все — от простейшей забавы зимних вечеров, когда мы бросали иголку с ниткой в стопку рисового печенья — посмотреть, сколько каждая из нас нанижет лепёшек на нитку, — до каруты, упоительнейшего состязания, кто больше вспомнит стихов.

Были у нас и подвижные игры: группа детей — разумеется, только девочки — собиралась где-нибудь в просторном саду или на тихой улочке, где вокруг домов — изгороди из бамбука и вечнозелёных растений. Там мы бегали и кружились — играли в «Горную кицунэ» и в «Поиски клада»; мы кричали, визжали, играли в запретную для нас мальчишескую игру — ходили на ходулях, это называлось «Езда на бамбуковой лошадке, которая высоко вскидывает ноги», прыгали наперегонки (это называлось «Одноногие»).

Но никакие игры — ни уличные, нашим коротким летом, ни домашние, нашей долгой зимой — не нравились мне так, как нравилось слушать рассказы. Служанки знали массу историй о монахах и причудливых рассказов, передававшихся из уст в уста от поколения к поколению, а Иси — у неё была лучшая память и самый бойкий

язык — помнила несметное множество безыскусных старинных легенд. Ни разу я не уснула, не выслушав повествования, изливавшегося из её неутомимых губ. Нравились мне и степенные рассказы моей досточтимой бабушки, и те счастливые часы, которые я, чинно сложив руки, проводила подле неё на татами — ибо, когда бабушка разговаривала со мной, я не позволяла себе сидеть на подушке, — оставили долгие и прекрасные воспоминания. Истории Иси я слушала по-другому — в тепле и уюте, свернувшись калачиком на мягких подушках постели, хихикала, перебивала, просила: «Ещё одну!», как могла оттягивала минуту, когда Иси со смехом, однако решительно тянулась к моему ночнику, окунала один фитилёк в масло, выпрямляла другой и поправляла бумажный абажур. И тогда я, окружённая наконец мягким, неярким светом сумрачной комнаты, должна была сказать няне «спокойной ночи» и лечь в *кинодзи*[14] — позу, в которой надлежало спать каждой дочери самурая.

---

[14] Примечания: 14

То есть в позу, напоминающую знак хираганы «ки» (он похож на человека, лежащего на боку).

Глава IV. Старое и новое

Мне было лет восемь, когда я впервые отведала мясо. На протяжении двенадцати веков, с тех самых пор, как в Японию пришёл буддизм — а эта религия запрещает убивать животных, — японцы были вегетарианцами[15]. Однако в последние годы и верования, и традиции существенно изменились, мясо теперь едят пусть и не повсеместно, однако его можно найти во всех гостиницах и ресторанах. Но в моём детстве на мясоедение смотрели с ужасом и отвращением.

Я прекрасно помню тот день, когда я, вернувшись из школы, обнаружила, что дом наш окутан унынием. Я ощутила его, едва переступила порог, разулась и услышала, как мама негромко и угрюмо отдаёт распоряжения служанке. В конце коридора толпились слуги, явно взволнованные, но и они переговаривались вполголоса. Разумеется, поскольку я ещё не успела поприветствовать старших, то и вопросов не задавала, но меня не

[15] Примечания: 15

Не совсем так. В японской истории были прецеденты, когда японцы в том или ином конце страны могли есть мясо из-за торговых или религиозных предпосылок. — *Прим. науч. ред.*

отпускало тревожное предчувствие беды, и мне стоило больших усилий пройти спокойно и неторопливо в комнату моей бабушки.

— Досточтимая бабушка, я вернулась, — пробормотала я и, как всегда, с поклоном уселась на пол.

Бабушка ответила мне поклоном, ласково улыбнулась, но я заметила, что она мрачнее обычного. Они со служанкой сидели у нашего семейного алтаря, золотисто-чёрного шкафчика-буцудана. Перед ними стоял большой лакированный поднос со свитками белой бумаги, ею служанка заклеивала позолоченные дверцы алтаря.

Как почти во всех японских домах, алтарей у нас было два. Если кто-то из домашних болел или умирал, дверцы простого деревянного синтоистского алтаря-камиданы в честь богини солнца Аматэрасу, императора и нации заклеивали белой бумагой, дабы уберечь от скверны. Но дверцы позолоченного буддийского алтаря в такие минуты всегда оставались открытыми, ведь буддийские святые утешают скорбящих и провожают усопших на небо. Я никогда не видела, чтобы дверцы буцудана заклеивали, тем более что в этот час пора было зажигать свечи и готовиться к вечерней трапезе. То было лучшее

время дня; после того как тарелочку с угощением ставили на низкий лакированный столик перед алтарём, мы усаживались каждая за свой столик, ели, разговаривали, смеялись и чувствовали, что любящие души предков сейчас здесь, с нами. Теперь же алтарь закрыт. Что это значит?

Помню, как с дрожью в голосе я спросила:

— Досточтимая бабушка, неужели… неужели кто-то умирает?

Никогда не забуду, как она на меня посмотрела — со смесью удивления и возмущения.

— Маленькая Эцуко, — ответила бабушка, — ты разговариваешь чересчур непосредственно, точно мальчик. Девочке не пристало говорить так резко и бесцеремонно.

— Простите меня, досточтимая бабушка, — ответила я взволнованно, — но разве алтарь заклеивают бумагой не для того, чтобы уберечь от скверны?

— Да, — с лёгким вздохом подтвердила она и больше не проронила ни слова.

Я тоже в молчании наблюдала, как бабушка, понурив плечи, разворачивает свиток бумаги, который дала ей служанка. На душе у меня было очень тревожно.

Наконец бабушка выпрямилась и обернулась

ко мне.

— Твой почтенный отец приказал своему семейству есть мясо, — медленно проговорила она. — Мудрый лекарь, следующий примеру западных варваров, уверил его, что мясо животных якобы укрепит его слабое тело, а детей сделает здоровыми и смышлёными, как люди Западного моря. В ближайшее время в дом принесут говядину, и наш долг — уберечь святилище от этой скверны.

Тем вечером мы угрюмо вкушали суп с мясом, но духов предков не было с нами, оба святилища были заклеены. Бабушка к ужину не вышла. Она всегда занимала почётное место, и теперь её пустующая подушка выглядела непривычно одиноко. Позже я спросила у бабушки, почему она не присоединилась к нам.

— Не нужно мне ни сил, ни ума, как у жителей Запада, — печально ответила бабушка. — Мне куда больше пристало идти по стопам наших предков.

Мы с сестрой тайком признались друг другу, что мясо пришлось нам по вкусу, но больше никому об этом не обмолвились, поскольку обе любили бабушку и знали, что наше отступничество больно её заденет.

Знакомство с западной пищей в значительной степени помогло разрушить стену традиции, отгораживавшую наш народ от западного мира, но порой перемены обходились нам слишком дорого. Иначе и быть не могло, ведь после Реставрации многие самураи вдруг обнаружили, что не только обеднели и при этом лишились поддержки системы, но и, как прежде, накрепко связаны узами нравственного кодекса, столетиями учившего их презрению к деньгам. В те первые годы многие деловые начинания терпели крах, хотя те, кто их затевал, были молоды, честолюбивы и готовы к экспериментам в новых условиях.

К таковым относился и господин Тода, наш друг и сосед, они с отцом вместе часто упражнялись в стрельбе из лука или катались верхом в горах. Мне очень нравился Тода-сан, и я не могла взять в толк, отчего бабушка считает его взгляды чересчур свободными и передовыми.

Как-то раз они с моим отцом прервали состязание в стрельбе из лука, чтобы обсудить какую-то коммерческую затею. Я играла поблизости — пыталась прокатиться на спине папиного белого пса, Сиро[16]. Тот сбросил меня, я упала жёстче

[16] Примечания: 16
«Сиро» в переводе с японского и значит «белый».

обычного, господин Тода поднял меня и поставил у самого травянистого вала, на котором размещалась большая мишень с широкими чёрными и белыми кругами. Господин Тода дал мне большой лук и поддерживал мои руки, чтобы я выстрелила. Стрела попала в цель.

— Замечательно! — крикнул он. — Из вас выйдет великий воин, маленькая госпожа! Ведь вы сын своего отца!

Вечером отец со смехом рассказал домашним об этом случае. Я очень гордилась собой, но матушка глядела задумчиво, а бабушка печально качала головой.

— Твой досточтимый отец растит тебя как мальчишку, — сказала она, обернувшись ко мне, — и я боюсь, что судьба будет долго искать тебе мужа, да так и не найдёт. Ни одно благородное семейство не захочет в невестки неженственную девицу.

Так что даже в нашей славной семье шла непрерывная скрытая битва между старым и новым.

Господин Тода был человеком независимых воззрений и после нескольких тщетных попыток приспособиться к новым условиям решил отбросить приличия и заняться каким-нибудь делом, которое даст ощутимые результаты. Тогда как раз пошли разговоры об укрепляющих свойствах

иноземной пищи. Так что господин Тода превратил своё обширное поместье — в ту пору оно никому не понадобилось бы даже задаром — в пастбище и послал за скотом куда-то на дальнее побережье. Затем взял опытных помощников и предпринял очередную затею — на этот раз в качестве молочника и мясника.

Аристократическое семейство господина Тоды отнюдь не одобрило его новые занятия, ибо в прежние дни с телами, которые покинула жизнь, имели дело лишь эта[17]. Некоторое время на господина Тоду взирали с ужасом и любопытством, но постепенно, мало-помалу распространилась вера в то, что мясная пища укрепляет здоровье, и число семейств, на чьих столах было мясо, неуклонно росло. Предприятие господина Тоды процветало.

Более простая часть его дела — продажа молока — тоже шла в гору, хоть и не без проволочек. Простой народ в большинстве своём верил, что коровье молоко влияет на сущность того, кто его пьёт; об этом ходило множество слухов. Мы, дети, слышали от слуг, что госпожа Тода якобы родила

---

[17] Примечания: 17

Эта — в средневековой Японии каста людей, которые занимались тем, что по буддийским канонам считалось нечистым: забивали скотину, снимали и выделывали шкуры и т. п. — *Прим. науч. ред.*

младенца с крошечным рогом на лбу и ладошками как коровьи копыта. Разумеется, это была неправда. Но, к счастью или к несчастью, страх обладает великой властью над нашей жизнью, и в доме Тоды искренне, отчаянно беспокоились о всяких пустяках.

Образованные мужчины в ту пору, хоть сами и отличались широтой взглядов, позволяли женщинам своей семьи коснеть в невежестве; оттого непрестанные трения между старыми и новыми взглядами однажды кончились трагедией. Гордая старая бабка семейства Тода, остро переживавшая то, что в её глазах было родовым позором, избрала единственный путь восстановить доброе имя, доступный беспомощным: принесла себя в жертву. Тому, кто решил умереть ради принципов, способ найти нетрудно, и вскоре старуха упокоилась рядом с предками, ради чести которых рассталась с жизнью.

Господин Тода был не робкого десятка, по совести считал себя вправе проводить свои передовые идеи в жизнь, но безмолвный протест матери его пронял. Он продал предприятие богатому рыботорговцу, и тот стал ещё богаче, поскольку мясо и молоко пользовались всё большим спросом.

Долгое время обширные владения, где некогда

привольно пасся скот господина Тоды, пустовали. Мы, дети, по дороге домой из школы боязливо заглядывали в трещины чёрной дощатой изгороди и, перешёптываясь, глазели на пустоши, поросшие сорной травой и высоким бурьяном. Нам отчего-то казалось, что по этим пустынным местам скитается душа покойной госпожи Тода, которая, отправившись в неизведанное, добилась того, чего на земле добиться была бессильна.

Однажды отец, вернувшись домой, сообщил нам, что отныне господин Тода служит охранителем состоятельного земледельца в далёкой провинции. Такая удача выпала господину Тоде оттого, что после Реставрации новая власть не справлялась с многочисленными княжествами (где прежде были самостоятельные правители), и, как следствие, там зачастую воцарялось беззаконие. Для владельцев множества мелких сельских хозяйств Реставрация не стала таким ударом, как для самураев; Этиго всегда славилась щедрыми урожаями риса, и деньги у земледельцев, конечно, водились. Но отчаянные грабители нападали на их дома и порой даже убивали хозяев. Состоятельные земледельцы нуждались в защите, а поскольку строгие ограничения феодальной поры, упорядочивавшие жизнь раз-

личных сословий, уже не действовали, власть не вмешивалась в имущественные дела этих земледельцев, и среди них стало модным нанимать бывших самураев — тех, кто некогда были над ними набольшими, — в качестве охранителей. Самураи отлично справлялись с этой задачей — отчасти в силу прежнего своего высокого положения, внушавшего трепет нижестоящим, отчасти оттого, что были искусными воинами.

К господину Тоде в новой его ипостаси относились как к почётному гостю-полисмену. Он получал хорошее жалованье — его неизменно вручали завёрнутым в белый лист бумаги с пометкой «Дань благодарности». Разумеется, долго так продолжаться не могло: понемногу органы власти добрались и до нашей глуши, обеспечив земледельцам защиту.

Потом мы узнали, что господин Тода стал учителем в экспериментальной школе новоиспечённой системы государственных школ. Его коллеги, люди преимущественно молодые, гордились своими передовыми взглядами, а к традиционной культуре Японии относились свысока. Старый самурай, увы, был там чужим, но благодаря чувству юмора и философскому складу характера как-то справлялся, однако со временем

министерство образования издало указ, запрещавший преподавать без официального диплома учителя. В возрасте господина Тоды, вдобавок с его образованием и воспитанием, учиться и сдавать экзамены тем, кого он считал пустыми и самодовольными юнцами, было попросту унизительно. Он отказался от этой мысли и обратил взор на одно из самых изящных своих умений — каллиграфию. Он рисовал прекрасные иероглифы для торговых марок, названия которых нередко можно увидеть на маркизах, что свисают с карнизов японских лавок. Ещё он выводил китайские стихотворения на ширмах и картинах-свитках, а также надписи на полотнищах для синтоистских храмов.

В нашу семью пришли перемены, разлучившие нас с Тодой, и лишь через несколько лет я узнала, что они перебрались в Токио: господин Тода с отважной уверенностью заключил, что новая столица с её передовыми идеями оценит его по достоинству. Но всё-таки он был человеком эпохи феодализма, столицей же владело бурное увлечение новизной и снисходительное презрение к старине. Для Тоды там не было места.

Несколько лет спустя — я уже училась в Токио — как-то раз, пробираясь по оживлённой улице,

я вдруг углядела вывеску, написанную изящным почерком: «Наставник в игре го». Меж планками решётчатой двери я заметила господина Тоду, он сидел очень прямо, с достоинством истинного самурая, и учил нуворишей-негоциантов играть в го (нечто вроде шахмат). Негоцианты эти удалились от дел, как водится у стариков, оставили свои предприятия сыновьям или другим наследникам и теперь проводили досуг за игрой в го, чайными церемониями и прочими культурными занятиями. Господин Тода постарел, обтрепался, но сохранил и выправку, и шутливую полуулыбку; будь я юношей, я, конечно, зашла бы к нему, но для девушки помешать игрокам было вопиющим невежеством, и я прошла мимо.

В следующий раз я увидела его через несколько лет. Как-то раз ранним утром, когда я ждала конку на углу близ какого-то учреждения, мимо меня прошёл человек; левое его плечо было чуть ниже правого, как бывает у тех, кто некогда носил два меча. Он скрылся в дверях учреждения, чуть погодя появился в форменном головном уборе и плаще, занял пост у двери и принялся открывать её перед входящими. Это был господин Тода. Надменные юные клерки в щегольских европейских нарядах спешили мимо него, не удосуживаясь да-

же кивнуть в знак благодарности. Вот они, новые иностранные манеры, усвоенные так называемыми прогрессивными молодыми людьми!

Бесспорно, развитие необходимо, но я не могла отделаться от мысли, что всего лишь лет двадцать назад отцы этих самых юнцов должны были бы поклониться до земли, если бы мимо них, держась очень прямо в седле, проскакал господин Тода. Дверь открывалась, закрывалась, а он стоял с высоко поднятой головой и неизменной шутливой полуулыбкой. Отважный, несломленный господин Тода! Он олицетворял множество людей прошлого, кому нечего было предложить новой жизни, кроме чудесной, но бесполезной ныне культуры старого мира, и они со спокойным достоинством смирились с судьбой проигравших — но все они были героями!

Глава V. Опавшие листья

Накануне очередной годовщины затопления замка в Нагаоке мы с Кин отправились прогуляться вдоль старого замкового рва. Сколько-то лет назад его частично засыпали, и теперь там тянулись аккуратные рисовые поля, однако бóльшая часть рва так и осталась заболоченной пустошью, куда постепенно свозили из города всякий сор. В одном месте бывшая крепостная стена выступала достаточно далеко; под её защитой образовался пруд, поросший бархатистыми листьями лотоса. Кин сказала, что некогда замковый ров был очень глубокий и вода в нём была ясная как зеркало, а зеленевшие там и тут листья лотоса в сезон цветения походили на неровно вытканную парчу с узором из белых и розовых цветов.

— Как выглядел этот замок, Кин? Расскажи мне ещё раз о нём, — попросила я, глядя на ров, разрушенные стены и груды камней на вершине холма.

— Как все замки, Эцубо-сама, — отвечала она, — разве что он был наш.

Кин унывала нечасто, но сейчас лишь печаль-

но и молча смотрела на руины замка.

Я повернулась лицом к холму и закрыла глаза, силясь мысленным взором увидеть картину, которую так часто живописали мне уста верных Иси и Дзии. Прямоугольная махина из камня и штукатурки с узкими окнами в белых решётках, ярусы изгибающихся крыш изящно змеятся друг над другом таким образом, что если с любого угла сбросить какой-то предмет, он найдёт беспрепятственный путь на землю; в вышине над глубокими карнизами и крышами с множеством остроконечных венцов, с каждого конца изгибающегося конька, сияют на солнце медные рыбки с обращёнными кверху хвостами. А внизу, у самых насыпей в обрамлении сосен, спят в сумеречной тиши воды рва — простецы называли его бездонным, — и в чистых водах его отражаются шестигранные камни стены, похожей на панцирь черепахи.

— Идёмте, Эцубо-сама, нам пора.

Вздрогнув, я открыла глаза. От явившейся мне картины не осталось ничего, кроме разве что насыпей, некогда защищавших от летящих стрел и копий; ныне на здешних холмах мирно раскинулись огороды.

— Некогда здесь повсюду, — на обратном пути

Кин широким жестом обвела окрестности, — были прекрасные сады благородных слуг, чьи дома окружали внешнюю стену замка. А ныне вся прежняя красота разбита на сотни обычных крестьянских хозяйств, и некоторые из них, как наше, обрабатывают непривычные к ручному труду вассалы «былой славы»!

До самого дома Кин молчала, я угрюмо шла рядом с ней, и моя радость от предвкушения завтрашнего торжества несколько омрачилась.

Затопление замка — так в японской литературе именуют величественное запустение покорённого и заброшенного замка. Новые власти щедро и мудро стремились помочь своим подданным приспособиться к неразберихе, воцарившейся после войны[18], но жители Нагаоки славились долгой памятью. Многие по-прежнему полагали, что вытащить императора, потомка бога, из его дворца святости и покоя и окунуть в мир низменных земных обязанностей было святотатством, и тот факт, что пресёкся некогда непрерывный праведный путь власти сёгуна, — трагедия для Японии.

---

[18] Примечания: 18

Имеется в виду война Босин (1868–1869) — гражданская война между сторонниками сёгуната и императора, в которой победили последние. Княжество Нагаока, где выросла Эцу, было на стороне сёгуната.

Во времена Реставрации меня ещё не было на свете, однако воспоминания о ней сопровождали меня всё детство, поскольку я родилась всего лишь через несколько лет после тех прискорбных событий, и страшные дни, лишившие многие дома их хозяев, по-прежнему были у всех на устах. Военные песни мне в младенчестве пели не реже, чем колыбельные, и половина историй, которые я слышала в детстве, были о героях сражений. От ворот нашего дома были видны разрушенные стены и полузасыпанный ров замка, наши хранилища до потолка заполняло оружие и имущество отцовских вассалов, и не было дня, чтобы я, выйдя на улицу, не встретила какого-нибудь старика, который, заметив меня, смиренно отступал в сторону, кланялся часто-часто и, прослезившись, почтительно бормотал что-то о «славном прошлом». Увы! Смерть не раз вмешивалась в нашу жизнь меж тяготами тех дней и робким течением моего детства, и всё же былой дух преданности господину ещё не иссяк.

Седьмого мая 1869 года новое правительство отняло у замка Нагаока всю власть, и когда боль первых лет утихла, семьи самураев, обитавшие в нашем городе, неизменно отмечали эту годовщину. Для людей новых и для торговцев церемония

была не более чем занятным зрелищем, те же, кто в ней участвовал, отдавали тем самым дань угасающему духу самурайства. Наутро после прогулки с Кин у замкового рва я проснулась с предвкушением чего-то необычного. И действительно, день выдался оживлённый! На завтрак всем подали чёрный рис — то есть неочищенный, не отбеленный, такой едят воины в суете боевых походов, — а днём на равнине Юкюдзан, позади святилища даймё Нагаоки, состоялось показательное сражение.

Что за дивное зрелище в тот день открывалось взору! Большинство вассалов обеднели, дорогих доспехов у них почти не осталось, но что-то всё-таки сохранилось, и каждый явился в чём мог. Я как сейчас вижу всю кавалькаду с моим отцом во главе. Он держался в седле очень прямо и, на мой детский взгляд, выглядел величественно и благородно в боевом одеянии с широкими, точно юбка, штанами и кимоно с узкими рукавами, поверх которого звенел и бряцал лакированный нагрудник из нескольких пластин, с перекрёстным шёлковым шитьём и крупным золотым гербом. Разумеется, его боевого коня уже не было, как и затейливой сбруи, но матушка искусно украсила обычную упряжь шнурками и кисточ-

ками из шёлковых лент, так что крестьянская лошадь преобразилась в ратного скакуна; вместо мечей — права ходить с мечами отца уже лишили — из-за пояса его торчали две заострённые бамбуковые палки. Поглазеть на шествие маленькой армии на окраине города у каменного моста собралась большая толпа. Зрители тоже по мере возможности обрядились в старинное платье, и в ожидании кавалькады мужчины сидели скрестив ноги, как воины: вид у них был бравый.

Ударили в барабан, отец мой вскинул сайхай — жезл с бумажной кистью, которым предки его подавали войскам сигнал к выступлению, — и тронулся в путь, а следом за ним потянулась длинная вереница всадников в боевых доспехах. Они проехали по полям, поднялись на гору и, после того как каждый из воинов поклонился святилищу, собрались на равнине для битвы, а после неё демонстрировали искусство стрельбы из лука, владения мечом, метания копий, а также боевое мастерство.

Наши слуги отправились на равнину Юкюдзан поглазеть на происходящее, служанки же остались дома и готовились к возвращению воинов. Повсюду на траве расстелили соломенные циновки, в саду развели костры, на которых,

привязанные к треногам из крепких сучьев, покачивались объёмистые железные котлы с дичью, приправленной мисо: то и другое вместе с рисовыми отрубями составляет походный солдатский паёк. В сумерки наше маленькое войско возвратилось. Мы, дети, в праздничных нарядах выбежали к воротам и ждали меж двух высоких столбов, на которых горели приветственные огни. Заметив нас, отец раскрыл свой железный боевой веер и приветственно помахал им, точно платком, мы же кланялись ему в ответ.

— Твой досточтимый отец сегодня выглядит совсем как в прежние славные дни, — с лёгкой грустью сказала мать, — и я рада, что ты, его дочь, увидела его таким.

Мужчины сняли тяжёлые доспехи, сложили их в углу сада, расселись вокруг костров, ужинали и смеялись вольно, как на биваке. Отец не переоделся, только снял шлем и закинул за спину, тот висел на шёлковом шнурке, обрамляя его спереди и сзади двумя гербами Инагаки: «Так я бестрепетно сообщаю, кто я таков, недругам и друзьям», — со смехом сказал отец. А потом, сидя на высоком садовом камне, рассказывал нам, детям, истории из военной жизни, а мы сидели перед ним на циновках, прижавшись

друг к другу.

Больше мы годовщину затопления замка Нагаоки не отмечали. На следующий год 7 мая равнину затопило из-за проливных дождей, а ещё через год отец заболел. Без прежнего господина людям не хотелось устраивать спортивные состязания, и мероприятие отложили на время, которое не настало никогда.

Отец так и не оправился от тягот Реставрации. С каждым годом он всё меньше походил на себя прежнего — честолюбивого, полного сил молодого мужчину (ему в ту пору было всего лет тридцать), который в те чёрные дни держал бразды правления бурлившей Нагаокой, но стойкий и радостный дух его не изменился. Даже в первые суматошные годы, когда Япония силилась занять прочное положение в новом мире, когда люди бездумно отказывались от старого и безрассудно тянулись к новому, отец, спокойный и невозмутимый, шёл своей дорогой. Он, как и самые прогрессивные люди его времени, искренне верил в светлое будущее Японии, но при этом с глубоким почтением относился к её прошлому, и эти его убеждения мало кто разделял. Однако отца любили, и благодаря тонкому чувству юмора ему подчас удавалось предотвращать и неже-

лательные замечания, и долгие споры; чувство юмора, подобно солнечному лучу, проглядывало сквозь его величавость и сановитость, и за отцом, пусть без титула и без власти, как встарь, признавали главенство.

Однажды осенью его лекарь, человек весьма прогрессивный, не только врач, но и друг, предложил отцу съездить в Токио на консультацию с докторами из новой больницы, славившейся успешным применением западных методов. Отец последовал совету и, разумеется, взял с собой Дзию.

Без них мне было очень одиноко. Я до сих пор помню, как тосковала в ту пору. Сестра готовилась к свадьбе — та должна была состояться этой же осенью, — и дни её полнились хлопотами. Не знаю, что я делала бы без моего славного Сиро: он, как и я, тоже мучился от одиночества. На самом деле Сиро был моей собакой, но, разумеется, я никогда так не говорила, поскольку тогда считалось, что девочке не пристало иметь собаку, это неженственно и грубо. Но мне дозволялось играть с ним, и каждый день после уроков мы с Сиро бродили по окрестностям. Как-то раз зашли туда, где отец обычно стрелял из лука, долго шагали по тропинкам, по которым отец прогуливался

для моциона, как вдруг Сиро убежал от меня к домику близ наших ворот: в этом домике один-одинёшенек жил Дзия. Жена его давно умерла, я её даже не помнила, но Дзия прекрасно справлялся с хозяйством, и всякий раз, как мне летом случалось заглянуть на его чистенькое крылечко, я находила там квадратную лакированную шкатулочку с разными вкусностями, которыми так приятно перекусить, — и сладкий картофель, запечённый в золе и посыпанный солью, и крупные коричневые запечённые каштаны; в их треснувших скорлупках таились лакомые кремовые ядрышки, которые словно бы дожидались, когда мои детские пальчики извлекут их оттуда.

Я припустила за Сиро и увидела, что он, махая хвостом, взбежал на крыльцо и жадно обнюхивает тот угол, где прежде стояла шкатулочка с угощением.

— Нет-нет, Сиро! — грустно сказала я. — Шкатулочки больше нет. И Дзии нет. Никого нет.

Я села на край крыльца, и Сиро спрятал холодный нос у меня в рукаве. Ничто не могло нас утешить; я запустила руку в его жёсткую белую шерсть и упрямо твердила себе, что дочь самурая не плачет.

Мне вдруг вспомнилось выражение: «Распус-

каться без повода — малодушие». Я вскочила. Заговорила с Сиро. Мы с ним поиграли. И даже побегали наперегонки в саду. Когда я наконец возвратилась домой, то не без причины заподозрила, что родные не одобряют моего буйства, но, поскольку отец очень любил меня, ради него меня не стали отчитывать. В те дни все смягчились сердцем, ибо над нашим семейством нависла грозная тень.

Как-то раз Сиро заболел и отказывался от еды, что бы я ни накладывала ему в миску. Я по-детски верила: если Сиро поест, непременно поправится — но на тот день выпала годовщина смерти кого-то из предков и, как следствие, в доме постились. На ужин подали овощи, и для Сиро ничего не нашлось. Как всегда в трудную минуту, я пошла к Иси. Она знала, что в такой день нам не следует прикасаться к рыбе, но сжалилась над моей тревогой и тайком раздобыла где-то рыбьих косточек. Я отнесла их в дальнюю часть сада и растолкла меж двух плоских камней. Потом смешала с остатками мисо, которые взяла на кухне, и отнесла еду в дровяник, где на соломенной циновке лежал Сиро. Бедняга смотрел с благодарностью, но не двинулся с места; я подумала, что ему, наверное, холодно, сбегала к себе в комнату,

принесла креповую подушку и укрыла его.

Об этом прознала бабушка и послала за мной. Я пришла к ней в комнату, поклонилась и, едва подняла глаза, сразу же поняла: на этот раз меня позвали не для того, чтобы угостить сладкими пирожками с фасолью.

— Маленькая Эцуко, — строго сказала бабушка (когда она сердилась, всегда называла меня «Эцуко»), — я должна поговорить с тобой об очень важном. Мне передали, что ты укрыла Сиро своей шёлковой подушкой.

Я робко кивнула, испуганная её тоном.

— Разве тебе неизвестно, — продолжала она, — что, когда ты обращаешься с ним так, как с собакой обращаться не пристало, ты тем самым оказываешь ему дурную услугу?

Должно быть, вид у меня был встревоженный и недоуменный, потому что бабушка смягчилась и объяснила, что, поскольку белые собаки стоят лишь на ступень ниже, чем люди, из-за моей «доброты» Сиро не приведётся в следующей жизни родиться человеком.

Согласно учению о переселении душ, границу между видами живых существ надлежит строго охранять. Если мы ставим животное выше, чем ему положено, мы тем самым мешаем ему

в дальнейшем достичь следующей ступени воплощения. Все верующие буддисты совершенно покорны Карме, ибо их учат, что тяготы нынешней жизни — либо расплата за прегрешения в жизни прежней, либо уроки, необходимые для того, чтобы подготовить их к высшему положению в жизни будущей. Из-за этого верования японский трудящийся люд охотно мирился с невзгодами, но ещё оно научило нас с таким безразличием взирать на страдания тех существ, которые стоят ниже нас в иерархии творений, что народ наш совсем очерствел душой.

Я торопливо — насколько позволяла учтивость — поблагодарила бабушку и поспешила к Сиро, чтобы попросить у него прощения. Я нашла его на циновке: он лежал, уютно укрытый ковриком из мягкой рисовой соломы, приличествующим его положению. Два работника в саду жгли мою креповую подушку. Лица их были мрачны.

Бедный Сиро! Несмотря на все наши старания, наутро под ковриком обнаружилось лишь его бездыханное тело, а душа его перешла в следующее воплощение, и я молилась, чтобы из-за моей оплошности (пусть и совершённой с благими намерениями) оно оказалось не ниже предыдущего. Сиро похоронили в самом солнечном уголке сада,

под высоким каштаном, где осенью по утрам мы с ним не раз весело бросали и ловили опавшие коричневые орешки. Разумеется, о том, чтобы как-то отметить могилу Сиро, не могло быть и речи, но отец мой по возвращении втихомолку положил под каштаном небольшой серый камень — в память о самом верном вассале своей доченьки.

Увы! Не успели плюски каштанов засыпать коричневыми плодами могилу Сиро, как моего дорогого отца похоронили в семейной усыпальнице в Тёкодзи, а в позолоченном святилище-буцудане, перед которым мы каждое утро склонялись с почтением и любовью, появилась ещё одна табличка.

Глава VI. Солнечный новый год

После кончины отца дом наш осиротел. Нельзя сказать, что в первые сорок девять дней, когда «душа парит над родной крышей», меня одолевала тоска: в святилище постоянно горели свечи, курились благовония, и я чувствовала, что отец рядом. Да и все домашние с любовью хлопотали в память о милом усопшем: для буддистов смерть — путешествие, и в эти семь недель мать с Дзией спешили исполнить забытые было обязанности, выплатить все долги и устроить наши дела таким образом, чтобы на сорок девятый день душа, свободная от оков, могла счастливо отправиться в странствие в Чистую землю[19].

Но когда оживление хлопотных дней схлынуло и свет в алтаре теплился лишь в часы ежедневных служб, явилось и одиночество. Я по-детски буквально верила, будто отец бредёт по красивой дороге вместе с другими путниками, все они в белых одеждах с надписями, которые сделали священнослужители, в шапках странников и в

[19] Примечания: 19

Чистая земля — пространство, которым руководит Будда Амида и где можно достичь просветления.

соломенных сандалиях — то есть в том, в чём их погребли, — и с каждым днём он уходит всё дальше и дальше от меня.

Время шло, жизнь понемногу возвращалась в колею, но всё и вся словно бы изменились. Дзия уже не мурлыкал за работой старинные народные песни, а жизнерадостный голос Иси так поскучнел, что и сказки мне слушать уже не хотелось. Бабушка чаще и дольше обычного полировала медное убранство святилища. Мать, как всегда спокойная и невозмутимая, занималась делами, но в улыбке её сквозила печаль. Мы с сестрой шили, читали вместе, но уже не хихикали, не лакомились сластями. А когда вечерами мы собирались у бабушки вокруг очага-котацу, беседы наши неизменно съезжали на скорбные темы. Даже в людской, где разговоры и смех, как и прежде, мешались со стуком прялок и ступок, в которых мололи рис, не чувствовалось былого веселья.



В ту пору ничто меня так не утешало, как визиты в храм с мамой и Иси. Мамина служанка, Тоси, неизменно следовала за нами, несла цветы на могилы. Сперва мы заходили в храм засвидетельствовать почтение священнослужителю, моему многоуважаемому учителю. Он угощал нас чаем с пирожками, потом провожал к моги-

лам, а мальчик-монах нёс деревянное ведёрко с водою, на поверхности которой плавал бамбуковый ковшик. Мы кланялись могилам и потом из уважения к усопшим поливали водой из ковшика основания высоких серых камней. Жители Нагаоки так почитают прошлое, что и через много лет после смерти моего отца мать говорила, что, как ни придёт к нему на могилу, надгробие всегда влажное: значит, отца навещают друзья и бывшие слуги.

15 февраля, в день, когда Будда достиг полной Нирваны, мы с Тоси отправились в храм, захватив в подарок священнослужителю лакированную коробочку с маленькими данго, слепленными в форме различных зверушек, — в знак того, что у смертного одра Будды собрались все живые существа, кроме кошки. Добрый старый священнослужитель поблагодарил нас, отложил несколько данго на тарелку, поставил ненадолго перед алтарём, а потом забрал, чтобы съесть на обед. В тот день он растроганно попрощался со мною, поскольку вскоре хотел навсегда покинуть Тёкодзи.

Тогда я не понимала, зачем ему уходить из храма, где он так долго служил и который так нежно любил, но впоследствии я узнала, что, несмотря

на всю его преданность храмовой жизни, разум его оказался сильнее веры и он дал обет нищеты, готовый сносить всеобщее презрение.

Однажды вечером после сильного снегопада мы с бабушкой уютно устроились возле котацу в её комнате. Я сматывала в клубки конопляную пряжу: из неё должны были сплести москитную сетку для приданого моей сестры, и бабушка учила меня искусно сучить ворсистую нить.

— Досточтимая бабушка, — воскликнула я, вдруг вспомнив, о чём собиралась ей сообщить, — я забыла вам рассказать, что завтра мы в школе будем играть в снежки. Хана-сан возглавит одну команду, а я другую. Нам предстоит…

Я так увлеклась рассказом, что вновь упустила нить, и она запуталась. Я дёрнула нитку, но сделала только хуже.

— Подожди! — бабушка потянулась помочь мне. — За работой нужно петь песню о том, как конопляную пряжу сматывают в клубки. — И, распутывая нить, запела дрожащим голосом:

Конопляную нить осторожно крути,
Запутаешь пряжу — терпение прояви,
Поспешишь, не подумаешь — сделаешь хуже,

Нетугие узлы затянутся туже.

— Впредь не забудь! — добавила бабушка и протянула мне распутанную пряжу.

— Я думала об игре в снежки, — виновато призналась я.

— Эцубо, — с упрёком промолвила бабушка, — твоя старшая сестра до свадьбы заготовила достаточно конопляной пряжи для москитных сеток в свой будущий дом. Тебе пошёл одиннадцатый год, тебе надлежит вести себя женственнее.

— Да, досточтимая бабушка, — ответила я, пристыженная правдивостью её слов. — Этой зимой я смотаю много клубков конопляной пряжи. Я сделаю много клубков, чтобы Иси до Нового года сплела две сетки в приданое для сестры.

— Ни к чему так спешить, — серьёзно ответила бабушка, улыбнувшись, однако, моему рвению. — Наш траур не должен повлиять на судьбу твоей сестры. Свадьбу её отложили до более благоприятной поры, когда рисовые колосья склонятся под тяжестью зёрен.

Я заметила, что ныне торговцы заглядывали к нам реже, и скучала по прежде столь частым визитам статного господина Нагаи и его бойкой словоохотливой жены: именно они занимались сватовством моей сестры. Так вот что всё это

значило! Нашему жениху, кто бы он ни был, придётся ждать свою невесту до осени. Сестра, впрочем, не унывала. Занятий у нас было множество, и за приготовлениями к Новому году мы вскоре и думать забыли об отсроченной свадьбе.

Первые семь дней первого месяца года — важный праздник в Японии. Мужчины в складчатых брюках-хакама и кимоно с родовым гербом наносят визиты друзьям семьи; гостей встречают хозяйки в нарядных одеждах, потчуют изысканными яствами, приготовленными специально для Нового года; мальчишки с чудесными разрисованными воздушными змеями устраивают в небе настоящие битвы — прикрепляют к бечёвкам лезвия; девочки, подпоясанные новыми кушаками, весело перебрасываются воланчиками из перьев или играют с братьями и друзьями братьев в каруту, карточки со стихами, — единственное время в году, когда девочкам и мальчикам дозволено играть вместе. Даже младенцы участвуют в праздничных забавах, ведь в Новый год у каждого малыша день рождения — не успел начаться их первый год, как уже пошёл второй.

Наша семья в тот год почти не участвовала в празднествах, но скорбь не должна избыточно омрачать новогоднее настроение, и впервые со

дня смерти отца из кухни слышался радостный гомон. С жарким запахом варившегося риса и звонким стуком, с каким перемалывали рис для моти, мешались голоса Дзии и Иси — они пели старинную песенку «Мышка в богатом доме», её всегда напевают, когда готовят древнейшую японскую пищу — рисовое тесто моти.

Мы вестники бога удачи,
Весёлые вестники.
Нам сотня лет, однако мы не слыхали
Страшного крика кота,
Ведь мы вестники бога удачи,
Весёлые вестники[20].

Незадолго до Нового года Иси пришла за мною на кухню. Я сидела на циновке с Таки — она помогала готовить праздничное угощение, — мы выбирали из широкой плоской корзины круглые фасолины. Их называют камнями здоровья: в канун Нового года ими побивают и прогоняют злых духов. Дзия в праздничном наряде рассыплет фасолины по всему дому, а следом Таки, Иси

---

[20] Примечания: 20

Речь о боге удачи Дайкоку-тэне. Скорее всего, песня написана от лица мышей или крыс, которые являются вестниками Дайкоку-тэна и часто изображаются вместе с ним. — *Прим. науч. ред.*

и Тоси, сестра Эцубо и сама Эцубо выметут их и выбросят, и когда фасоль полетит с крыльца в сад и на дорожки, мы несколько раз пропоём тоненькими голосами:

Счастье в дом!

Все беды — вон!

Иси нужно было выполнить кое-какие поручения, и матушка отпустила меня с ней — развеяться. Как запомнился мне тот чудесный солнечный зимний день! Мы переходили через улицы по тропинкам, расчищенным средь сугробов всего-то в метр вышиной: снег в ту зиму выпал поздно, и лишь после Нового года на улицах появились туннели. Кое-где даже виднелся тротуар, совсем как летом, и в торговых лавках было очень светло, оттого что их не загораживали сугробы. По обе стороны от каждого крыльца стояли сосенки-кадомацу, а над дверью тянулась симэнава с зигзагообразными бумажками-сидэ[21]. Лавчонки здесь чаще были маленькие, с открытыми витринами, так что с улицы были видны ряды пологих полок с ярким праздничным ассортиментом.

[21] Примечания: 21

Симэнава — верёвка, которой в религии синто отмечают священное пространство, порой к ней прикрепляют зигзагообразные бумажные ленты сидэ. На Новый год симэнава украшают дома.

Перед лавками толпился народ, многие пришли из близлежащих деревень: погода выдалась необычная, и в Нагаоке запаслись новогодними товарами в соответствии с простыми вкусами наших крестьян.

Из-за непривычной погоды давно знакомые виды увлекали и веселили меня, точно игра. Возле одной из лавок — Иси в очередной раз остановилась что-то купить — я заметила стайку мальчишек лет десяти-двенадцати, обутых в деревянные сандалии-гэта на высокой подошве, предназначенные для ненастной погоды; некоторые из мальчишек несли на спине младенцев. Мальчишки покупали о-коси, печенье из воздушного риса и тростникового сахара, разламывали, каждый брал по кусочку, и даже младенцы получали свою долю — если, конечно, не спали. Разумеется, есть на улице могли себе позволить только простолюдины, но я тоже почувствовала во рту сладкий вкус риса, а мальчишки тем временем проталкивались сквозь толпу к следующей лавке, там продавали больших воздушных змеев, разрисованных драконами и театральными масками, которые в небе, должно быть, выглядели поистине угрожающе. Стайки девочек облепили магазинчики, где торговали

гэта с яркими ремешками, и лавки, под низкими карнизами которых покачивались длинные соломенные рожки с новогодними шпильками для волос, украшенными сосновыми ветками и цветками сливы. Разумеется, во множестве магазинчиков продавали и узорчатые ракетки, и воланчики всех цветов — эти обычно висели на длинных палках, штук по пять-десять в ряд. Перед такими магазинчиками собиралась самая большая толпа, потому что в ханэцуки на Новый год играют даже самые бедные и занятые.

Прогулка вышла чудесная, и я очень рада, что так получилось, поскольку на моей памяти то был единственный Новый год, когда улицы заливало солнце.

У нас царил покой, но всё-таки в первые три дня нового года в доме было достаточно оживлённо, матушка принимала гостей — родственников, друзей семьи. Их потчевали овощным супом, лососем, маринованным в мисо, жареным тофу, водорослями и желе. Разумеется, на столе неизменно присутствовали моти, ведь моти — это пожелание процветания и счастья, и на Новый год их обязательно подают в каждой японской семье. Поили гостей тосо-саке, его подают только на Новый год и по особенным случаям. Тосо озна-

чает «источник юности» — ведь с новым годом начинается и новая жизнь.

Следующие дни прошли без особенных церемоний. Нас навещали старые вассалы и слуги, дабы засвидетельствовать своё почтение; в один из дней матушка неизменно устраивала праздник для всех слуг нашего дома. Нарядившись в лучшие одежды, они собирались в большой гостиной. Затем вносили лакированные столики, уставленные новогодними лакомствами, мы с сестрой подавали рис. Даже матушка помогала. За столиками сидели Таки, Иси, Тоси, Кин, Дзия и ещё двое слуг-мужчин; все держались исключительно церемонно. Кин, живая душа, порою смешила всех, весьма почтительно подражая величественным манерам моей матушки. Та неизменно улыбалась с присущим ей добродушием, мы же с сестрой прятали улыбки, поскольку старались вести себя вежливо и кланяться низко, точь-в-точь как Тоси и Кин. Словом, атмосфера была хоть и торжественная, однако непринуждённая и очень приятная.

Порою на Новый год матушка приглашала к нам старика-плотника, в нашей семье к нему всегда относились не как к слуге, а скорее как к мелкому вассалу. В старой Японии хороший плот-

ник не просто работал с деревом, но был вдобавок и архитектором, и дизайнером, и декоратором; в Нагаоке старика-плотника называли «мастер Горо Брус» — так почтительно величали особо искусных и опытных плотников, — вдобавок он был потомком целой династии плотников, и его уважали. Я старика обожала. Он покорил моё сердце, когда смастерил мне прелестный кукольный домик с приставной лесенкой. Все годы, что я играла в бумажные куклы, я гордилась этим домиком. И вот в первый день нового года после смерти моего отца Горо пришёл к нам в гости; старик был печален и молчалив, пока матушка не подала ему тосо-саке: лишь тогда он оттаял, разговорился. В разгар трапезы Горо внезапно примолк, почтительно поднял стаканчик саке вровень со лбом и учтивейше поклонился матушке, сидевшей на подушке в соседней комнате близ открытой двери.

— Досточтимая госпожа, — начал Горо, — когда ваше крыльцо в прошлый раз украшали сосны и вы угощали меня, как сейчас, мой досточтимый хозяин был здесь, с нами.

— Да, так и было, — с печальной улыбкой откликнулась матушка. — Теперь все иначе, Горо.

— Досточтимый хозяин славился остроуми-

ем, — продолжал Горо. — Ни недуги, ни неудачи не могли притупить ни ум его, ни язык. И когда вы так любезно потчевали меня, досточтимая госпожа, досточтимый хозяин вошёл в комнату и заверил, что принимает нас с надлежащим радушием. Я сочинил скромное стихотворение из тех, которые без ответа не могут считаться законченными, и дерзнул не только прочесть его досточтимому господину, но и попросить его оказать мне честь и закончить стихотворение. В этом трёхстишии, как подобает на Новый год, я желал вашему досточтимому дому удачи, здоровья и благополучия.

Семь богов счастья
Руки сомкнут вкруг дома —
Ничто не уйдёт.

— И тогда досточтимый хозяин, — тут Горо низко поклонился, — весело улыбнулся — глаза его блестели — и ответил молниеносно:

Увы и увы!
Тогда богу бедности
Уж прочь не уйти.

Собственное шуточное трёхстишие так понравилось Горо, что матушка с ласковой улыбкой

присоединилась к весёлому смеху его спутников, неизменно готовых рукоплескать любому похвальному слову в память о хозяине, которого они так любили и чтили.

Но ясноглазая Кин что-то шепнула Иси, а Иси с улыбкой кивнула. Таки и Тоси, расслышав их речи, тоже улыбнулись. И лишь позже мне рассказали, что же шепнула Кин:

И бедности бог
Вместе с богами счастья
Радость удержит.

Всё-таки в старой Японии жив был дух демократии.

Глава VII. Несостоявшаяся свадьба

Новогоднее веселье закончилось раньше, чем завершились праздники. Печенье моти мы, как правило, оставляли в токономе до пятнадцатого числа, а вот сосенки-кадомацу у ворот обычно убирали наутро восьмого дня. Бытовало предание (в которое, впрочем, никто не верил), будто бы на седьмую ночь деревца уходят под землю, так что над поверхностью торчат лишь верхушки. И в тот год именно так и случилось: проснувшись наутро восьмого дня, я обнаружила, что дорожки в саду, расчищенные средь сугробов, снова засыпал снег и вообще весь сад покрыт метровым слоем снега. Сосенки у ворот тоже засыпало, и до весны мы их больше не видели.

В тот день все работники Нагаоки трудились не покладая рук: снег выпал неожиданно и очень обильно. Метели не прекращались, и несколько недель спустя мы, дети, ходили в школу по снежным туннелям на покрытых навесами тротуарах, а от дивного солнечного Нового года осталось лишь воспоминание.

Однажды днём, когда я возвращалась домой из школы, почтальон в соломенном плаще-мино и высоких соломенных юки-гуцу соскользнул по сугробу в уличный туннель.

— Ма-а! — весело окликнул он меня. — Маленькая госпожа! У меня для вашей семьи письмо из Америки.

— Из Америки! — воскликнула я удивлённо, ведь прежде нам из чужих краёв писем не приходило. Меня охватило волнение. Почтальон устремился прочь по узкой тропке между снежной стеной и рядом лавок; я старалась не терять его из виду. Время от времени он выкрикивал: «Почта! Почта!» — и, остановившись, вкладывал письма в протянутые к нему руки. Тропка была такая узкая, что меня то и дело толкали прохожие, но я старалась не отставать от почтальона; наконец он свернул на нашу улицу. Я знала, что он пойдёт к боковому крыльцу, поспешила в комнату бабушки и успела даже поклониться ей — «Я вернулась», — когда служанка внесла письмо. Но диковинное письмо предназначалось моей матушке, и бабушка попросила меня отнести его ей.

Я приуныла: вряд ли я увижу, как письмо откроют. Я знала, что, получив письмо, мама немедля

пойдёт с ним к бабушке, но меня к ней уже не пустят. Бабушка очень внимательно посмотрит на письмо через большие очки в роговой оправе, вернёт его маме и скажет медленно и торжественно: «Будь так добра, открой!» Бабушка, разумеется, тоже разволнуется, всё-таки письмо заграничное, но тем медленнее и торжественнее будут её манеры. Пока я с большим конвертом непривычной формы шла по коридору в мамину комнату, эта картина буквально стояла перед моим мысленным взором.

Тем вечером после богослужения перед семейным святилищем бабушка дольше обычного застыла в поклоне. Наконец она подняла голову, выпрямилась и объявила торжественно, едва ли не официально, что молодой хозяин, несколько лет проживший в Америке, возвращается домой. Новость ошеломила нас: брат мой отсутствовал, сколько я себя помнила, и в доме о нём даже не говорили. И то, что бабушка назвала его «молодым хозяином», как нельзя красноречивее свидетельствовало о том, что неведомая мне трагедия осталась в прошлом и его вновь считают сыном. Слуги, сидевшие в дальнем конце комнаты, склонились до земли в безмолвном поздравлении, но и они, казалось, с трудом скрывали волнение. Я

не задавалась вопросом, отчего так. Мне было достаточно и того, что брат мой вернётся на родину. Сердце моё переполняла радость.

Когда брат уехал в Америку, я была, должно быть, совсем мала, ибо, хоть день его отъезда и врезался в мою память, я совсем не помню того, что было до или после. Помню погожее утро, дом наш в парадном убранстве, слуги в праздничных нарядах с гербом Инагаки. То был день свадьбы моего брата. В токономе нашей лучшей комнаты повесили одно из наших сокровищ — три свитка с изображением сосны, бамбука и сливы, кисти старинного мастера. На помосте под свитком стоял прелестный столик, а на нём статуэтка — седовласая пожилая пара[22] метлой и граблями собирает сосновые иглы на берегу озера Такасаго. Взгляду являлись всюду и прочие символы счастливого супружества, ибо каждый подарок — а ими полнились целые комнаты — украшали фигурки белоснежных аистов, золотисто-коричневых черепах, букеты из веток сосны, бамбука и сливы. Две новые комнаты — их пристроили к дому недавно — были уставлены очарователь-

[22] Примечания: 22

Дзё и Уба (Старик и Старуха) — старейшие божества в японской мифологии. Их парное изображение служит символом супружеского счастья и долголетия. — *Прим. науч. ред.*

ными лакированными несессерами и сундуками из белого дерева с железными запорами. Их доставили накануне: целая вереница работников несла на шестах огромные подносы, каждый — под покровом с чужим гербом.

Мы с Иси ходили из комнаты в комнату, она объясняла мне, что вскоре прибудет невеста молодого господина. Иси позволила мне заглянуть в свадебные покои — белые, простые и пустые, не считая приношений божествам в токономе и столика с тремя красными чашечками для священной клятвы.

Иси всё время бегала к воротам — посмотреть, не едет ли невеста, — а я, разумеется, ходила за ней, держась за её рукав. Все раздвижные двери в доме были открыты, так что были видны распахнутые главные ворота в самом конце мощённой камнем дорожки. Под их узкой соломенной крышей крепилась петлёй тёмно-синяя завеса с гербом Инагаки, а по обеим сторонам от входа высились тонкие стойки с праздничными фонариками. Близ одного из каменных столбов стоял вестник «семь с половиной»[23] в кимоно с жёсткими рукавами. Он только что в седьмой раз

[23] Примечания: 23

Вестник семь раз бегал туда-сюда и спрашивал, где невеста. — *Прим. науч. ред.*

сходил посмотреть, не везут ли невесту, и хотя день выдался солнечный, вестник зажигал большой фонарь, чтобы в последний раз отправиться в путь и встретить процессию на полдороге, тем самым выказав нашу готовность радушно принять невесту.

Иси сказала, невеста вот-вот прибудет, и я увидела, как слуги с улыбками устремились к дверям, но двигались так почтительно и бесшумно, что я ясно расслышала и скрип паланкина невесты, и глухой топот поднимавшихся по склону холма рикш.

А потом вдруг что-то случилось. Иси взяла меня за плечо, увела в дом; из покоев отца вылетел мой брат, торопливо, широкими шагами, враскачку прошёл мимо нас — на меня даже не взглянул, — обулся на садовом крыльце и поспешил к боковому выходу. С тех пор я его и не видела.

Девушка, на которой брат должен был жениться, домой уже не вернулась: с той самой минуты, как невеста оставила родительский дом, по закону она уже не считается членом прежней своей семьи. Дабы выкрутиться из этого необычного затруднения, матушка предложила ей остаться у нас на правах дочери и со временем подыскала ей хорошую партию.

Я по-детски дивилась этим причудам, но лишь с годами связала случившееся с внезапным отъездом юной красавицы Тамы: она составляла для нас икебаны и выполняла лёгкие поручения. В доме её все любили за весёлый смех и острый язычок. Тама не была служанкой в полном смысле слова: в ту пору состоятельные торговцы, по обычаю, отправляли дочерей пожить в знатном семействе, чтобы девица выучилась строгостям этикета домашней жизни самураев. В доме она жила не на положении служанки. К девушкам, которые таким образом постигали светскую премудрость, относились с вниманием и уважением.

Наутро после отъезда брата я, как обычно, пошла поздороваться с отцом и в дверях его комнаты столкнулась с бледной и испуганной Тамой. Она поклонилась, пожелала мне доброго утра и молча ушла. Днем я её не видела; Иси сказала, что Тама уехала домой.

Что именно произошло между Тамой и моим братом, я так никогда и не узнала, но невольно чувствовала, что, виновен брат или нет, однако он поступил смело. Брат до последнего боролся со своими чувствами и в этом допустил слабость, однако он, должно быть, унаследовал от отца

сильный характер, чтобы всё-таки, вопреки строгому воспитанию, воспротивиться его воле. В ту пору подобные связи были обречены: без родительского согласия жениться было нельзя, и отец объявил, что отныне у него нет сына, ведь тот оскорбил его честь и ранил его в самое сердце.

Лишь через несколько лет я вновь услышала о брате. Как-то раз отец показывал мне фокусы с бечёвкой. Я стояла на коленях подле его подушки, наблюдала за стремительным мельканием его рук и пыталась поймать его пальцы. Мама с шитьём расположилась рядом; мы все смеялись.

К двери подошла служанка и сообщила, что пришёл майор Сато, господин из Токио, добрый знакомый отца. Я юркнула к матери. Она поднялась было, чтобы уйти, но отец жестом велел ей остаться, и мы сели обратно.

Этой сцены мне не позабыть. Майор Сато с величайшей серьёзностью сообщил отцу, что мой брат уехал в Токио и поступил в военное училище. Самостоятельно окончил курс с отличием и ныне носит звание лейтенанта. На этом майор Сато примолк.

Отец сидел очень спокойно, с высоко поднятой головой, строгое лицо его было невозмутимо. Тишина стояла такая, что я слышала собственное

дыхание. Чуть погодя отец, по-прежнему не шелохнувшись, негромко спросил:

— Вы закончили, майор Сато?

— Да, я всё сказал, — ответил тот.

— Я ценю ваше участие, майор Сато. И вот что я вам отвечу. У меня есть дочери, а сына нет.

В продолжение разговора мама понуро молчала, сцепив руки на коленях. Услышав ответ отца, она вздрогнула, но не двинулась с места.

Отец же повернулся к ней.

— Жена, — очень ласково произнёс он, — попроси Иси принести доску для го и вина почётному гостю.

Отец и майор — кто знает, что было у них на душе, — спокойно сыграли партию в го, мы же с матушкой сидели неподвижно и молча, как статуи.

Вечером, когда Иси помогала мне раздеться перед сном, я заметила, что она чуть не плачет.

— Что тебя тревожит, Иси? — спросила я. — Почему в твоих глазах стоят слёзы?

Иси упала на колени, закрыла лицо рукавами и впервые на моей памяти разрыдалась, как служанка.

— Ах, маленькая госпожа, маленькая госпожа, — всхлипывала Иси, — я не грущу. Я радуюсь.

Я благодарю богов, что родилась простолюдинкой, могу плакать, когда боль переполняет сердце, и смеяться, когда душа поёт. Ах, моя дорогая, дорогая госпожа! Мой бедный, бедный хозяин!

Иси была безутешна.

Это было давно, и вот, через столько лет, брат едет домой.

Снег растаял, прошла весна, и настало лето. Казалось, ожидание длилось очень долго, но наконец наступил тот день, когда двери святилища рано утром открыли и затеплили свечи, поскольку бабушка хотела, чтобы наши предки поприветствовали путника, а поскольку из Токио в ту пору до нас добирались на рикшах и каго[24], мы не знали, когда именно ждать брата. Но наконец послышался возглас: «Досточтимый вернулся!», и все, кроме бабушки, поспешили к воротам. Мы застыли в глубоком поклоне, но я тем не менее увидела, как из повозки выпрыгнул мужчина в чужеземном платье, стремительно огляделся и медленно направился к нам по мощённой камнями старой дорожке. В одном месте брат остановился и с улыбкой сорвал пучок цветков, пробивавшихся меж камней, но сразу же

[24] Примечания: 24

Буквально «корзина». Вид паланкина в Японии, особенно популярный в конце XIX века.

выбросил их и продолжил путь.

Приветствия на пороге оказались короткими. Брат и матушка поклонились друг другу, он ласково заговорил с ней, а она смотрела на него с улыбкой, за которой чувствовались слёзы. «А ты всё такая же, Эцубо, круглолицая и кудрявая», — смеясь, сказал мне брат.

Дзия унёс его иностранную обувь, и мы вошли в дом. Разумеется, первым делом брат направился к святилищу. Брат поклонился и проделал всё, что положено, но слишком быстро, и меня это смутило. Потом он направился в бабушкину комнату.

Покончив с приветствиями, бабушка протянула брату лакированную шкатулку с письмами отца. Брат торжественно и учтиво поднёс шкатулку ко лбу, достал письмо, медленно развернул и принялся читать; лицо его приняло странное выражение. Я не понимала, что именно выражал его взгляд — горечь ли, удивление, отчаяние или то, другое и третье, — и изумилась своему недоумению. Письмо было короткое. Дрожащей рукой было написано: «Отныне ты глава рода Инагаки. Мой сын, я тебе доверяю». И ни слова больше.

Тем вечером в нашей лучшей комнате устроили пышный ужин. Брат сидел подле токономы. Собрались все близкие родственники, подавали

любимые блюда брата. Разговоры не утихали, но брат больше молчал, хотя и поведал нам кое-что об Америке. Я наблюдала за ним, когда он рассказывал. Брат был в диковинном платье с узкими рукавами и чёрных чулках, как кухонная прислуга; он сидел на подушке, скрестив ноги. Говорил он достаточно громко; его манера обводить стремительным взглядом присутствующих, признаться, меня озадачила. Я отчего-то разволновалась, не знала, что и думать, пожалуй, даже расстроилась, до того брат отличался от выдуманного мной образа. Но одно мне понравилось сразу. Когда он улыбался, глаза его ласково блестели, как некогда у отца. И, подметив это, я всякий раз понимала: хоть ни обликом, ни натурой брат и не сходен с отцом, в сердце его таится такая же нежность. Пусть я пока что смутно побаивалась брата, в глубине души я знала: что бы ни случилось, но и дни, и годы спустя я буду любить его и верить ему. И в этом я не изменилась.

Глава VIII. Две затеи

Приезд брата привнёс в нашу домашнюю жизнь восхитительное новшество. А именно письма, которые ему время от времени присылали друзья из Америки. Сами письма были скучные, поскольку рассказывалось в них лишь о людях и делах, и вскоре я утратила к ним интерес. А вот большие конверты необычной формы и короткие страницы плотной бумаги, покрытые тусклыми рукописными строками, меня пленяли. Никому из нас прежде не доводилось видеть ни авторучки, ни писчую бумагу: мы знали только свитки тонкой бумаги и узенькие конверты. И буквы на этой бумаге могли быть любой высоты, иногда и в полметра-метр. Мы писали кистью по вертикали, начинали с правой стороны и постепенно разворачивали левую часть свитка. На белоснежном фоне чернели иероглифы; толщина бумаги бывала разной, и эти изящные символы казались нежными туманными лепестками. Впоследствии у нас появилась и цветная бумага с узором, но в моём детстве считалось подобающим писать исключительно на белой.

Письма в Америку брат отправлял только в больших конвертах непривычной для нас формы, и я решила, что так положено. Однажды он попросил меня передать почтальону письмо в традиционном узком конверте с вытисненной на нём изысканной ветвью кленовых листьев. Я очень удивилась, увидев в углу дорогую марку и американский адрес.

— Досточтимый брат, — нерешительно спросила я, — пропустят ли власти такое письмо?

— А почему нет?

— Я думала, письма в Америку полагается отправлять только в больших конвертах.

— Чушь! — отрезал брат и добавил, смягчившись: — Те у меня закончились, я посылал в Токио за новыми, но их ещё не доставили.

Так, к отраде моего детского сердца, нежные листья клёна отправились в Америку. На моей памяти то была первая отрадная связь меж двумя странами.

Против Америки я ничего не имела, но постоянно слышала упоминания о том, что едва ли не все, кому доводилось иметь дело с иностранцами, не очень-то ими довольны, и оттого я прониклась смутной неприязнью к неведомой мне стране. А рассказы слуг о «краснолицых светловолосых

варварах, у которых нет пяток, и оттого они вынуждены крепить на обувку искусственные подпорки» лишь усиливали это впечатление.

Поговаривали, что эти странные люди едят зверей целиком и что в богатых домах хозяева зачастую развлекают гостей тем, что разрезают в их присутствии зажаренного орла. Ходили слухи, будто дешёвые красные одеяла, которые в ту пору в избытке привозили в Японию, красили кровью похищенных младенцев. Широко бытовало поверье (причём как в городах, так и в сельской местности), будто странный животный запах, свойственный чужеземцам, происходит оттого, что они едят мясо. Видимо, это поверье возникло потому, что запах шерсти — а именно ею пахло от мокрой одежды иностранных матросов — японцам был незнаком. В Японии не было ни овец, ни одежды из шерсти, вот люди и решили, что это пахнут не вещи, а те, кто в них одет. Прозвище прилепилось, так что даже сейчас в сельской местности, покупая в магазине шерстяную ткань, могут сказать: «Мне ту, которая пахнет животным».

Брат эти слухи почти никогда не опровергал. Наверное, он и сам верил едва ли не всем из них, хоть и пожил в Америке.

Видимо, там он с американцами почти не водился, разве что с теми, кто занимался куплей-продажей. Бабушка как-то сказала со вздохом: «Твой досточтимый брат в далёкой Америке выучился, кажется, только обычаям торговцев. Может быть, — добавила она задумчиво, — в тех краях обитают только торговцы».

Брат побывал в Америке, но мы не осознавали, что в этой большой стране он видел лишь малую часть одного-единственного приморского города.

Со временем брат словно бы отстранился и от нашей домашней жизни, и не влился в жизнь Нагаоки. Он отличался от всех. Порой его явно что-то тревожило, беспокоило, но чаще всего раздражало, не давало покоя. В такие минуты он приходил и садился рядом со мною, когда я шила или учила уроки, и, пожалуй, разговаривал со мною свободнее, чем с кем бы то ни было. Время от времени, пусть и редко, рассказывал о себе, и постепенно я узнала многое о том, как ему жилось после ухода из дома.

В Америку брат уехал, отдавая дань моде на дела с иностранцами, захватившей Токио примерно в ту пору, когда он ушёл из армии. Многие молодые люди, уверенные в скором головокружительном успехе, предпринимали различные

затеи, и кто-то уговорил брата вложить все его средства в якобы крупную экспортную компанию с представительствами в Америке. А если брат возглавит тамошнее предприятие, то станет одним из партнёров. Брат, как и многие люди его положения, не сознавал, что ничего не смыслит в коммерции, поэтому согласился и уплыл в Америку. По прибытии выяснилось, что его обманули. Экспортная компания оказалась крошечным магазином игрушек в людном японском квартале, держала его жена рабочего, которая слыхом не слыхивала об обещанном брату партнёрстве.

Расстроенный и ошеломлённый, брат направился в ближайший отель — по его словам, прескверный — и нашёл там массу японцев: они беседовали, играли в различные игры. Почти все они были необразованными — рабочие, бедные служащие из простолюдинов. Но брата встретили с почтением, и хотя в таком месте селиться ему не пристало, больше пойти было некуда. Вскоре он потратил все свои деньги, а поскольку делать ничего толком не умел и английского почти не знал, то с лёгкостью влился в жизнь тех, кто его окружал.

Некоторым удавалось выбраться из грязи к свету, но брат мой о чужеземцах знал мало, не свя-

зывал с ними честолюбивых замыслов, а то, что он наблюдал вокруг, внушало ему отвращение.

Порой он покидал свой людный район и бродил по широким улицам с высокими зданиями и большими магазинами. Там он видел иностранцев, но они или не обращали на него внимания, или смотрели на него так, как он сам на родине смотрел бы на работников. Его это занимало: все эти странного вида люди, которые спешили мимо, громко переговаривались, курили зловонные крупные свёртки из табачных листьев или жевали какую-то гадость, после чего сплёвывали прямо на тротуар, — все эти люди вызывали у него омерзение. Женщины в нелепых нарядах глазели по сторонам и смеялись с открытым ртом. Куда ни глянь, не увидишь ничего ни изысканного, ни утончённого, лишь огромное, крепкое, грубое. Всё здесь претило его артистичной натуре, и брат возвращался в чуждый его духу, но хотя бы понятный квартал.

А потом в дело вмешалась судьба. Брат получил травму головы и очутился в больнице, где в чистоте и прохладе провёл три благословенные недели. Наконец его выписали, и с тяжёлым сердцем брат побрёл обратно в единственное место, которое знал, — свой старый квартал, — как

вдруг, завернув за угол, столкнулся лицом к лицу с молодым человеком: проворный и энергичный, он куда-то стремительно шёл. Оба застыли как вкопанные, молодой человек расхохотался, но, заметив, что брат мой бледен и явно нездоров, развернулся и пошёл проводить его.

Как бы скверно брат ни одевался, он всегда держался с достоинством, подобающим человеку знатного происхождения; молодой человек — его звали Мацуо — это заметил и настоял на том, чтобы брат пожил у него. Через несколько дней Мацуо подыскал ему место в лавке, где и сам служил приказчиком; так их случайное знакомство переросло в долгую сердечную дружбу.

Если бы сразу же по прибытии в Америку мой брат — благородный, тонко воспитанный молодой человек, пусть порой чрезмерно увлекающийся и, к несчастью, совершенно не подготовленный к практической стороне жизни, — если бы он сразу встретил такого помощника, быть может, и пробил бы себе дорогу в чужих краях; теперь же было слишком поздно. Та нечаянная травма головы, как выяснилось впоследствии, подорвала его здоровье: недуг, развившийся из-за неё, не давал полноценно работать, и мой бедный брат совершенно переменился. Но Мацуо был

неизменно добр к нему.

А потом пришло письмо из Токио от майора Сато с известием о том, что отец наш болен и хочет, чтобы сын приехал домой. Мне неведомо, что творилось тогда в душе моего брата, но ответил он не сразу, а лишь через несколько недель. И вернулся на родину.

Той осенью завершился наш годовой траур, и, поскольку брат занял место отца, свадьбу нашей сестры назначили на пору урожая. Правда, в тот год урожай оказался ранним. Уже в начале октября по всей провинции Этиго рисовые колосья клонились под тяжестью зёрен, но, разумеется, в месяце без богов[25] свадьбы не играют, поэтому выбрали первый же благоприятный день в ноябре. В октябре боги брака встречаются в храме Идзумо, дабы соединить имена тех, кому предстоит пожениться. Бабушки и няньки любят рассказывать девочкам старую сказку о несчастном юноше, у которого не было ни родителей, ни старшего брата. Сосватать его было некому, и в свои двадцать лет юноша оставался холостяком.

Однажды в октябре он решил посетить храм Идзумо — посмотреть, не соединили ли его имя

---

[25] Примечания: 25

Считалось, что в десятом месяце все божества отправляются в провинцию Идзумо и в других провинциях не остаётся богов.

с именем какой-нибудь девушки. В качестве подношения юноша взял с собой первый пучок риса нового урожая и отправился в долгий путь. Приблизившись к храму, он услышал голоса. Кто-то выкликал имена, точно в считалке: «Такой-то, такая-то». «Такой-то, такая-то». То были имена знакомых ему молодых людей, и после каждого звучало имя девушки.

— Ма-а! Ма-а! — прошептал в изумлении юноша. — Я попал на встречу богов.

Но любопытство пересилило, и юноша не ушёл, а, пробравшись между узорчатых столбов, подпиравших пол, прислушивался со стыдом, волнением и надеждой.

Ещё два имени! И ещё! «Такой-то, такая-то». «Такой-то, такая-то». Увы! Его имени среди них не было.

Наконец властный голос объявил:

— Решено. Последний день клонится к закату, и в этом году труды наши завершены.

— Постой, — возразил ему другой голос. — Остался Таро. Опять он один. Неужто мы не найдём ему девушку?

У юноши ёкнуло сердце: Таро — это он!

— Вот досада! — раздражённо воскликнул бог. — Опять это имя!

— Спешить ни к чему. Его ведь некому сватать, — сказал третий голос.

— Пусть его имя ещё год побудет без пары, — донеслось из дальнего угла. — Девушек не осталось.

— Погодите! — произнёс первый голос. — В Каштановой деревне в доме тамошнего главы только что родилась девочка. Её род знатнее, чем у него, но давайте всё-таки отдадим её за Таро. Тогда наши труды завершатся.

— Да! Да! — дружно воскликнули боги. — Соединим их имена и поспешим перейти к обязанностям наших святилищ.

— В этом году наши труды закончены, — объявил властный голос.

Юноша уполз прочь, взволнованный, возмущённый и горько разочарованный.

Он медленно брёл домой; разочарование и возмущение в душе его крепли, но едва вдали показалась Каштановая деревня и дом деревенского главы, уютный, зажиточный — плотная соломенная крыша, просторная сетка, сплошь увешанная сушащимися пучками риса, — юноша смягчился и подумал: «В конце концов, не так уж и плохо!» Он медленно прошёл мимо открытой двери. У самого порога виднелась детская

кроватка с подушками. Юноша заметил личико младенца и крохотный сжатый кулачок.

— Ждать, самое меньшее, двенадцать лет! — внезапно воскликнул он. — Ну уж нет, я этого так не оставлю! Я брошу вызов богам!

В токономе обнаружилась подставка с одним-единственным мечом скромного вассала. Юноша схватил меч, рубанул по подушкам, выбежал из дома и бросился наутёк.

Проходили годы. Милостью судьбы Таро разбогател, но невесту так и не нашёл. А время всё шло. Наконец, смирившись с тем, что, видимо, в наказание за вызов богам жить ему бобылём до конца своих дней, Таро оставил дела.

А потом случилась удивительная вещь. К Таро явился сват и предложил невесту — послушную, трудолюбивую красавицу. Таро обрадовался. Последовал сговор, приехала невеста, сыграли свадьбу. Таро и подумать не мог, что будет так счастлив. Однажды его молодая жена шила на крыльце и, поскольку день выдался тёплый, ослабила воротник; Таро заметил на её шее странный извилистый шрам.

— Что это? — спросил он.

— Загадочная история, — улыбнулась жена. — Я тогда была совсем маленькой. Однажды бабушка

услышала, что я плачу, вошла в комнату, увидела, что меч моего отца валяется на полу, а у меня на плече и шее зияет рана. Рядом не было ни души, мы так и не узнали, как это случилось. Бабушка сказала, что боги отметили меня для какой-то мудрой цели. Значит, так тому и быть, — заключила жена Таро и вновь склонилась над шитьём.

Таро в задумчивости удалился. Вновь увидел личико младенца и крепко сжатый кулачок; теперь Таро осознал, что противиться воле богов — бессмысленное занятие.

Этот рассказ Иси неизменно завершала так:

— Теперь вы понимаете, что волю богов надлежит принимать с благодарностью, и никак иначе. И повиноваться их замыслу.

Мы все очень радовались, когда наконец настал день свадьбы моей сестры, но куда бóльшая радость царила в доме жениха, ведь именно там, по японским обычаям, играют свадьбу. Но и обряд расставания невесты с родительским домом по традиции сложен, так что несколько дней наш дом полнился криками — хозяева отдавали приказы слугам, а те исполняли. Таки, Иси и Тоси трудились не покладая рук, складывали в сундуки постельное бельё и наряды невесты, чтобы наутро процессия с приданым вышла из наших

ворот и направилась к будущему дому сестры.

Два дня спустя сестра тоже отправилась в путь. В то утро чуть свет к нам пришла мастерица: невесте полагалось сделать сложную причёску, какую носили замужние женщины[26], с чудесными украшениями из черепашьего панциря и коралла. Лицо и шею сестры густо покрыли белилами, облачили её в белые одежды — цвет смерти, ведь брак означает, что отныне для родительской семьи невеста мертва. Под белым нарядом был алый, цвета новорождённых, поскольку невеста «рождается» в семье мужа. Матушка надела красивое кимоно с нашим гербом, а брат в торжественном камисимо — широких льняных штанах-хакама и плотной накидке без рукавов — был вылитый отец. Я любовалась им.

Наконец к дверям принесли невестин паланкин, и мы все направились в святилище, чтобы сестра попрощалась с духами наших предков, ведь после свадьбы она будет принадлежать уже не нашей семье, а семье мужа. Сестра склонилась перед святилищем. Матушка подвинулась к ней на татами и подарила прелестное зеркальце в шкатулке: такие носят с праздничными наря-

[26] Примечания: 26

Вероятно, речь о высокой причёске в виде высокого завязанного пучка, т. н. такасимада. — *Прим. науч. ред.*

дами все знатные японки. Шкатулочку сестры украшала великолепная креповая мозаика с узором, изображавшим сосну, бамбук и сливу. Наша прабабка смастерила его собственными руками. Внутри шкатулочки было зеркальце. На шёлковом шнурке висел покрытый парчой хрусталь; сбоку шкатулочки, спрятанная под повязку, была длинная серебряная шпилька для волос. В былое время ею пользовались как кинжалом. Всё это символы императорских регалий — зеркала, украшения и меча.

Мать протянула сестре шкатулочку и сказала то же, что говорит дочери-невесте каждая мать. Ныне ты смело идёшь в новую жизнь, подобно тому как солдат идёт в бой. «Смотрись в зеркало каждый день, — сказала матушка, — и, если сердце твоё покроют шрамы гордыни или эгоизма, морщины на лице известят тебя об этом. Гляди внимательно. Будь сильной, подобно сосне, будь уступчивой и нежной — так бамбук подчиняется ветру — и, подобно благоуханной сливе, цветущей под снегом, никогда не теряй нежной стойкости преданной женственности».

Никогда ещё я не видала матушку в таком волнении, но лицо бедной моей сестры под густым слоем белой пудры не выражало ничего.

На пороге мы низко поклонились друг другу. Сестра села в паланкин и скрылась за красной завесой оконца. Её нянька, которая должна была идти вместе с нею, уже вышла замуж и уехала далеко, и вместо неё в первую рикшу уселась Иси. В следующих двух разместились сват и его жена, а следом мои брат и мать. Процессия тронулась в путь, Тоси посыпала наш порог солью — так поступают, когда из дома выносят усопшего, — со стуком колёс и негромким топотом ног слился дрожащий голос нашей бабушки, она пела невесте прощальную песнь:

Мы подняли парус
На маленькой этой лодке,
Мы подняли парус
На маленькой лодке,
И в лучах восходящей луны
Мы выплыли в даль морскую
На волнах отлива[27].

Так закончилась жизнь сестры в семье Инагаки: отныне, как бы часто она ни навещала нас и как бы ласково и приветливо её ни встречали, в

[27] Примечания: 27

Из традиционной пьесы Но (один из видов японского драматического театра) «Такасаго». Перевод Веры Марковой.

нашем доме сестра только гостья.

Много лет спустя сестра рассказала мне, как прошло её путешествие в новый дом. До него было всего несколько часов пути, но нужно было переходить через гору, и паланкин нещадно трясло. Сестра признавалась, что изо всех сил старалась не удариться головой о подушки и сохранить искусную причёску, украшенную тяжёлыми кораллами. Наконец носильщики вышли на ровную дорогу, сделали остановку, и Иси подняла красную завесу на оконце паланкина.

— Молодая госпожа, — сказала Иси, — мы дошли до места, где нам надлежит сделать привал и отдохнуть, прежде чем прийти в дом досточтимого жениха.

Иси и матушка помогли сестре выбраться из паланкина и вместе с нею вошли в безыскусный, хоть и просторный крестьянский дом. Хозяйка, дальняя родственница жениха, встретила их очень любезно. Подали ужин — порцию красного риса и рыбу, целиком, с головой — в знак поздравления. Иси привела в порядок платье сестры, оглядела её пояс, причёску, припудрила ей лицо. И процессия вновь медленно тронулась в путь, вверх по долгому пологому холму. На вершине их встретил вестник «семь с половиной», и

вскоре они достигли высоких ворот с фамильным гербом и приветственными фонарями. Сестра почувствовала, что носильщики ступают по камням, и тут паланкин опустили на землю. Сестра ничего не видела, но знала, что вот-вот оконце паланкина откроется, внутрь заглянет жених и в знак приветствия ударит веером по крыше паланкина.

Обычно невесте ждать не приходилось, но жених моей сестры оказался стеснительным юношей всего семнадцати лет, и за ним потребовалось посылать. Сестра признавалась, что в эти считаные минуты ожидания ей впервые сделалось страшно. Но потом она услышала быстрые шаги, и в следующий миг красную завесу отдёрнули. Ей полагалось сидеть молча и неподвижно, скромно опустив глаза, но она вздрогнула, невольно взглянула наверх и в этот короткий миг увидела бледное рябое лицо с широким низким лбом и поджатыми губами.

Завесу опустили, и чуть погодя по крыше паланкина нервно хлопнули веером.

Паланкин подняли и понесли к двери. Сестра сидела на удивление тихо, ибо, когда завесу подняли, страх её улетучился навсегда.

Носильщики подошли к двери. Паланкин

опустили на землю. Сестре помогли выйти из паланкина, и когда она ступила на порог дома, где ей предстояло провести всю жизнь, два старческих голоса завершили свадебную песнь словами привета:

И мимо Авадзи —
Опенённого волнами острова,
И мимо Наруо —
Отдалённого города
Прибыли мы наконец
Из Такасаго
В Суминоэ.
Прибыли мы наконец
В Суминоэ[28].

[28] Примечания: 28
Перевод Веры Марковой.

Глава IX. История марионетки

В первый день Обона[29] — мне тогда было двенадцать — Иси принесла мне новое украшение для волос и закрепила его прямо на моём большом стоячем банте. На его блестящем чёрном фоне серебряный щит в обрамлении серебряных же цветов выглядел великолепно.

— Его прислала вам досточтимая бабушка Эдо, — сказала Иси. — Она сделала его из переплавленных старинных монет, и получилось чудесно.

Я повернулась в ту сторону, где находился Токио, и с молчаливой благодарностью поклонилась незримой щедрой дарительнице. Кто такая досточтимая бабушка Эдо, я понятия не имела. Но на моей памяти каждый год она присылала мне очаровательные подарки к празднику Обон (его отмечают в середине лета); я смутно догадывалась, что бабушка Эдо какая-то близкая наша родственница, но не задумывалась об этом. У всех девочек есть бабушки. У кого-то две, а у кого-то и больше. Разумеется, бабушки по маминой ли-

---

[29] Примечания: 29
Японский трёхдневный праздник поминовения усопших.

нии обычно обитали отдельно, но зачастую отец семейства приглашал жить под своей крышей и свою мать, и бабку. Старикам были рады всегда, их присутствие делало семье честь. Дом сына, который заботится о трёх поколениях предков, называли благородным пристанищем пожилых.

Обон — праздник, когда души пращуров (о-сёрай-сама) навещают своих родных, — мы любили больше всего, поскольку верили, что предки наблюдают за нами с неизменной любовью и заботой, так что ежегодные их посещения поддерживали в наших сердцах радостную и нежную близость к милым усопшим.

Непременным условием подготовки к визиту о-сёрай-сама были чистота и простота: всё устраивали необычно примитивно, без малейшей вычурности, как повелось искони.

Несколько дней прошли в хлопотах. Дзия и ещё один слуга подстригли деревья и изгороди, вымели двор и даже пространство под домом и тщательно вымыли мощённые камнем дорожки в саду. Циновки вынесли во двор и выбили бамбуковыми прутьями, а Кин и Тоси тем временем бумажными метёлочками очищали от пыли бумажные двери-сёдзи, так что эхо громких шлепков разносилось на всю округу, и нагретыми

тряпочками натирали до скрипа пол на крыльце. Всё дерево в доме — и широкие потолочные балки, и сотни крохотных реечек из светлой древесины, пересекавшие сёдзи, и резные решётки вентиляции, зеркальные столбики и основание токономы — протирали горячей водой, меняли порвавшуюся рисовую бумагу в сёдзи, и вот наконец весь дом от соломенной крыши до ледника в подполе стал чистым и свежим, как льющаяся с неба дождевая вода.

Матушка принесла из хранилища старинную редкость — свиток-какэмоно, одно из сокровищ отца, и когда какэмоно повесили на стену, Кин поставила под ним нашу лучшую бронзовую вазу с большим букетом из семи осенних трав — алтея, пампасной травы, вьюнка, смолёвки и трёх видов астр, лиловой, жёлтой и белой. По большей части это цветы, но японцы считают травами все растущие на земле растения с тонкими, похожими на травинки листьями.

Разумеется, больше всего внимания уделяли святилищу, поскольку именно там обитают духи, пришедшие нас навестить. Дзия затемно сходил на пруд, нарвал цветов лотоса, ведь только с первыми лучами зари лотос «делает вдох», раскрывает бледно-зелёные бутоны, являя свою

белоснежную прелесть. До возвращения Дзии святилище вычистили, предварительно убрав его содержимое, с бронзового Будды почтительно вытерли пыль и вернули его на место, на золочёный лотос. Таблички с именами пращуров и портрет отца — мать всегда держала его в святилище — аккуратно протёрли, медный ажурный светильник с неугасимым огнём наполнили рапсовым маслом, поставили курильницу с благовониями, подсвечники, положили священные книги и чётки, а деревянный барабан в виде чудовищной рыбы (он символизирует подчинённое положение женщины)[30] отполировали так тщательно, что заблестели даже потёртости на покрывавшем его красном лаке. Затем Дзия застелил пол перед святилищем недавно сплетённой грубой циновкой из пампасной травы, а по краям циновки расставил вазы с букетами из семи осенних трав.

Но самое интересное началось, когда мы с досточтимой бабушкой сели перед святилищем и принялись мастерить приветственные украшения. Я всегда обожала помогать ей в этом. Иси и Тоси принесли из сада овощи необычной формы,

---

[30] Примечания: 30
Речь о мокугё.

горсть сухих конопляных стеблей, с которых сняли верхний грубый слой, и многие метры сомэна, мягкой и гибкой лапши. Досточтимая бабушка взяла скрюченный огурец — один его краешек загибался, как приподнятая голова, — и сделала из него лошадку с гривой и хвостом из кукурузных рылец и ножками из стеблей конопли. Из кругленького баклажанчика бабушка смастерила буйвола с рогами и ногами из стеблей конопли, изготовила из недосохшего ещё сомэна сбрую обоим животным и поставила их в святилище. Я тоже сделала несколько буйволов и лошадок. А пока мы работали, Дзия принёс листики лотоса — их сохнущие края загибались кверху, так что листья походили на резные блюдца, — и несколько крохотных жёлтых и красных шариков, новых для нас плодов (теперь-то я знаю, что это помидоры).

Иси разложила по блюдцам из листьев лотоса фрукты — все, какие были у нас, кроме пушистых персиков, — и досточтимая бабушка украсила верх святилища изящными гирляндами из сомэна, а на петли гирлянды повесила маленькие фиолетовые баклажанчики и крохотные красные и жёлтые помидорки.

Затем Иси принесла с кухни лесенку и, встав

на неё, высоко над святилищем повесила белый фонарик — простой кубик из белой бумаги, перевязанный бумажными ленточками, но, когда его зажигали, от тепла пламени фонарик постоянно крутился, ленточки взмывали, опадали и развевались, так что казалось, будто над святилищем порхает стая птиц. Красивое зрелище.

Смысл всех этих украшений и диковинных зверьков из овощей скрылся в тумане прошлого, а вот блюда из листьев лотоса делали, потому что лотос — священный цветок. Священные тексты рассказывают об искушении Будды, когда он жил отшельником на Снежной горе[31].

Однажды в рассветный час Будда сидел медитировал, как вдруг услышал странную сладкозвучную песню. Будда прислушался, и сердце его наполнилось радостью и изумлением, ибо ноты этой мелодии медленно излагали ему план спасения. Но вдруг мелодия смолкла. Тщетно Будда ждал, что музыка возобновится. Воцарилась тишина. Будда поспешил к краю пропасти, всмотрелся в туманы долины и увидел страшного

---

[31] Примечания: 31

Речь о Сэссэн-додзи, предыдущем воплощении Будды Шакьямуни. Его воплощение можно увидеть на картине художника Сога Сёхаку «Сэссэн-додзи, предлагающий свою жизнь людоеду» (1764). — *Прим. науч. ред.*

демона: тот с насмешкой глядел на раздосадованного, встревоженного пророка. Будда от всего сердца попросил его допеть песню, но демон ответил, что не сможет этого сделать, пока не насытится человеческой плотью и кровью. И тогда он откроет Будде таинственный план, чтобы знание о спасении достигло всего человечества.

Будда лелеял надежду, что сам принесёт людям эту весть, но теперь эта надежда растаяла без следа. Будда пылко воскликнул: «Насыться моей плотью, утоли жажду моей кровью, но допой свою песню, чтобы все души спаслись!», — и, скинув одежды, прыгнул со скалы. В это мгновение луч солнца осветил долину, коснулся вод пруда, где плавал ещё не открывшийся лотос. Когда пророк пронёсся по воздуху, бутон лотоса неожиданно распустился и на его белоснежные лепестки мягко упал тот, кто даровал трети мира веру более совершенную, нежели все бытовавшие прежде.

Так по сей день возвышенная сердцевина лотоса называется «утэна», то есть «сиденье», и перед всеми буддийскими святилищами можно найти его бутоны, как настоящие, так и искусственные.

К закату всё было готово: сумерки — пора встреч с духами. О о-сёрай-сама всегда рассказывали как о расплывчатом обезличенном силуэте,

что приезжает на белоснежном коне «из края мрака, с берегов неведомого, из мира мёртвых».

Я, как все дети, визита предков неизменно ждала с нетерпением, а после смерти отца — тем более, и, когда наша семья собралась возле святилища, сердце моё билось в радостном предвкушении. Все, даже слуги, были в новых нарядах — недорогих и простых, но всё-таки новых. Сумерки сгущались, в святилище зажгли огонь, отодвинули сёдзи, распахнули входные двери, открыв путь от дороги и до самого святилища.

Затем мы парами вышли из комнаты, миновали коридор, прихожую, где разуваются, и по выложенной камнями дорожке устремились к высоким воротам, распахнутым настежь. В воротах Дзия сложил крест-накрест кучку конопляных стеблей — всего их было тринадцать — вокруг горки пушистой сухой травы. Здесь мы разделились: Дзия с Ёситой направились по одной стороне дороги, досточтимая бабушка, матушка, я, Иси, Кин и Тоси — по другой. Затем, почтительно склонив голову, мы принялись ждать. Брат был в Токио, так что огонь чистоты разожгла досточтимая бабушка с помощью Иси; от искр, летящих с огнива, конопляные стебли разгорелись приветственным пламенем.

В городе было тихо и сумрачно, не считая сотен огней: возле каждого дома горел небольшой костерок. Я замерла в поклоне, и тоскующее моё сердце словно призвало отца. Мне казалось, я слышу вдали стук лошадиных копыт, чувствую приближение белоснежного скакуна. Но конопляные стебли, только что разгоревшиеся так ярко, уже затухали, слабое дыхание тёплого августовского ветерка коснулось моей щеки, и душу мою охватило умиротворение. Мы медленно поднялись и со склонёнными головами зашагали обратно в дом по внешним краям тропинки, снова парами, но не приближаясь друг к другу: между нами легло священное пространство дорожки. В святилище мама ударила в гонг, и мы все склонились с почтительным радушием, как всегда, когда приветствовали желанного гостя. Нас осталось так мало даже по сравнению с прошлым годом, но души наши с любовью приветствовали тех, чьё присутствие — мы в этом не сомневались — принесёт в наш дом весёлое дружество счастливым, помощь и утешение скорбящим.

В следующие два дня город озарился множеством огней. Все ходили с фонариками, ими украшен был каждый дом, ряды их тянулись

вдоль каждой улицы, и кладбища по ночам полнились тёплым свечением: над каждой могилой горел крохотный белый фонарик, прикреплённый к арке из стеблей пампасной травы. То была счастливая пора для всей Японии, единственный день в году, когда не отнимают жизнь ни у кого — ни у рыбы, ни у птицы, ни даже у насекомого. Нарядные рыбаки праздно слонялись по улицам, цыплята кудахтали и кукарекали в своих бамбуковых клетках, а малютки сверчки — обычно дети их ловят и сажают в крохотные клетушки — пронзительно пели в кронах деревьев, и никто на них не охотился с липучкою на шесте. Благотворительность раскрывала любящие объятия всем без исключения. Ни один монах, собиравший подаяние, не ушёл с пустой чашей; под листьями лотоса на могилах стояли сплетённые из пампасной травы корзины, полные угощений: бедняки унесут их, когда фонарики догорят, — и даже грешники в аду, если души их жаждут спасения, в милосердные дни Обона обретают надежду.

В доме нашем царили приятные размышления, бескорыстные деяния и счастливый смех, ибо мы ощущали, что наши добрые гости наслаждаются простыми нашими радостями: новой одеждой, взаимными любезностями, ежедневными пир-

шествами, состоявшими из фруктов, овощей и данго из рисовой муки, разделёнными с духами предков. Досточтимая бабушка с каждым часом казалась всё безмятежнее, матушка лучилась покоем и удовольствием, слуги болтали и улыбались без перерыва, и сердце моё переполняла тихая радость.

В сумерках на рассвете четвёртого дня Дзия сходил на пруд за цветами лотоса, а матушка поставила пред святилищем свежее угощение. И когда светлеющий воздух заспорил с теплившимся в доме светом белого фонаря, мы собрались попрощаться.

Предыдущие дни выдались счастливыми, и, пожалуй, нам всем было грустно, когда, напоследок низко поклонившись, матушка поднялась и убрала от святилища циновку из пампасной травы. Матушка сложила циновку пополам, разгладила, связала концы травинками, так что получилось неуклюжее маленькое каноэ, и закрепила посередине арку из конопляного стебля. Внутрь поместили лотосы с угощением, добавили несколько онигири и сырые данго, как дар о-сёрай-сама птицам. Потом в каноэ сложили зверюшек из овощей и все украшения святилища, на арку повесили белый фонарик, Дзия

взял каноэ, и мы вместе с матушкой, Иси и Тоси направились к реке.

Солнце ещё не взошло, однако на улицах уже толпился народ, а воздух пестрел птицами: казалось, они сознавали, что их ждёт угощение. На берегу мы все, кроме Дзии, остались стоять на мосту и наблюдать за происходящим, а Дзия спустился по ослизлым ступенькам, вырезанным в земле, и присоединился к собравшимся у реки. Каждый держал маленькое каноэ с яствами и фонариком.

— Смотрите, — шепнула Иси, когда Дзия высек из огнива искру и зажёг фонарик, — наши досточтимые предки сядут в него и поплывут, согретые лучами солнца.

Тишину прерывали разве что громкие крики птиц; наконец из-за далёкой горы выглянул солнечный луч. Сотни собравшихся на берегу, склонившись к воде, отпустили маленькие каноэ и провожали их взглядом, а те кружились средь бури благодарно кричащих птиц. Одно опрокинулось.

— Мои о-сёрай-сама сошли с каноэ и теперь в неведомых краях! — сказала пожилая госпожа, поднялась на берег и, довольная, направилась домой.

Светало, и мы увидели вдали наши лодчонки, они боролись с волнами, белые фонарики их раскачивались. Мы дождались, пока солнце засияет ярко, и когда его лучи хлынули вниз по склону горы, с берега послышался тихий и низкий шёпот.

— Прощайте, о-сёрай-сама, — негромко говорили мы, кланяясь им вслед.

— Приходите на следующий год. Мы будем ждать вас!

Собравшиеся разошлись и с радостным видом направились по домам.

Мы с мамой, довольные, тоже пошли домой; шагавшие за нами Иси, Тоси и Дзия всю дорогу оживлённо болтали. В эти последние дни матушкин взгляд прояснел и выражение озабоченности уже не туманило её лицо; казалось, отец действительно посетил нас, подал помощь и утешение и ушёл, оставив по себе не тоску, но умиротворение.

В тот день, убирая моё цветочное украшение для волос, Иси указала на щит из полированного серебра в обрамлении цветов. На щите была гравировка с гербом, и грани её сверкали, как драгоценные камни.

— Это герб не Инагаки, — заметила я.

— Нет, это родовой герб досточтимой бабушки

Эдо, — пояснила Иси, закрыла шкатулочку и убрала. — Великолепная работа. Досточтимая бабушка Эдо дарит вам только самые красивые и редкие вещи.

— Но ни моему отцу, ни матери досточтимая бабушка Эдо никогда подарков не присылала, — сказала я.

— Да. Никому, кроме вас, — согласилась Иси. — В этот праздник она неизменно вспоминает о вас, дабы поприветствовать и почтить предков рода Инагаки.

Помню, я тогда ещё удивилась, отчего это досточтимая бабушка Эдо не присылает подарки никому из членов нашей семьи, кроме меня, но тут же и позабыла об этом. В Японии дети редко спрашивают о том, о чём им не сказали, да и в тамошней жизни есть столько вещей, которые положено принимать как должное, что я не стала задумываться.

И лишь повзрослев, я узнала, что досточтимая бабушка Эдо — родная мать моего отца, а моя дорогая досточтимая бабушка, кому я обязана столь многим, на самом деле моя прабабушка.

Дед мой скончался скоропостижно, когда отцу было семь лет; он остался наследником, а его досточтимая бабушка отныне считалась хозяй-

кой дома своего покойного сына и матерью его ребёнка. То, что молодую вдову, родную мать моего отца, выставили из дома, — одна из трагедий нашей семейной системы: та, хоть изначально и была устроена мудро, со временем стала причиной многих ошибок, как бывает всегда, когда жизнь меняется слишком быстро и традиции за нею не поспевают.

Реставрация 1868 года неожиданностью не стала. К этому времени из-за политических волнений Япония раскололась на два лагеря: тех, кто полагал, что власть императора должна включать обязанности как священные, так и мирские, и тех, кто считал, что сёгун, военный правитель, должен снять с плеч священного императора бремя государственных забот.

Дед мой верил в восстановление императорской власти, но отец его жены, поскольку был хатамото, то есть непосредственным вассалом сёгуна, разумеется, горячо поддерживал противную сторону. Дед с тестем дружили, однако каждый из них хранил нерушимую верность и собственным убеждениям, и своему господину.

Дед умер внезапно, во время визита в Токио (тогда ещё Эдо) по долгу службы. Говорят, после изысканного приёма в доме тестя деда поразил

таинственный и очень сильный недуг. На том пиру присутствовало немало рьяных сторонников императора. Дед, безусловно, понимал политическое значение этого приёма: после его кончины выяснилось, что под традиционный праздничный наряд он надел белое смертное облачение.

В те дни, когда сердце Японии стремительно билось и она отчаянно силилась вырваться из-под установившегося, пусть и спорного, многовекового диктата, подобные происшествия не были редкостью, как не было редкостью и столь смиренное принятие своей судьбы. То была привычная верность самурая долгу и отвага перед лицом смерти. В разных странах разные нормы, но верность и отвага повсюду в цене.

Смерть его стала трагедией для молодой жены, моей бабушки: когда она овдовела, ей было немногим более двадцати. В обычных обстоятельствах она осталась бы почтенной вдовой, матерью семилетнего наследника, моего отца, но в сложившейся ситуации — пусть её и не обсуждали — этой гордой женщине, претерпевшей глубокое унижение, не оставили иного выхода. Я не знаю, стала ли она жертвой тщеславия своего отца или его верности господину, но бабушка «смиренно отреклась» от семьи покойного мужа,

сменила фамилию Инагаки на посмертное имя[32] и вернулась в свой старый дом. В соответствии с идеалами того времени её положение считалось худшим позором, который только может постичь женщину из рода самураев. Как если бы солдат храбро отправился в бой, но трусливо вернулся домой ещё до его начала.

Несколько лет молодая вдова мирно жила в отчем доме, посвящая всё своё время классической литературе и искусствам; потом ей предложили высокий пост в замке даймё Сацума.

В ту пору род Сацума играл важную роль в истории. Именно это княжество в одиночку бросило вызов британской Восточной эскадре. Молодой самурай клана зарубил некоего мистера Ричардсона, британского торговца, дерзнувшего вторгнуться в торжественную процессию их господина. Сацума был самым влиятельным даймё, и дом его, как то было во всех высокопоставленных домах в феодальную пору, делился на две части: внешние и внутренние покои. Последними управляли исключительно женщины; в крупных замках с множеством вассалов им

[32] Примечания: 32

Имеется в виду каймё, посмертное буддийское имя, которое даётся усопшим, чтобы не тревожить дух покойного упоминанием настоящего имени. — *Прим. науч. ред.*

приходилось работать не менее усердно, чем чиновникам оомотэ, местного «государственного департамента». И бабушка моя заняла почётное место среди опытных слуг.

Вскоре её таланты получили признание: её выбрали гувернанткой к маленькой дочери даймё; эту должность бабушка занимала, пока не пришла пора готовить ту девочку, уже невесту, к роли жены. Бабушке назначили пожизненное щедрое содержание и с почётом проводили в отставку, поэтически описав это так: «Увы, полная луна скрывается за облаками, оставив по себе мелькающие тут и там проблески мягкого света, но пребудет с нами вовек, как нежная долгая память».

Вживую я никогда не видала досточтимую бабушку Эдо, но, стоит мне заглянуть в своё сердце, я вижу там её образ. Она жила во дворце крупнейшего японского даймё, в роскоши и богатстве, её умения и таланты каждый день встречали признание, обожаемая подопечная, маленькая княжна, уважала её и любила, однако моя бабушка обращалась мыслями к внучке, с которой никогда не встречалась. Вряд ли только по зову сердца — а впрочем, мне хочется верить, что без него не обошлось.

Дело всей жизни у неё отобрали, пусть в том и не было её вины или небрежения, но бабушка свято хранила в сердце свой сокрушённый долг и бестрепетно, как подобает самураям, пока была жива, устремлялась мыслями к маленькой внучке — о которой говорили, что та похожа на неё даже кудрявыми волосами, — и неизменно посылала ей каждый год самое дорогое, чем владела, чтобы внучка надела эту вещь на церемонию приветствия духов рода Инагаки, кому бабушка уже не могла отдать поклон, но с кем её связывал долг. Её бессилие было трагедией. Её усердие вызывало грусть. Но она оставалась верна до последнего.

Представления о долге в разных концах света разные, но японцы никогда не уклоняются от его призыва. Многие девочки и мальчики, даже не вступившие в пору отрочества, многие мужчины и женщины в расцвете сил, многие пожилые в одиночку уезжали в далёкие провинции и среди чужаков становились своими — телом, умом и духом. Но даже среди красоты, если где-то вдали остался неотданный долг, ничто, пока жизнь идёт, не способно помешать сердцу тянуться, уму — строить планы, душе — молиться о том, чтобы исполнить, пусть частично, этот утраченный

долг. В этом таится душа Японии.

На прощанье юная княжна подарила моей бабушке в знак величайшей благодарности и пылкой признательности кимоно со своим гербом, которое носила сама. Много лет спустя на праздник Обон — мне было десять лет — бабушка прислала мне это сокровище. Я прекрасно помню тот день. Иси отвела меня в мою комнату облачиться для вечернего приветствия. На высокой лаковой раме — на таких обычно одежда проветривалась или просто дожидалась окончания наших приготовлений — висело прелестное летнее платье голубого льна с искусным узором из семи трав осени. Мне тогда показалось, что ничего красивее я в жизни не видела.

— Ах, Иси, — воскликнула я, — это прекрасное платье — мне?

— Да, Эцубо-сама. Досточтимая бабушка Эдо прислала его вам к празднику.

Платье оказалось слишком велико, Тоси пришлось собрать его в талии и на плечах. Одевшись, я пошла показаться досточтимой бабушке и матушке, а потом направилась в покои отца.

— Я пришла! — объявила я, преклонив колени за закрытой дверью, готовая отворить её.

— Войди! — послышался голос из комнаты.

Я отодвинула сёдзи. Отец читал. Он с улыбкой поднял глаза — и каково же было моё удивление, когда, окинув меня взглядом, отец стремительно встал с подушки и с достоинством произнёс, медленно и торжественно:

— Пришла княжна Сацума!

И отвесил глубокий поклон.

Разумеется, я тут же уткнулась головёнкою в пол, и хотя, когда я выпрямилась, отец смеялся, всё же я смутно чувствовала, что за его улыбкой кроется нечто большее, нежели шутливая почтительность к гербу более знатного рода: смесь гордости и тоски, пожалуй даже и горечи — подобно жестокой боли в душе сильного человека, чья десница беспомощна.

Глава X. День петуха

Через год после возвращения брата письма от его американского друга стали приходить чаще. После каждого письма бабушка, брат и матушка подолгу беседовали, и не все их беседы оказывались приятны. Порою я смутно чувствовала, что их разговоры как-то связаны и со мной, однажды даже встревожилась, когда после долгого обсуждения брат вдруг резко вышел из комнаты, поклонившись наскоро, почти грубо. Он направился было к двери, но опомнился, вернулся, приблизился ко мне и впился в меня пристальным взглядом. Но потом, не сказав ни слова, ушёл.

Через несколько недель пришло пухлое тяжёлое письмо с множеством марок, и после очередного долгого разговора в бабушкиной комнате брат послал Дзию с длинной лакированной шкатулкой, перехваченной шнуром, с «обходным письмом» ко всем нашим родственникам. В каждом доме Дзие полагалось дождаться, пока письмо прочтут, и нести его в следующий. Днём я заметила, что матушка задумчива и тиха, а

бабушка, строгая и молчаливая, сидит с длинной изящной курительной трубкой подле хибати. Трубка была маленькая, всего на три затяжки, бабушка наполняла её дважды, после чего убирала, но тогда, видимо, позабыла и долго сидела с трубкой в руке.

Назавтра собрался семейный совет.

В Японии принято решать важные семейные вопросы, созывая совет старших родственников. Сколько я себя помню, у нас всегда собирались семейные советы, но я, как младшая в семье, к тому же девочка, в них никогда не участвовала и разве что смутно гадала, что будет на этот раз: продадут ли очередной кусок земли или одну из наших картин-свитков. Всю мою жизнь мы что-нибудь да продавали. Мы с сестрой настолько привыкли видеть, как перекупщик со старым Дзией входят в большое оштукатуренное хранилище, что даже играли, кто угадает, что унесёт перекупщик на этот раз — свёрточек в руке или большой мешок на плечах. Мама смущалась, когда группа мужчин приходила к нам осматривать вещи, отец же смеялся и говорил: «Бесполезной красоте было место лишь в прежней жизни, а новой жизни нужна неприглядная польза».

Но было такое, над чем отец не смеялся. Всякий

раз, как велись переговоры о продаже земли, отец проявлял бдительность. По ту сторону садовой стены от наших некогда обширных владений давно уже не оставалось ничего, и с каждым годом граница всё ближе подступала к дому, но отец нипочём не расстался бы даже с клочком земли, на который выходили окна бабушкиной комнаты. После его кончины брат поступал не менее осмотрительно, и бабушка до самой смерти, как в прежние годы, любовалась садом, ручьём и пологим склоном, поросшим азалиями и перистым бамбуком.

Нынешний семейный совет был самым многочисленным после смерти отца. Прибыли два седовласых дядюшки с жёнами, ещё две тётушки и молодой дядюшка из самого Токио. Они надолго закрылись в комнате, я же сидела у себя за столом и писала, как вдруг за спиной моей сказали негромко: «Прошу прощения!» На пороге моей комнаты стояла взволнованная Тоси.

— Юная госпожа, — начала она с непривычно глубоким поклоном, — ваша досточтимая матушка просит вас выйти к гостям.

Я вошла в большую комнату. Брат сидел подле токономы, рядом с ним двое седовласых дядюшек и молодой дядюшка из Токио. Досточтимая

бабушка, четыре тётушки и матушка расположились напротив. Подали чай, у всех были чашки — или в руках, или стояли рядом. Я раздвинула двери, и все посмотрели на меня так, словно видели впервые в жизни. Я насторожилась, но, разумеется, по обычаю, отвесила низкий поклон. Мама жестом подозвала меня, и я скользнула к ней на циновку.

— Эцуко, — очень мягко сказала мама, — боги были к тебе добры, твоя судьба невесты решена. Твой досточтимый брат и почтенные родственники серьёзно обдумали твоё будущее. И тебе подобает выразить благодарность всем досточтимым собравшимся.

Я вновь поклонилась, коснувшись лбом пола, вышла, вернулась к себе, села за стол и продолжила писать. Мне и в голову не пришло спросить: «Кто он?» Я не воспринимала помолвку как исключительно моё личное дело. Это дело семейное. Как все японские девушки, я с младых ногтей сознавала, что однажды выйду замуж — так уж заведено, иначе и быть не может, — но до этого далеко, а следовательно, ни к чему раньше времени об этом заботиться. Я не ждала с нетерпением той поры, когда стану невестой. Я не боялась этого. Я вообще об этом не думала. И вовсе не потому,

что мне шёл только тринадцатый год. Так к браку относились все девушки.

Через несколько месяцев состоялась официальная помолвка. Церемония была несложная, в отличие от свадебной, однако важная: в семьях, державшихся старых взглядов, помолвка считалась такой же священной, как брак, и разорвать её было не проще, чем брачные узы.

В доме в тот день царило тихое оживление. Слуги, неизменно проявлявшие интерес ко всем семейным делам, развесили на кусте нандины у крыльца бумажных куколок[33], чтобы день выдался погожим, и радовались солнцу; даже матушка, в минуты волнения казавшаяся ещё спокойнее, чем обычно, ходила по дому и раздавала служанкам совершенно лишние указания. «Будешь пудрить лицо Эцуко-сама, смотри, аккуратнее, — наставляла она Иси. — Чтобы белила легли ровно». А когда прибыла мастерица делать мне причёску, матушка во второй раз заглянула ко мне в комнату, чтобы отдать указание как можно туже затянуть волосы Эцуко-сама.

Когда меня одели, я пошла к бабушке пожелать доброго утра. Она улыбнулась мне ласковее обыч-

---

[33] Примечания: 33
Речь о тэру-тэру-бодзу.

ного, и, пока не позвали завтракать, мы мило беседовали. Когда мы выходили из комнаты, бабушка напомнила мне, что сегодня День Петуха.

— Я знаю, — ответила я. — Помолвку всегда устраивают в День Петуха. Но почему, досточтимая бабушка?

— Вовсе не из тщеславия! — с улыбкой сказала бабушка и взяла меня за плечо. Мы спустились с крыльца. — Этот день выбрали твои родственники, поскольку желают тебе добра и чтобы удача благословила твою жизнь шелками и парчой — чтобы их было столько же, сколько перьев у птиц.

Несколькими днями ранее из Киото прибыл пожилой дядюшка Мацуо, господин Омори, и остановился в доме свата и свахи. Церемония должна была состояться, когда день прибывает, а не убывает, так что часов в десять утра, когда я вошла в нашу лучшую комнату, все уже собрались. Дядя Мацуо сидел на подушке близ токономы. Держался он очень прямо, лицо у него было приятное. Мне он понравился. Ещё там были бабушка, брат, матушка, сват и сваха; я уселась рядом с матушкой. Сваха принесла мне белый столик, накрытый креповым платком с гербом семьи Сугимото — подарок на помолвку

от его семьи. Я впервые увидела герб, который мне предстояло носить всю мою жизнь — правда, тогда я этого ещё толком не сознавала. Остальные подарки лежали на подносе; там, помимо прочего, была пара складных вееров — пожелание бесконечного прибавления счастья.

Тоси внесла два подноса и поставила их перед господином Омори. Это были подарки моей семьи для Мацуо.

Разумеется, мне дали точные указания, что делать; я подняла креповый платок, под ним обнаружился свиток роскошной парчи для широкого пояса. На столиках господина Омори лежала непременная пара вееров и широкие брюки-хакама — одежда, которую подобало носить японскому аристократу. То и другое с незапамятных времён дарили на обручение.

Я церемонно поклонилась в знак благодарности, и господин Омори ответил на мой поклон. Подарки разместили в токономе, и все, включая бабушку, чуть поклонились и прошептали: «Поздравляем!»

Чуть погодя служанки внесли столики для обеда; те, что для мужчин, поставили в одном конце комнаты, для женщин — в противоположном. Тоси с подносом села с краю обоих рядов, и гости

с лёгким поклоном принялись за еду. Разговор шёл на общие темы: гостям, кажется, нравилось, я же, разумеется, скромно молчала.

Самое интересное для меня началось, когда все разошлись и Иси меня раздевала. Внимательно оглядев мои волосы, она произнесла:

— Ма-а! Ма-а! Эцубо-сама, как хорошо, что сегодня холодно и сухо. Из причёски не выбилось ни волоска!

В кои-то веки мои непослушные волосы не осрамили мою семью; со вздохом облегчения я аккуратно положила голову на деревянную подставочку и, довольная, уснула.

После помолвки началось моё обучение: я словно репетировала роль жены. Меня уже выучили и шитью, и стряпне, и другим домашним делам, равно как и искусству икебаны, чайной церемонии и прочим женским премудростям, теперь же мне предстояло применять полученные знания на практике — так, будто я уже в доме мужа. Я должна была самостоятельно выбирать нужные цветы, подобающие картины-свитки и украшения для токономы, следить, чтобы всё в доме шло по установленным правилам.

Каждая минута моей жизни была подчинена учёбе и подготовке. Цель мне не объясняли,

ибо такое обучение было непременной частью каждой помолвки, а в моём случае объяснения и не требовалось — разве что мне дали понять, что отныне я должна как можно уважительнее относиться к кислице, изображённой на гербе Мацуо. В целом помолвка не изменила моего меню, мне лишь пришлось привыкать есть тунца, любимую рыбу Мацуо, к которой я всегда была равнодушна. Обучение моей сестры длилось долго, в наречённых она проходила целых пять лет, ведь из-за смерти отца свадьбу отложили на год. На гербе её будущего мужа была изображена слива, и сестра в эти пять лет ни разу не ела сливу, даже в виде желе, чтобы не выказать неуважения к гербу жениха.

Труднее всего в тот год оказалось выучиться шить подушки. Я обожала шить и иголкой владела довольно искусно, но ещё не сшила ни одной вещи сама. Мне всегда помогали Тоси или Иси. Но каждая японская хозяйка была обязана уметь шить подушки, ведь они заменяли нам стул и постель, и матушка велела мне сшить подушку полностью самостоятельно. Дело это непростое для любого человека, и рукава мои вымокли от глупых слёз, когда я в четвёртый раз перерезала нитку и вывернула наизнанку огромную подуш-

ку, чтобы переделать углы — как я ни старалась, они постоянно получались кривые.

Другая моя обязанность заключалась в том, чтобы на празднества и годовщины готовить «угощение для тени»[34] для моего отсутствующего жениха. В такие дни я лично готовила блюда, которые, по уверениям брата, любил Мацуо. Его стол ставили рядом с моим, и я следила, чтобы блюда сначала подавали ему, а потом уже мне. Так я училась заботиться об удобстве будущего мужа. Бабушка и матушка всегда разговаривали так, будто Мацуо с нами, а я следила за своим нарядом и поведением, словно мой жених здесь, в комнате. Так я привыкла уважать его и уважать своё положение жены.

Большинство воспоминаний той поры ныне уже поблекли, призраки давних волнений, но одно я не забуду никогда. Оно связано с днём рождения. В Японии не принято отмечать личные дни рождения. Вместо этого празднуют Новый год — как общий день рождения. Этот праздник обретает двойное значение, и поэтому его отмечают бурно и весело. Но в нашем доме всё-таки

---

[34] Примечания: 34

«Угощение для тени» (кагэдзэн), как правило, готовили для отсутствующего члена семьи (того, кто в отъезде или скончался). — *Прим. науч. ред.*

отмечали один день рождения. А именно Мацуо. Но не из-за меня. С тех пор как матушка узнала о том, что Мацуо был добр к моему брату, каждое 8 января у нас устраивали пиршество в его честь, причём для Мацуо, как для почётного гостя, ставили отдельный столик. Этой традиции мама не изменяла, и впоследствии, уже уехав в далёкие края, я не раз с затуманенным взором вспоминала тот праздничный столик в доме матушки, в горах Японии.

За месяцы моей помолвки мы с матушкой сблизились как никогда. Она не делилась со мной сокровенным — это было не в её привычках, — но, казалось, наши сердца связала незримая нить взаимопонимания. Я всегда восхищалась матушкой, но к восхищению моему примешивался трепет. Отец был мне другом, товарищем, мудрым советчиком, и я всей душой любила мою дорогую, терпеливую, бескорыстную Иси. Матушка же была высоко, точно солнце: спокойная и безупречная, она наполняла дом теплом, что дарует жизнь, но при этом была слишком далека, чтобы сообщаться с нею запросто, без церемоний. И я удивилась, когда она тихо вошла в мою комнату и сказала, что хочет поговорить со мной кое о чём, прежде чем обсуждать это с бабушкой. До

нас дошли вести, что Мацуо перебрался в город в восточной части Америки и открыл своё дело. В Японию он теперь приедет нескоро, а потому просил отправить меня к нему.

Мать всегда с тихим смирением принимала неизбежное, но этот случай был настолько из ряда вон, что поставил её в тупик. Японские матери верили, что дом суженого для каждой девушки выбирают боги, а потому веками бестрепетно отправляли дочерей-невест в отдалённые провинции, и предстоящая мне поездка в Америку матушку не смущала. Загвоздка была в другом: в доме будущего мужа не было ни свекрови, ни опытной старшей сестры, чтобы выучить его нареченную премудростям нового обихода. Семейный совет по такому поводу не созовёшь, ведь я считай что жена Мацуо и в его делах род Инагаки права голоса не имеет. В этой непростой ситуации матушка обратилась ко мне: впервые в жизни со мной советовались по семейным вопросам. Наверное, за тот час, что мы с матушкой беседовали, я из девушки стала женщиной.

Мы решили, что — по крайней мере, пока — перед нами стоит всего одна задача. А именно — подготовить меня к неведомой жизни в чужой стране. Родственники мне в этом помочь не мог-

ли. Разумеется, все волновались и каждый что-то да предлагал, но единственный полезный совет дал мой брат. Он сказал, что я должна получить образование и выучить английский язык. Это значило, что меня следует послать учиться в Токио.

Всю зиму домашние собирали меня на учёбу. Смысла этих приготовлений я толком не понимала — как, пожалуй, и остальные. Матушка вечер за вечером просиживала, склонив горделивую голову над чудесными вышитыми нарядами, распарывала шов за швом тонкую работу тех, что давным-давно упокоились с миром. Потом Иси красила шёлк и шила из него обычную одежду для моей школьной жизни.

Многое продали. Бабушка и матушка соглашались на любые жертвы, хоть порой их лица туманила грусть; брат же, казалось, ничуть и не дорожил драгоценными старинными вещами и расставался с ними без малейшего сожаления.

— Ценности — пустые хлопоты, — говаривал он. — В таком бедном доме, как наш, нет нужды хранить дюжины сундуков с доспехами для вассалов. Они были полезны в прошлом, ныне же сыновьям наших предков подобает сражаться на поле торговли. Коммерция — ключ к достатку; в

новом мире богатство — единственная сила.

Тогда я об этом почти не задумывалась, теперь же мне больно вспоминать украшения рукоятей мечей[35], золотые, серебряные, бронзовые, изящной работы, проданные за бесценок, и я до сих пор вижу, как широкие чаши старинных железных весов перекупщика опускаются под тяжестью мечей, некогда бывших гордостью наших смиреннейших вассалов.

Однажды морозным вечером я пришла к бабушке в комнату и устроилась подле её подушки рядом с котацу, как в былые дни, ныне казавшиеся мне давним прошлым. За этот год мы с бабушкой несколько отдалились друг от друга. Я уже не была тем ребёнком, которого она радовала сластями, которому прививала понятия о вежливости и рассказывала фамильные предания, тем самым преподавая важный урок; я понимала, что, как бы бабушка ни любила меня, она человек старых взглядов и новые условия, которые ставит передо мной будущее, выходят за пределы её понимания. Но в тот вечер из нашей беседы я поняла, что самурайская выучка готовит человека к любому будущему.

---

[35] Примечания: 35

Речь о цуба — аналоге гарды у японского клинкового оружия. — *Прим. науч. ред.*

Нашу тихую комнату освещал только отблеск углей в печурке; бабушка рассказала мне, как в этот самый день шестьдесят лет назад покинула свой дом в далёкой провинции и отправилась к жениху в Нагаоку. Большинство женщин её положения каждый год навещали родительский дом — то были длинные, величественные процессии, — но с той самой минуты, как бабушка села в свадебный паланкин, она никогда уже не увидела ни родных, ни родительский дом, хотя в Новый год и летние праздники посылала к ним гонцов с весточками и подарками. В те годы медленных путешествий расстояние измеряли временем, а не километрами, и путь её длился долго. Она оставила отчий дом в ночь полнолуния, а когда её паланкин внесли в ворота дома её мужа, в небе снова стояла полная луна.

— Мне было столько же, сколько тебе — четырнадцать, — сказала бабушка, — и когда наша процессия шагала по незнакомым провинциям, переваливала через горы, переходила широкие реки, я задумывалась о многом. Я заехала дальше Киото, и у въезда в каждую провинцию пришлось подолгу ждать, пока чиновники обменяются документами и получат для нас пропуска. В такие минуты моя няня всегда приходила и сидела со

мной в паланкине, к тому же с нами были копьеносцы и шестеро носильщиков: бояться мне было нечего. Но мир казался мне большим и очень странным. И люди, среди которых мне предстояло жить, отличались от моих родных. Их обычаи были мне внове, и даже язык: их выговор и слова отличались от наших. Я будто попала в чужую страну. И в последнее время я часто думаю о тебе и о том, что судьба ведёт тебя в неведомую страну. Помни, Эцубо, — с непривычной нежностью в голосе проговорила бабушка, — не так важно, где ты живёшь. Жизнь самурая, будь то мужчины или женщины, везде и всегда одинакова: нужно хранить верность господину и храбро отстаивать его честь. В далёких краях, предначертанных тебе, помни слова своей бабушки: храни верность мужу и храбро отстаивай его честь. Это принесёт тебе мир.

Глава XI. Моё первое путешествие

Та зима в Нагаоке, как обычно, выдалась долгой. Пять месяцев мы не видели ничего, кроме снега. Ранней весной наши токийские родственники написали нам, что устроили меня в школу. С той минуты я с нетерпением ждала, когда же сойдут лавины и по горным дорогам можно будет проехать без угрозы для жизни: ведь тогда брат сразу же отвезёт меня в столицу.

Наконец дамбы[36] высохли — там снег всегда таял раньше всего, — и на прощанье мы с моими подружками из Нагаоки отправились на пикник собирать первую зелень. Солнечным утром наша компания, повязав на голову лиловые платки[37] и надев яркие юбки и нижние кимоно[38], усыпала склоны дамбы, у каждой девушки была с собой корзинка и бамбуковый нож; наш смех и весёлые

---

[36] Примечания: 36
Речь о реке Синано. — *Прим. науч. ред.*

[37] Примечания: 37
Речь о о-косо-дзукин. — *Прим. науч. ред.*

[38] Примечания: 38
Речь о нагадзюбан. — *Прим. науч. ред.*

крики звенели в воздухе, мы бегали по берегам каналов, соревновались, кто больше соберёт разной зелени. Впоследствии я часто вспоминала тот день как последний счастливый день моей девичьей домашней жизни.

Наконец почтальоны донесли, что все снежные утёсы, нависавшие над дорогами, обрушились и склоны свободны от снега. Вскоре настал день отъезда. Радость мешалась в моём сердце с печалью, слёзы туманили взор; я попрощалась с матушкой и досточтимой бабушкой, и Иси усадила меня в рикшу. Две наши повозки и лошадь с поклажей — её вёл под уздцы работник — миновали наших друзей (выстроившись в два ряда, они кланялись нам на прощанье) и отправились в восьмидневное путешествие в Токио.

Большую часть пути мы проделали в рикшах, меняли их от города к городу, но иногда ехали верхом. Седло у меня было высокое, формой напоминавшее короб; брат и работник приладили на спину моей лошади двойную корзину и закрепили верёвками. С одной стороны сидела я, с другой крепился багаж. Когда мы поднимались по крутым и извилистым горным дорогам, я могла, наклонившись в седле, любоваться рыбацкими деревнями вдали, на побережье. Но

куда интереснее было по пути смотреть на расположенные за глубокой долиной пологие холмы с рисовыми террасами, участками необычной формы, напоминавшими узором кашаю, шёлковое одеяние буддийского монаха. В каждой деревушке с крытыми соломой хижинами было синтоистское святилище, установленное высоко среди деревьев, а в низине подле ручья крутилось большое узкое колесо рисовой мельницы. День был такой ясный, что я видела, как неуклюже кивает головой буйвол, влекущий деревянный плуг по бороздам рисового поля, я даже видела алый цветок меж складками полотенца, которым повязал голову шагавший за буйволом работник. В те дни украшать себя живыми цветами было не принято, их приносили разве что мёртвым, и я догадалась, что работник отнесёт цветок домой, в святилище. Интересно, какой у него дом.

Кажется, на третий день пути я осознала, что мы покинули снежную провинцию. В городках над тротуарами не было навесов, а на соломенные крыши домов не клали тяжёлые камни, чтобы уберечь от лавины. Да и дома здесь были непривычно голыми, как лицо замужней женщины, которая только что сбрила брови. Но всё-таки снега ещё виднелись вдали; обходя гору

Мёко, мы заметили немало снежных участков и заносов. Рикши сказали нам, что снег здесь лежит до июля.

— А с вершины, — добавил мой брат, — видна Фудзи-сан…

С замиранием сердца я повернула голову: мне на миг показалось — такая глупость! — что я возле священной горы, которую и не чаяла увидеть своими глазами. Но брат добавил: «…и тогда, если повернуться и посмотреть в противоположную сторону, увидишь равнины Этиго».

Душу мою наполнил глубокий и пылкий трепет.

— Мы так далеко от дома, — ответила я еле слышно.

Брат скользнул взглядом по моему угрюмому лицу и рассмеялся.

— А если посмотришь вдаль, за Этиго, увидишь остров Садо. И если Мацуо не оправдает твоих надежд, вот тебе мой совет.

И брат весело пропел старинную песенку:

Никуи отоко-ни кисэтай сима ва

Роягоси-ни Садо-га сима[39].

Меня поразило, что брат осмелился спеть песню простых слуг, и вдвойне поразило, что он позволяет себе шутить серьёзными вещами, и когда наши рикши продолжили путь, лицо моё оставалось таким же угрюмым.

Некогда на остров Садо высылали преступников; простые люди считали его краем света. Эта шуточная песенка, популярная у крестьянских девушек, — угроза подарить неугодному ухажёру не хакама, обычный дар невесты жениху, а одежды каторжника; девушка как бы говорит: «Я молю богов отправить немилого по бурному морю на край света».

Пятую ночь мы провели в Нагано, в храме Дзэнкодзи, там жила монахиня из императорской семьи[40], под чьей высоко поднятой бритвой я много лет назад шагала в толпе нарядно одетых девочек на буддийской церемонии пострига.

Наутро мы тронулись в путь, но вскоре брат

---

[39] Примечания: 39

Перевод: «Я хочу надеть на мужчину, которого ненавижу, полоски (сима), эти полоски — тюремная решетка (роягоси) острова (сима) Садо». — *Прим. науч. ред.*

[40] Примечания: 40

Третья дочка принца Кунииэ Фусими-но-мия, в 1835 году стала монахиней под именем Кога Сэйэнни. — *Прим. науч. ред.*

остановился и, дождавшись, пока мой рикша приблизится, спросил:

— Эцубо, а когда тебя передумали отдавать в монахини?

— Не знаю, а что? — удивилась я.

Брат насмешливо хмыкнул и поехал дальше, оставив меня в задумчивости и молчании.

Я ответила ему правду: я действительно этого не знала. Я всегда воспринимала своё обучение как само собой разумеющееся и не задумывалась о результате. Но братнин смешок меня озадачил, и пока повозка моя катилась по горной дороге, я задумалась о многом и, кажется, догадалась, в чём дело. Я знала, что отец никогда не одобрял, чтобы меня готовили к монашеству, хоть и вынужден был уступить желанию досточтимой бабушки, но после печального отъезда брата отец негласно начал обучать меня тому, что может мне пригодиться, если я стану его преемницей, и досточтимая бабушка, видимо, всем сердцем жалея своего гордого сына, чьи надежды оказались разбиты, смирилась, отказалась от заветной мечты, и о замыслах отдать меня в монастырь позабыли.

В провинции Синано, примерно в часе езды от Нагано, мой рикша указал на невысокую, покры-

тую лесом гору за рекой.

— Это Обацуяма[41], — пояснил он.

И я тут же вспомнила историю о материнской любви, которую рассказывала мне Иси. Давным-давно у подножия этой горы жил бедный земледелец и его вдовая старуха мать. Принадлежавший им клочок земли обеспечивал их пищей, и жили они хоть и бедно, однако мирно и счастливо.

В ту пору провинцией Синано владел деспотичный правитель: он, хоть и был храбрый воин, боялся всего, что напоминало ему о слабеющем здоровье и силе. И поэтому он издал жестокий указ. Всей провинции было строго-настрого велено немедленно отправить стариков на верную смерть.

Время тогда было варварское, жестокое, и обычай бросать стариков умирать был в ходу. Но это не был закон, и многие беспомощные старики жили столько, сколько им отведено, дома, в радушии и уюте. Бедный земледелец питал к старухе матери любовь и нежное почтение, и указ наполнил его душу печалью. Но ослушаться даймё никому в голову не приходило, и молодой

[41] Примечания: 41

В переводе буквально гора (яма), где выбрасывают (сутэ) старух (оба). — *Прим. науч. ред.*

человек, вздыхая горько и глубоко, приготовился к тому, что в ту пору считалось самой лёгкой из смертей.

На закате, окончив дневные труды, он взял меру нешлифованного риса, главной пищи бедняков, сварил, высушил, завязал в платок, повесил узел себе на шею вместе с бутылью из тыквы, полной прохладной пресной воды. Потом взвалил беспомощную мать к себе на закорки и начал трудное восхождение на гору.

Дорога была долгая и крутая. Молодой человек, не останавливаясь, брёл вперёд, тени сгущались, наконец над вершиной горы взошла ясная круглая луна и с жалостью глянула сквозь ветви деревьев на несчастного крестьянина, который с трудом тащился вперёд, склонив голову от усталости. Узкую дорожку пересекало множество тропок, протоптанных охотниками и дровосеками. Порой тропки превращались в настоящий лабиринт, но молодой человек не обращал на них внимания. Какая разница, по какой идти, по той или этой. Он бездумно шагал всё дальше и дальше к голой вершине горы, которую ныне зовут Обацуямой, — «гора, где оставляют стариков».

Мать его, хоть и полуслепая, всё же заметила, что сын бредёт, не разбирая дороги, и любящее

сердце её встревожилось. Здешние тропы сын её знает плохо, а значит, вернуться ему будет трудно; старуха принялась ломать веточки деревьев, мимо которых они проходили, и молча бросала их на дорогу, так что узкая тропка, по которой они карабкались, была вся усеяна кучками веток.

И вот добрались до вершины. Измученный, удручённый молодой человек осторожно положил свою ношу на землю, безмолвно подготовил удобное место — последний сыновний долг. Устроил любимой матери подушку из опавших сосновых игл, ласково уложил старушку, плотнее укутал её сутулые плечи в стёганое кимоно и со слезами на глазах и болью в сердце попрощался с нею.

С беззаветной любовью мать дрожащим голосом напутствовала его напоследок:

— Пусть глаза твои будут зорки, сынок. Горные тропы полны опасностей. Смотри в оба, иди по той тропинке, на которой рассыпаны кучки веток. Они выведут тебя к знакомой дороге.

Сын перевёл удивлённый взгляд с тропинки на бедные старые морщинистые руки, все в царапинах и грязи от трудов, продиктованных любовью, с сокрушённой душой поклонился матери до земли и воскликнул:

— О, досточтимая матушка, твоя доброта пронзила моё сердце! Я не оставлю тебя здесь. Мы вместе спустимся по тропинке, усеянной ветками, и вернёмся в нашу хижину в долине.

Вновь он взвалил на спину свою дорогую ношу (какой лёгкой она показалась ему теперь!) и поспешил прочь по тропинке, сквозь тени в свете луны, в хижину в долине.

Под полом кухни, скрытый от глаз, располагался погреб для припасов. Там-то сын и спрятал мать, снабжал её всем необходимым и со страхом следил, не узнал ли кто его тайну.

Время шло, молодой человек успокоился, но деспотичный правитель, словно чтобы похвастаться своей властью, снова отправил во все концы вестников с неразумным и бесполезным указом. Он потребовал, чтобы подданные смастерили ему верёвку из пепла. Вся провинция дрожала от страха. Приказ надлежит исполнять, но кто же во всей Синано сумеет смастерить верёвку из пепла?

Однажды вечером сын в великом отчаянии шёпотом рассказал матери о случившемся.

— Подожди, — ответила мать, — я что-нибудь придумаю.

Назавтра она подсказала сыну, что делать.

— Сплети верёвку из соломы, — наставляла его мать, — растяни её на плоских камнях и подожги безветренной ночью.

Сын позвал соседей и сделал, как велела мать; когда пламя угасло, на камнях лежала верёвка из белого пепла, и все изгибы и волокна её были прекрасно видны.

Даймё порадовался мудрости юноши, очень его хвалил, однако потребовал ответить, кто его надоумил.

— Горе мне! Горе! — возопил молодой земледелец. — Я должен сказать вам правду, — и, низко кланяясь, поведал о случившемся.

Даймё выслушал молодого человека и крепко задумался. Наконец он поднял голову.

— Синано нужна не только сила юности, — объявил он торжественно. — Как же я забыл знаменитое изречение: «Мудрость приходит, когда голову убеляют седины!»

В тот же час жестокий закон отменили, а обычай бросать стариков на погибель ушёл в такое далёкое прошлое, что осталась одна легенда.

Мы ехали дальше. Обычаи краёв, которыми мы проезжали, настолько отличались от обычаев Нагаоки, что мне казалось, будто я уже в чужой земле. Так, в одном месте, не доезжая деревни,

мы услышали хриплый крик: «Ма-кат-та? Ма-кат-та?» («Продано? Продано?») — и увидели на узкой, запруженной людьми улочке торговца, он стоял на возвышении среди дюжин бамбуковых корзин с фасолью, морковью, зеленью и молодыми побегами бамбука; вокруг него громоздились кучи фиолетовых баклажанов всех размеров и форм, а также длинных, крупных, вкуснейших корней лотоса.

Брат оглянулся и рассмеялся.

— Кто он? Что делают эти люди? — спросила я, едва мы достигли конца длинной улицы и выбрались на проезжую дорогу.

— Овощи продают, — ответил брат. — Торговцы скупают их в больших количествах, и каждое утро овощи продают корзинами. Правда, корни лотоса были прекрасны? Если бы мы не позавтракали часа два назад, я, пожалуй, перекусил бы.

В другом месте мы миновали дом, куда пришла смерть. У двери стоял погребальный паланкин, работники в широких шляпах и одеждах с гербом как раз ставили в него тяжёлую деревянную бочку с телом[42]. Сверху было наброшено маленькое золотисто-алое кимоно — значит, умерла малень-

---

[42] Примечания: 42

В гроб-дзакан, действительно похожий на бочку, тело умершего помещали в сидячей позе. — *Прим. науч. ред.*

кая дочка. Если бы сын, кимоно было бы белое. Вокруг собрались скорбящие в белых одеждах, головы их были повязаны белыми полотенцами. Когда мы проезжали мимо, я мельком заметила перевёрнутую ширму[43] и горящие свечи в крохотном святилище.

В другом месте дорога шла вдоль широкой реки с обрывистыми берегами, и кое-где почти у самой воды мы видели множество странных плавучих рисовых мельниц с крутящимися колёсами, похожих на флотилию лодок, замерших неподвижно в безнадёжной борьбе с мощной волною. Неужели в этих горных краях живёт столько народу, что они съедят весь рис, который перемалывают на этих мельницах? Наконец дорога свернула прочь от реки, и мы очутились в местности, где разводят шелкопряда: в каждой деревне, через которую мы проезжали, имелась собственная плантация шелковицы.

До города, в котором мы полагали заночевать, оставались считаные часы, но небо вдруг потемнело: надвигалась гроза. Брат тревожно

[43] Примечания: 43

У изголовья, согласно буддийскому ритуалу, ставится перевёрнутая основанием вверх ширма. Во время похорон всё должно происходить наоборот, так как считается, что это поможет живым людям избежать несчастий. — *Прим. науч. ред.*

поглядывал на тучи, и наконец его рикша сказал, что в следующей деревне есть большой дом, куда порой пускают на постой путников. Мы припустили туда и добрую четверть часа, задыхаясь, мчались с тучами наперегонки. И победили: рикши подкатили к дому в тот самый миг, когда с неба обрушился ливень; застигни он нас в дороге, нам пришлось бы туго.

Дом, в котором мы остановились на ночлег, был необычный, однако я знаю, что даже мой досточтимый отец, когда в прежнюю пору ему случалось пуститься в путь, не встречал приёма сердечнее и радушнее, чем мы и наши вспотевшие, смеющиеся, хвастающиеся возницы после волнующей гонки.

Глава XII. Наука странствий

В просторном ухоженном доме, где мы обрели пристанище в ту ненастную ночь, кипела работа. Повсюду, не считая разве что жилых комнат хозяина, его жены и двух дочерей, стояли каркасы с ярусами бамбуковых подносов, на каждом — ячеистые рамы-коконники, покрытые шелкопрядом. Червяков там были, кажется, тысячи тысяч. В родной деревне Иси ткали шёлк, и старшей моей сестре в её поместье между трёх гор принадлежало несколько деревень, где производили шёлк, но прежде мне не случалось всю ночь слушать шорох этих голодных маленьких созданий, поедающих листья. Этот негромкий звук наполнял весь дом: казалось, будто капли дождя стучат по сухим листьям, и мне всю ночь снилось, будто с карнизов капает вода. Наутро я проснулась в унынии — я думала, что придётся целый день ехать в закрытой повозке, — и каково же было моё удивление, когда, отодвинув деревянные ставни на крыльце, я увидела, что светит солнце.

Когда я стояла на крыльце, одна из хозяйских дочерей, примерно моего возраста, вынесла

соломенную циновку с помётом шелкопряда, выбросила в кучу во дворе (помёт шелкопрядов, которые едят шелковицу и рисовую шелуху, — лучшее удобрение на свете) и с поклоном пожелала мне доброго утра. Она стояла в свете июньского солнца — рукава подобраны, босые ноги в соломенных сандалиях, — а я присела на корточки на крыльце в крашенном самодельной краской ночном кимоно, и мы познакомились.

Она рассказала мне, что в одиночку обрабатывает шесть подносов шелкопряда. Кажется, она знала о шелкопряде всё и очень его любила.

— Черви чистые, — сказала она, — они разборчивы в еде и сметливы в своих делах — совсем как люди.

Удивительные вещи, которые я услышала, так меня заинтересовали, что, когда вошла служанка унести мою постель, я ещё слушала рассказ, но поспешила одеться.

— Ну что, — спросил брат, когда мою комнату убрали и подали завтрак, — нравится тебе в пансионе?

— Постояльцы уж очень шумные, — ответила я, — и, судя по тому, что рассказала мне дочь нашего хозяина, весьма привередливы. По её словам, не терпят даже частицы пыли. Даже из-за

увядшего листика порой «повязывают синий шейный платок»[44] и ползут к внешнему краю подноса.

— Ты видела бабушку нашего хозяина? — спросил брат.

— Нет, я и не знала, что у него есть бабушка.

— Она вчера ушла спать рано — наверное, укрылась от шума и суеты нашего появления. Перед отъездом мы засвидетельствуем ей почтение.

После завтрака хозяин отвёл нас в комнату своей бабушки. Та была очень старая, держалась замкнуто, но во взгляде её читался недюжинный ум. Едва она поклонилась, как я поняла, что воспитывали её в доме самурая, а когда я увидела на стене над сёдзи нагинату с гербом, сразу смекнула, почему брат так хотел меня с ней познакомить.

Нагината — длинный лёгкий изогнутый меч, им учили владеть женщин из самураев, причём не только ради упражнения: при случае его пускали в ход. На этом мече-нагинате был герб одного из наших северных героев. Он был предателем, но всё равно считался героем. И когда его

---

[44] Примечания: 44

Вероятно, имеется в виду, что даже из-за пылинки, попадающей в кокон, наружу будет выдаваться неаккуратный «шарф». — *Прим. науч. ред.*

убили, его дочь вместе с двумя другими женщинами защищала осаждённый замок в последние отчаянные часы безнадёжной борьбы. Старуха со сдержанной гордостью призналась нам, что была скромной служанкой этой дочери и разделила с ней те страшные часы. И её любимая досточтимая госпожа на память подарила ей нагинату.

Заметив наш интерес, старуха показала нам другое сокровище — тонкий затупленный ножкогай: вместе с метательным кинжалом-сюрикэном он составляет часть длинного самурайского меча. В древние времена японское военное дело было целой наукой, а умение пользоваться оружием — искусством. Воин гордится, что ранил противника, только если сделал это одним из способов, определённых строгим кодексом самураев. Длинным мечом разрешалось разить неприятеля только в четыре места: в макушку, запястье, в бок и в ногу под коленом. Метательный кинжал, стремительный, как стрела, должен был лететь прямо в лоб, горло или запястье. А вот тупым маленьким когаем можно было пользоваться по-разному. Открывать им, как ключом, ножны, чтобы достать меч; воин в походе мог есть двойным когаем как палочками; на поле боя или при отступлении им можно было из мило-

сердия проткнуть вену на щиколотке раненого и умирающего товарища; также когай служил и в клановых междоусобицах — когай, торчащий из щиколотки мёртвого врага, безмолвно сообщал: «Теперь твой черёд». Герб извещал, кому принадлежит когай, так что его, как правило, возвращали — в щиколотку хозяина. Когай фигурирует во множестве средневековых историй о любви и отмщении.

Я обрадовалась, что брат так заинтересовался, и сама с удовольствием наблюдала, как разрумянилась старуха, как просияла, предаваясь воспоминаниям, но вот заключительные её слова ввергли меня в уныние. На какое-то замечание брата она ответила:

— Молодость всегда охотно слушает о походах, старости же остаются лишь печальные воспоминания и несбывшиеся мечты.

Я села в рикшу, напоследок отдав поклон стоящей в дверях семье и слугам, склонившимся в поклоне, и мысленно попрощалась с хлопотливыми маленькими постояльцами. За этот короткий, пронизанный шелестом визит я узнала о шелкопрядах больше, чем за четырнадцать лет жизни в краях, где их разводят. Повозки наши катились по ровной и скучной дороге, но ум мой

не знал покоя; кажется, именно тогда я впервые осознала, пусть смутно, что все создания, даже самые ничтожные, «сметливы в своих делах — совсем как люди».

— Подумать только! — сказала я себе. — Сколько всего узнаёшь за время странствий!

Я накрыла колени накидкой и приготовилась к долгому пути.

Должно быть, я уснула, поскольку, когда послышался голос брата, я обнаружила, что уютно устроилась и лежу едва ли не в позе *кинодзи*.

Мы въезжали в немаленький город, и брат, подавшись вперёд, указал поверх черепичных крыш на видневшийся впереди замок на холме.

— Это Коморо, — пояснил брат, — нам оттуда прислали кукол.

Я улыбнулась, вспомнив дом в Нагаоке и двух высоченных кукол из праздничного набора, который наша прапрабабушка привезла с собой из Коморо в качестве приданого. В ту пору таких кукол разрешалось иметь только дочери даймё; должно быть, приданое было дивное. Но в моё время, когда мы существовали главным образом на те средства, которые удавалось выручить благодаря визитам перекупщика в наше хранилище, чудесные куклы из Коморо, их миниатюрная

мебель — сплошь лак и позолота, совершенство японского средневекового искусства, — постепенно нашли новых хозяев. Насколько я знаю, они попали не к японцам, а через какого-то продувного торговца уплыли в иностранные земли, в иностранные руки и, должно быть, сегодня покоятся в разных музеях, разбросанных по всей Америке и Европе.

Две куклы сломались, продать их было нельзя, и их поставили в качестве украшений на высокую полку в токономе в моей комнате. Я очень любила разыгрывать с ними сценки из историй, которые мне рассказывали, снимала кукол с полки, усаживала их как зрительниц, а сама изображала древнего самурая, которому предстоит исполнить страшный долг. Головы у кукол были съёмные, так что с ними можно было разыгрывать мою любимую историю мести. Не раз я хваталась за эмалированную голову куклы и костяным ножом для бумаг, заменявшим мне меч, безжалостно замахивалась на куклу и в то же мгновение вынимала её голову из роскошного парчового воротника, после чего с суровым и решительным лицом торопливо заворачивала голову в лиловый креповый платок, совала под мышку и шагала в воображаемый зал суда.

Подозреваю, отец знал об этой моей жестокой игре, ведь для неё я всегда заимствовала его лиловый креповый платок-фукуса (мне казалось, что вещь, принадлежащая ему, придаст игре благородства), однако, заслышав за дверью бабушкины шаги, я всякий раз торопливо возвращала голову куклы на место в её парчовое вместилище, дабы не огорчать досточтимую бабушку, опасавшуюся, что я вырасту слишком дерзкой и грубой и никогда не найду мужа.

Наши рикши катили по городу, я с интересом рассматривала замок. Вот, значит, тот дом Коморо, из которого наша прапрабабушка отправилась невестою в Нагаоку! Замок скрывали деревья, сквозь ветви местами виднелись серые, загнутые кверху концы многочисленных крыш. Замок походил на просторную низкую пагоду, возвышавшуюся над наклонной стеной из шестигранных камней — «черепаший панцирь» всех японских замков.

Из Коморо в Нагаоку! Должно быть, девушке в тряском свадебном каго этот путь показался вечностью! Я вспомнила рассказ досточтимой бабушки о том, как она месяц ехала к жениху. И подумала о себе. Боги Идзумо, ведающие брачными союзами, определили такую же участь

многим девушкам нашего рода, вот и мне предстоит пойти по стопам моих предков.

В одном месте нам пришлось пересесть в каго, и я опозорилась. Я боялась каго. Большая корзина, которую несли на плечах работники, так раскачивалась от стремительного их шага, что мной неизменно овладевала дурнота и слабость, но в тот день шёл проливной дождь, и рикши по горной дороге не проехали бы. Я крепилась изо всех сил, но в конце концов меня так укачало, что брат велел снять с лошади поклажу, усадил меня между подушек на её спине, накрыл циновкой, сам же, презрев удобство, шёл рядом до самой вершины горы, а работники с двумя каго — следом.

На вершине сияло солнце, я выглянула из-под циновки и увидела, что брат отряхивается, точь-в-точь как мой бедный Сиро, когда ему случалось вымокнуть под дождём. Я пристыженно извинилась.

— Эта немощь лишает достоинства, Эцубо. Боюсь, отныне ты не вправе называться храбрым сыном своего отца.

Я рассмеялась, но щёки мои пылали.

Брат помог мне спуститься на землю и указал на ширящееся облако дыма, что неспешно плыло над конусовидной горой.

— Это знак, что логово грабителей близко, — пояснил он. — Помнишь?

Разумеется, я помнила. Мне не раз доводилось слышать, как отец рассказывал о небольшом постоялом дворе на вершине горы, где цены были так высоки, что люди прозвали его «логовом грабителей». И только став постарше, я узнала, что на деле это исключительно приличная гостиница, а вовсе не воровской притон, где отнимают деньги у путников.

Мы спустились с горы, миновали несколько пещерных святилищ. В одном мерцал горящий светильник. Я вспомнила пещеры отшельников в Этиго. Я впервые уехала так далеко от дома, впервые увидела столько нового, непривычного. Однако на каждом шагу что-нибудь напоминало мне о доме. Быть может, и в Америке будет так?

Однажды после дождя, когда возница остановился опустить верх моей рикши, вдруг засияло солнце, и я увидела, что высоко на склоне горы, на фоне зелёной листвы белеет огромный иероглиф *дай* — по-японски это значит «большой». Казалось, его написали кистью, но Дзия — он уже бывал здесь — пояснил, что иероглиф сделан из веток бамбука, на которые паломники, приходящие в храм на вершине горы, повязывают

бумажки с молитвами.

Неподалёку от храма была простая деревенька, где жила Миё, сестра Дзии; мы заночевали у неё. Место было странное, нечто вроде дешёвой гостиницы для крестьян. Миё, её сын и его жена встретили нас на пороге низкими поклонами и возгласами радости и удивления. Широкие двери вели в просторную комнату с глиняным полом. В углу стояли деревянные бочки с ободьями, с закоптелого потолка свисал пухлый мешок с зерном, здесь же были горы лепёшек моти, сушёной рыбы, бамбуковых корзин со всевозможной провизией.

Мы прошли мимо беседующих паломников — они как раз спустились с горы, — прошли по каменным плитам садика и оказались в комнатах, где жила Миё. Там царила чистота, однако бумажные двери-сёдзи были в заплатках, татами пожелтели от времени, их матерчатая кайма протёрлась до дыр. Должно быть, Миё жилось туго; нрава она была независимого, некогда бросила бестолкового мужа и в одиночку вырастила четверых детей. Разумеется, так поступают только люди низшего сословия, но Миё была смелая, как мужчина, а поскольку родителей у её мужа не было, ей удалось на законных основаниях

оставить детей себе.

Миё служила у нас, когда мой брат был ещё маленький, и растрогалась до слёз, увидев «юного господина». Она принялась хлопотать, то и дело бегала на кухню, топоча босыми ногами по циновкам, и надевала сандалии всякий раз, как переступала порог. Миё принесла нам лучшее, что у неё было, постоянно кланялась и извинялась. Ей было очень неловко, что у неё только деревянные подносы без ножек, она никогда не видела, чтобы мой брат ел с такого подноса. Когда она жила в нашем доме, ему даже лепёшку подавали на лакированном подносе с высокими ножками, точь-в-точь как отцу. Но Миё проявила смекалку: принесла отделанное медью ведёрко для риса и, часто кланяясь и восклицая «Простите, досточтимый господин!», поставила на него поднос. Брат со смехом сказал: «Подобных почестей не удостаивался и сёгун!»

Мы засиделись допоздна и очень интересно провели время. Брат рассказывал о прошлом, о нашем доме, причём много такого, о чём я не знала, и мне казалось, будто я читаю старую книгу, которая мне смутно знакома. Я никогда ещё не видела его таким оживлённым и непринуждённым, как в тот вечер. Миё то со смехом,

то со слезами забрасывала брата вопросами, тараторила и сама себя всё время перебивала. Она рассказывала брату о каком-то случае из его детства, как он вдруг спросил:

— А что же стало с мужем, которого ты выбрала сама?

Вопрос, по-моему, слишком жестокий, но Миё спокойно ответила:

— Молодой господин, «ржавчину со своего меча можно отчистить только собственными усилиями». Я до сих пор расплачиваюсь за свою ошибку.

Она печально подошла к большому сундуку и достала креповый лиловый платок с нашим гербом; в платок было что-то завёрнуто. Миё угрюмо развернула платок и показала нам парчовый мешочек: в такие мешочки дети кладут написанные на бумаге благословения, которые дают им священнослужители. Золотые нити протёрлись, тяжёлый алый шнурок растрепался от старости.

Миё почтительно приложила мешочек ко лбу.

— Его дала мне досточтимая госпожа, — сказала она моему брату, — в ту ночь, когда позволила мне и моему возлюбленному уйти через водяные

врата[45]. В мешочке лежали прямоугольные серебряные монеты — всё, что мне было нужно.

— А, помню! — оживлённо воскликнул брат. — Я тогда был мальчишкой. Было темно, но я видел, как она в одиночку, с фонариком возвращается из сада. Но тогда я не понял, что это значит.

Миё, помявшись, продолжала рассказ.

На службу в наш дом она поступила совсем юной и, как сестра Дзии, верного слуги моего отца, пользовалась большой свободой. В неё влюбился парнишка, он тоже служил в нашем доме. В ту пору завести отношения без приличествующих формальностей считалось тяжким проступком для молодых людей любого сословия, а в доме самурая — чёрным позором для всего дома. Провинившихся изгоняли через водяные врата — ворота из кустарника, устроенные надо рвом, ими никто никогда не пользовался, кроме *эта*. Изгоняли прилюдно, и провинившиеся становились париями. Несказанно жестокая кара, но в прежние дни принимали суровые меры, дабы впредь никто не нарушил закон.

Мать всегда исправно соблюдала все законы,

---

[45] Примечания: 45

Ворота в замке, через которые выносили покойников, убирали нечистоты — и, как в приведённом примере, изгоняли провинившихся. *— Прим. науч. ред.*

связанные с домом, однако избавила Миё от прилюдного позора, отпустив влюблённых тишком, в полночь, своими руками распахнула перед ними ворота. Правду никто не узнал.

— Говорят, — сказала Миё, — будто боги очищают души тех, кто проходит сквозь водяные врата, но даже тогда наказания не избежать. Я поплатилась за свой проступок, но досточтимая госпожа Инагаки по небесной своей доброте избавила моих детей от позора.

Мы замолчали. Чуть погодя брат молвил с горечью:

— Досточтимая госпожа Инагаки проявила куда больше милосердия к слугам своего дома, чем к своему единственному сыну.

Брат раздражённо оттолкнул свою подушку и отрывисто пожелал нам спокойной ночи.

Наутро наша дорога вилась по берегу горного ручья, что с трудом пробирался сквозь овраги с отвесными склонами и оканчивался водопадом, стремительно низвергавшимся в широкую мелкую реку, через которую, орудуя шестами, нас перевезли работники. На этой реке некогда разыгрались события одной из самых увлекательных историй Дзии. Во время очередной спешной поездки в Токио отец обнаружил, что река раз-

лилась, велел работникам поставить паланкин на помост и перенести на головах через бурные волны на другой берег. Один слуга утонул.

Наши рикши катили далее, я же размышляла о том, как часто отец ездил по этой дороге среди роскоши и великолепия старой Японии, и вот теперь два его любимых ребёнка, старший сын и младшая дочь, следуют той же дорогой в нанятых рикшах, в простом платье, без слуг, не считая страдающего одышкой старого работника, который ведёт вьючную лошадь. До чего же всё это странно.

Наконец мы прибыли в Такасаки, откуда ходил в столицу знаменитый «сухопутный пароход». Я впервые увидела поезд. Мне показалось, он состоит из вереницы комнаток, в каждой узкая дверца, открывавшаяся на платформу.

День клонился к закату, и я так устала, что почти ничего не запомнила, кроме выговора от брата: полагая, что я вхожу в нечто вроде дома, я оставила гэта на платформе. Перед самым отправлением их протянул нам в окно служащий, в чьи обязанности входило собирать с платформы всю обувь, пока поезд ещё не ушёл. Я немедля уснула и проснулась уже в Токио.

Глава XIII. Иностранцы

Мои токийские родственники поселили меня у себя и записали в прославленную школу для девочек, где английский преподавал человек, учившийся в Англии. В этой школе я отзанималась несколько месяцев, но брат мой был недоволен. От девочек требовалось уделять массу внимания премудростям этикета и женским умениям, а поскольку дядюшка жил в роскошном особняке, пустячные церемонии отнимали у меня едва ли не всё внешкольное время. Брат заявил, что от такого образования не будет проку, как не было и от того, которое получил он сам, и, поскольку мне предстоит жить в Америке, необходимо выучиться чему-то полезному.

И вновь моего бедного брата не понял никто из родственников — оттого, что он упрямо противился всем советам, но в конце концов старинный друг нашего отца, майор Сато, предложил миссионерскую школу, которую посещала его жена и которая считалась лучшей школой для девочек с точки зрения изучения английского. Брату это пришлось по душе, а поскольку по правилам этой

школы у каждой ученицы должен быть опекун из местных, майор Сато взял эту обязанность на себя; условились, что несколько недель, до начала следующего семестра, я поживу у них в доме. Жена майора Сато была женщина тихая, кроткая, однако за скромностью её манер ощущалась недюжинная сила характера. Дочерей у неё не было, и она приняла меня как родную, с бесконечной добротой научила меня многим полезным вещам.

До школы от дома Сато было восемь километров.

В непогоду меня отвозили в рикше госпожи Сато, но драгоценный мой наставник-монах приучил меня, что, направляясь по пути знаний, стыдно радеть о телесном удобстве, и обычно я ходила в школу пешком.

Я выходила из дома сразу же после раннего завтрака, спускалась с холма и мимо древнего храма попадала на широкую улицу, проходившую мимо дворца его величества императора. Возле дворца я неизменно замедляла шаги. В прозрачной воде во рву отражались все камни покатой стены и корявые сосны — картина мирная, тихая. Во всём Токио лишь это место производило на меня впечатление чопорного величия. Мне здесь

нравилось. Далее я выходила на просторный, залитый солнцем плац-парад[46]. Ровно посередине росло одинокое дерево, я неизменно останавливалась под ним ненадолго передохнуть, ведь мне предстоял долгий подъём по узким крутым улочкам, запруженным детворой, и едва ли не у каждого сидел на спине ребёнок помладше. Эти городские дети держались не так беззаботно, как маленькие обитатели Нагаоки. Токийцы были серьёзнее, взрослее, и хотя все были чем-то заняты — одни играли, другие болтали с товарищами, третьи спешили с поручениями, — но почти не шумели, слышно было лишь, как стучат их деревянные гэта.

Моя школа располагалась на вершине холма за длинной насыпью, венчавшейся колючей изгородью. За высокими воротами скрывалась просторная территория; в окружении деревьев стояло вытянутое деревянное двухэтажное здание с черепичной крышей и стеклянными окнами, разделёнными деревянными штапиками на большие прямоугольники. В этом здании я провела четыре счастливых года и получила едва ли не самые полезные знания в моей жизни.

---

[46] Примечания: 46
Речь о плац-параде Аояма. — *Прим. науч. ред.*

Мне понравилось в школе сразу же, но кое-что меня озадачивало. И если бы не бесконечное участие и мудрые советы доброй госпожи Сато, мне пришлось бы туго, ведь я была провинциальной простушкой в новом мире и, как ни вглядывалась в происходящее, мало что понимала и упрямо судила обо всём в соответствии со своими неоправданно высокими мерками и консервативными взглядами.

Все предметы, кроме английского и закона Божия, преподавали японцы — не монахи, учителя. Они приходили исключительно на уроки, и в остальное время мы с ними не встречались. Иностранные преподаватели были сплошь женщины. В Нагаоке я видела одного иностранца, а вот иностранок впервые увидела только в Токио. Все учительницы были молодые, весёлые, очень интересные и красивые. Их непривычные платья, тугие чёрные туфли, светлая кожа, нетронутая косметикой (считавшейся у нас неотъемлемой частью убранства), и волосы разных оттенков, свободно уложенные валиками и кольцами, внушали мне мысли о некой волшебной стране. Я восхищалась учительницами, но их бесцеремонность меня удивляла. Мои однокашницы — большинство из них были из Токио, а

столичная жизнь куда менее чинная, чем в моём старомодном доме, — кланялись очень коротко и разговаривали друг с другом так, что я изумлялась, однако наблюдала за ними не без интереса. Но вольное обращение учительниц с ученицами и беспечное поведение девочек в присутствии учительниц меня возмущало. Мне строго-настрого запрещалось даже наступать на тень учителя: я должна была почтительно следовать за ним на расстоянии в три шага; ныне я каждый день видела фамильярные приветствия, слышала непринуждённые разговоры, и мне казалось, что учительницам не пристало так себя вести, а ученицам негоже выказывать такое неуважение.

Меня смущало и ещё кое-что. Столичным девочкам явно нравились дружелюбные улыбки и маленькие знаки внимания учительниц, я же чуралась всяких попыток сблизиться со мною. Моё строгое воспитание мешало мне хоть чуточку откликнуться на любезность учительниц и однокашниц, я долго дичилась и лишь потом понемногу стала участвовать в девичьих играх, освоилась и с учительницами. Мне очень помогли в этом демократичные правила школы: соблюдать их было необязательно, однако принято и желательно. Одно из них заключалось в отказе

от учтивого обращения «-сама» — его заменил менее формальный префикс «О−», уравнивавший девочек разных сословий. Другое правило, вызывавшее у меня крайнее любопытство, состояло в том, что все безмолвно условились отказаться от японских укладок. Все девочки причёсывались одинаково: волосы убирали назад и заплетали в косу. Это новшество пришлось мне по душе. Я больше не мучилась, «склеивая» волосы ароматным маслом и горячим чаем, но, поскольку у остальных девочек волосы были прямые, а не кудрявые, как у меня, избежать добродушных насмешек мне всё-таки не удалось.

Всё это я приняла с лёгкостью, но обувь доставила мне немало беспокойства. Я всю жизнь разувалась перед тем, как войти в дом, здесь же, в школе, всюду, кроме дортуара, мы ходили в сандалиях. Я не скоро сменила привычку, прошло несколько месяцев, прежде чем я наконец перестала у двери в учебный класс машинально отодвигать пальцы ног от перемычек сандалий. Девочки обычно ждали возле порога, чтобы посмеяться над моей секундной заминкой.

Эти-то перемены в привычках и весёлые насмешки девочек внушили мне чувство, что я стала одной из них и что Эцубо целиком оставила

прежнюю жизнь и охотно приспособилась к новой. Но всё равно временами, когда чей-нибудь возглас «О-Эцу-сан!» вырывал меня из задумчивости и я, опомнясь и осознав, что обратились ко мне, поспешно шагала по коридору, так что сандалии громко стучали по полу, а голове было так легко оттого, что волосы не стянуты туго, — временами я смутно, в глубине души, ощущала диковинный страх, что Эцубо исчезла навсегда.

Но страх этот скоро испарялся, ибо одна досадная вещь неизменно напоминала мне, что я по-прежнему дочь Этиго. Часть звуков я произносила не так, как принято в Токио, и девочки потешались надо мной из-за этого. Ещё, пожалуй, я изъяснялась довольно пышно и высокопарно, так что уху горожанок мои чопорные выражения вкупе с непривычным произношением, должно быть, казались преуморительными. Однако передразнивали меня так добродушно, что я не сердилась, но всё-таки огорчалась, поскольку эти уколы задевали мою глубокую преданность родной провинции. А поскольку я не вполне понимала, в чём загвоздка, то и бессильна была что-то исправить и постепенно привыкла ограничиваться в разговоре скупыми замечаниями и короткими фразами.

Госпожа Сато заметила, что я всё чаще отмалчиваюсь, тактично расспросила меня и выведала правду. А потом выписала в блокнотик звуки, вызывавшие у меня затруднения, и со всей деликатностью объяснила, как их следует произносить.

Случившийся в тот вечер в гостях у четы Сато мой брат рассмеялся.

— Эцубо, — сказал он, окинув меня критическим взором, — тебе подобает стыдиться не произношения досточтимой провинции, а своего деревенского платья. Надо будет раздобыть тебе другую одежду.

Я и без того уже с подозрением отмечала, что одноклассницы косятся на пояс, который с таким тщанием сшила для меня Тоси из отреза заморской ткани под названием «а-ру-пак-ка», и обрадовалась, когда назавтра брат принёс мне новые вещи. Они были на диво яркие, а пояс — с одной стороны он был из чёрного атласа — напомнил мне прислужниц в трактирчиках Нагаоки, но девочки дружно нашли, что вещи «в столичном вкусе», так что носила я их с гордостью и удовольствием, как никакую другую одежду, за одним исключением. Давным-давно отец по случаю увидел в Токио в магазине иностранного

платья детский костюмчик и купил его мне. Костюмчик был тёмно-синий, престранного фасона. Нам было невдомёк, что он мальчиковый. Иси меня одела, и я щеголяла в колючей, неуютной, холодной и жёсткой курточке. Но взрослые любовались, слуги ахали от восторга, и я расхаживала важно, как «птица со множеством глаз», наш символ тщеславия.

Чем больше я узнавала своих учительниц, тем больше ими восхищалась. Меня уже не возмущала их непосредственность: я выучилась замечать внутреннее достоинство, таящееся за их особенностями, до меня наконец дошло, что почётная должность наставника не исключает ни радости, ни веселья. Мои учителя-японцы были приветливы и любезны, но держались надменно и отстранённо, тогда как эти улыбчивые, резвые создания бегали с нами в гимнастическом зале, перебрасывались воланчиком, по очереди ели с нами в нашей собственной столовой, где японские блюда подавали на подносах, как у нас дома на маленьких столиках.

Часто в пятницу вечером нам позволяли устраивать японские представления. Мы приносили яркие нательные рубахи в виде кимоно — а это самая пёстрая часть японского костюма — и

развешивали в комнате на манер тех пологов, с гербами, в широкую полоску, которые воины древности растягивали в биваках; длинные изогнутые завесы покачивались. Потом мы заимствовали друг у друга наряды и изображали живые картины или известных людей. Порою кто-нибудь из учениц дерзал выбрать учительницу — непременно любимую — и изящно её спародировать. Иногда мы показывали исторические драмы — исключительно пантомимой, без текста. Роли с текстом считались неженственными и бесстыдными. Мужчины играли женские роли даже в театрах, поскольку наша сцена в ту пору недалеко ушла от эпохи, когда актёров называли попрошайками с берега[47].

Учительницы неизменно присутствовали на наших спектаклях, смеялись, аплодировали, нахваливали нашу игру так охотно и непосредственно, будто были нашими сверстницами. Во время представления учительницы обычно шили, вязали или — самое интересное в той замечательной школе — штопали чулки.

И всё же, несмотря на то что в школе мне нра-

[47] Примечания: 47

По-японски — «Кавара-кодзики». Кавара — район в Киото, где располагались балаганы; актёров презрительно называли попрошайками — «кодзики». — *Прим. науч. ред.*

вилось всё больше, одна вещь не давала мне покоя. Ни в школе, ни близ дома Сато не было буддийского храма. Разумеется, в школьной часовне по утрам читали молитвы, очень красивые и торжественные. На этих богослужениях я всегда чувствовала себя так, словно нахожусь в храме. Но мне недоставало домашнего тепла наших семейных сборищ в тихой комнате досточтимой бабушки, где в святилище горели свечи и вился дымок благовоний, недоставало ощущения, что наши пращуры рядом и оберегают нас. Вот чего мне не хватало больше всего. И тем горше мне делалось от осознания, что я не могу принять участие в памятной службе, которую проводили двадцать девятого числа каждого месяца, в дату смерти отца.

Перед моим отъездом матушка дала мне настоящую святыню — посмертное имя моего отца, которое мой многоуважаемый учитель-монах написал на особой бумаге. Прежде я всюду носила с собой эту бумагу, но с тех пор, как поселилась в пансионе, меня не оставляло смутное чувство, что хранить эту святыню там — кощунство по отношению к священному имени и неучтивость по отношению к школе, ведь, получается, я привнесла примету старины в атмосферу, целиком

принадлежащую современности. Я терзалась сомнениями.

Как-то раз в выходные я отправилась навестить госпожу Сато. Было двадцать девятое число. Мы шили, наши подушки лежали у самых дверей, выходящих в сад. Я задумалась, оставив работу, устремила невидящий взгляд на выложенную камнями дорожку, которая бежала меж двух холмиков, огибала большой каменный фонарь и скрывалась в рощице низкорослых деревьев.

— О чём задумалась, О-Эцу-сан? — спросила госпожа Сато. — Тебя что-то тревожит?

Я обернулась к ней и прочла в её взгляде искреннюю заботу. Быть может, под влиянием школы я сделалась менее скрытной. Во всяком случае, я рассказала госпоже Сато о своём затруднении.

Госпожа Сато немедля проявила участие.

— К моему стыду, святилища у нас нет, — сказала она, — и я даже не могу оправдаться тем, что мы якобы христиане. Мы не принадлежим ни к одной религии. В последнее время стало модно подражать западному образу жизни, поэтому у нас и нет домашнего святилища. Но оно есть в домике монахини в глубине сада.

— В домике монахини в глубине сада! — повторила я изумлённо.

Госпожа Сато объяснила, что некогда земля, на которой стоит их дом, принадлежала древнему храму, там служила монахиня, но из-за житейских перипетий храм обнищал. Землю продали майору Сато с условием, что крытую соломой хижину, где некогда обитал храмовый служка, сносить не будут и позволят остаться в ней очень старой и очень добродетельной монахине, желавшей дожить в любимом месте.

В тот вечер мы отправились в гости к монахине, прошли по дорожке из камней между холмиков, обошли каменный фонарь и увидели сквозь листву домик в окружении невысокой живой изгороди. За бумажными дверями теплилась свеча, слышался привычный моему уху слабый стук деревянного барабана и негромкий буддийский напев. Я понурила голову и в темноте прослезилась от тоски по дому.

Госпожа Сато открыла простую бамбуковую калитку.

— Прошу прощения, можно войти? — кротко спросила она.

Пение смолкло. Дверь отодвинули, и нас радушно приветствовала добрая старушка в сером хлопковом одеянии.

Комната была обставлена очень просто, не

считая изящного храмового святилища, лакированного, позолоченного. Святилище потемнело от времени и непрестанно курящихся благовоний. Пред золочёным Буддой лежала стопка потрёпанных книжечек с сутрами и маленький деревянный барабан, стук которого мы слышали.

Монахиня была кроткая и милая, как моя бабушка; я, не смущаясь, объяснила ей моё затруднение и показала бумагу со священным именем. Монахиня благоговейно поднесла её ко лбу, затем отнесла в святилище и положила пред Буддой. Мы провели простое богослужение — вроде тех, какие некогда устраивали дома, в комнате досточтимой бабушки, — и я оставила драгоценную бумагу храниться в её святилище. Отныне в последнюю пятницу каждого месяца я навещала благочестивую монахиню, слушала, как она негромко поёт молитвы в память о дне смерти моего отца.

Глава XIV. Учёба

Часы наших занятий делились в равных долях между предметами японскими и английскими, но поскольку в предметах японских я наторела, то налегала на английские. Мои познания в языке были весьма ограниченны. Я умела читать, немного писать, но изъяснялась невразумительно. При этом я прочла некоторое количество переводов английской литературы и, что самое ценное, почерпнула кое-какие, пусть разрозненные, познания из книг, которые отец привозил мне из столицы, когда я была ещё маленькой. Это были переводы, составленные из различных источников и опубликованные одним из прогрессивных токийских издательств.

Не знаю, кто придумал перевести и опубликовать эти десять бумажных книжечек, но, кто бы он ни был, я навек ему благодарна. Они стали первыми лучами света, открывшими моему пытливому уму чудеса западного мира, благодаря им я обрела бессчётное множество прочих друзей и спутников, которые в дальнейшем подарили мне столько познаний и счастья, что я уже не пред-

ставляю, как жила бы без них. Как ясно я помню день, когда их привезли! Отец уехал в столицу — одна из его поездок поры «окон в будущее».

Поездки в Токио неизменно становились важным событием нашей жизни, ведь отец привозил из них не только дивные истории о путешествии, но и диковинные, прекрасные подарки. Матушка сообщила, что он прибудет домой к вечеру, и я весь день просидела на крыльце, наблюдая, как медленно удлиняются тени садовых деревьев. Я поставила гэта на камень у края самой длинной тени и переставляла их с камня на камень следом за солнцем. Наверное, мне казалось, что так я сумею ускорить его движение и косая тень станет длинной прямой линией, предвестьем заката.

Наконец — наконец! — не успела тень выпрямиться, как я поспешно схватила гэта и с топотом пробежала по камням, заслышав у ворот крик рикши «Окаэри!»[48]. Я не помнила себя от радости, и сейчас мне даже немного неудобно, когда я вспоминаю, как неловко сунула гэта в аккуратную ячейку для обуви в шкафу прихожей.

В следующее мгновение мужчины, потные, смеющиеся, подошли к двери, где собрались все мы,

---

[48] Примечания: 48
С японского «Добро пожаловать!».

слуги и домочадцы, и, глубоко поклонившись, трепетали от радости и волнения, — но, разумеется, приветствовали прибывших как положено. Едва я исполнила долг, как отец подхватил меня на руки и мы пошли к досточтимой бабушке, единственной из семьи, кому дозволялось прихода хозяина дома дожидаться в своей комнате.

Тот день стал одной из вех моей жизни, поскольку книги были самыми чудесными и прекрасными из всех вещей, которые приносили в ивовых шкатулках на своих плечах слуги. Я вижу их как сейчас. Перехваченные шёлковым шнурком десять маленьких книжечек на жёсткой японской бумаге, озаглавленные «Повести западных морей». В книги вошли фрагменты из «Всемирной истории» Питера Парли, «Нэшнл ридер», «Уилсонз ридерз», масса коротких стихотворений и рассказов английских классиков.

На протяжении дней, недель — даже, пожалуй, месяцев и лет — эти редкие книги чаровали меня своей прелестью. Я до сих пор помню наизусть целые страницы оттуда. Например, там была очень интересно описана история Христофора Колумба. Её не перевели, а пересказали таким образом, чтобы она была понятна японскому читателю и не заставляла его ломать голову над

причудливыми обычаями. Все факты чудесного открытия были изложены верно, но Колумба представили рыбаком; в истории фигурировала даже лакированная миска и палочки для еды.

Эти книги всё моё детство служили мне источником вдохновения, и когда я уже занималась в английской школе, мой неуклюжий ум начал осознавать, что за таинственными словами скрываются продолжения известных мне историй, мысли вроде вычитанных мною в старых знакомых книгах, которые я так любила; это открытие вызвало у меня безграничный восторг. Я читала запоем. Склонясь над партой, я глотала страницу за страницей, спотыкалась и пропускала строки, порою мне приходилось догадываться о смысле написанного, — рядом со мной лежал открытый словарь, но сверяться с ним я не успевала, однако каким-то загадочным образом понимала, что имелось в виду. Я не знала усталости. Я читала так же заворожённо, как любуешься луной, когда сидишь на помосте на склоне холма, набежавшее облако закрывает великолепный диск, а ты молча ждёшь, трепеща от восторга, той счастливой минуты, когда оно уплывёт прочь. Точно так же и от полускрытой мысли — мучительно ускользавшей — у меня перехватывало дыхание в надежде,

что мне вот-вот откроется свет. И ещё я постоянно находила в английских книгах смутные ответы на вопросы, которые в детстве так и остались непрояснёнными. Словом, английские книги служили источником величайшей радости!

Думаю, если б я с лёгкостью заполучила переводы тех книг, которые мне не терпелось прочесть, я куда менее преуспела бы в своих занятиях. В ту пору в токийских книжных лавках появлялось множество переводов с английского, французского, немецкого и русского, как научные труды, так и классическая литература (переводили то и другое, как правило, лучшие наши учёные), но книги эти стоили дорого, а раздобыть их иным способом мне было трудно. Оставалось только читать в оригинале — пусть спотыкаясь — книги из школьной библиотеки, и я получала от этого несказанное удовольствие. После английского самым любимым моим предметом была история; книги Ветхого Завета я любила и понимала как никакие другие. Язык их метафоричностью походил на японский, героям древности были свойственны те же пороки и добродетели, что и нашим самураям, власть была патриархальная, точь-в-точь как у нас, и основанная на патриархате семейная система так явно напоминала наши

семьи, что смысл многих спорных фрагментов я понимала лучше, чем толкования учительниц-иностранок.

В английской литературе из всех открывшихся мне сокровищ больше всего, как ни странно, я дорожила «Дорой» Теннисона: её образы как живые стояли перед моими глазами. Наверное, потому, что один знаменитый японский автор написал по её мотивам роман под названием «Танима-но химэюри», «Ландыш». «Дора» повествует о том, как отец-аристократ лишил сына наследства, поскольку тот полюбил простую деревенскую девушку; трагедия, ставшая следствием разности воспитаний высшего и низшего сословий, была понятна и знакома японцам. Наш писатель мастерски, с дивной образностью, переложил западную жизнь и мышление на японские условия.

«Ландыш» появился в то самое время, когда юные японские умы как высших, так и низших сословий пытались освободиться от стоической философии, что веками составляла суть нашего воспитания; роман задел читателей за живое. Он пользовался бешеной популярностью, его читали повсеместно представители всех сословий, причём — дело неслыханное! — и мужчины, и

женщины. Поговаривают, будто её величество императрица так увлеклась чтением, что всю ночь не сомкнула глаз над книгою, а в соседних покоях безмолвно сидели и ждали её усталые дамы.

Я училась, кажется, уже третий год, когда Токио охватил интерес к любовным романам. Ими увлекалась вся наша школа. Когда удавалось достать переводы, мы передавали их из рук в руки, но чаще всего приходилось продираться сквозь английскую речь, выискивая любовные сцены в романах и стихотворениях из школьной библиотеки. Нашим героем стал Энох Арден[49]. Женская верность и самопожертвование были нам знакомы и понятны, и мы отлично понимали, почему Анни так долго отвергала ухаживания Филиппа, но любовь и бескорыстие Эноха мы оценили тем больше, что встречалось подобное редко.

Сердца японских девушек ничем не отличаются от сердец девушек из прочих стран, но нас веками, особенно в самурайских родах, учили считать долг, а вовсе не чувство, основой отношений между мужчиной и женщиной. А потому мы порою черпали из нашего чтения, которым

---

[49] Примечания: 49
Герой одноименной поэмы Альфреда Теннисона.

никто не руководил, весьма искажённые представления об этом незнакомом предмете. У меня сложилось впечатление, что любовь, как её изображают в западных книгах, вещь, конечно, интересная и приятная, порой даже прекрасная в своём самопожертвовании (как в случае с Энохом Арденом), но ей не сравниться по силе, благородству и величию духа с привязанностью родителя к ребёнку и с преданностью вассала господину.

Если бы мне не привелось высказать своё мнение, оно, пожалуй, не причинило бы мне неприятностей, но ему суждено было увидеть свет. У нас было очень интересное литературное общество, время от времени мы проводили особые встречи и приглашали на них учительниц. Самолюбиво стремясь устроить изысканное развлечение, мы зачастую сперва продумывали программу, а потом выбирали, кто из девушек что сделает. Порой выходило так, что заданная тема оказывалась девушке не по силам. И однажды такой конфуз приключился со мной, поскольку мы никогда не отказывались от порученного задания.

В тот раз меня попросили написать по-английски сочинение на три страницы, посвящённое одной из основных добродетелей. Я гадала, что

выбрать — веру, надежду, милосердие, любовь, благоразумие или терпение, но вспомнила, что наш преподаватель Закона Божьего часто цитирует фразу «Бог есть любовь», подумала, что от этого можно отталкиваться, и выбрала темой любовь. Начала с любви Отца Небесного, потом, под влиянием недавно прочитанного, перешла — боюсь, немного нескладно — на любовь в жизни известных исторических и литературных персонажей. Но я не знала, как подступиться к такой неудобной теме, и, не закончив трёх страниц, исчерпала и свои познания, и словарь. Однако, верная долгу, продолжала писать и завершила сочинение так: «Любовь как сильнодействующее лекарство. Если верно его применять, оно укрепляет силы и даже спасает жизни, но, если им злоупотребить, оно способно погубить целые народы, как мы видим на примере Клеопатры и возлюбленной императрицы императора Гэнсё Великого Китая»[50].

Когда я дочитала, одна из учительниц заметила: «Это почти святотатство».

Лишь много лет спустя я поняла, что значит это критическое замечание.

---

[50] Примечания: 50

Вероятно, речь о Ян Гуйфэй и императоре Сюань-Цзуне. — *Прим. науч. ред.*

Какое-то время интерес к английской литературе заполнял всё моё свободное время, но потом я соскучилась по историям старой доброй Японии и написала матушке с просьбой прислать мне из дома какие-нибудь книги. Она, среди прочего, выбрала для меня популярную классику под названием «Хаккэндэн»; я обожала этот роман. Это самое длинное произведение, написанное когда-либо на японском языке; наш экземпляр, выпущенный в Японии, с искусными иллюстрациями, состоял из ста восьмидесяти томов[51]. С великим трудом матушке удалось отыскать экземпляр, изданный за границей: в нём было всего два пухлых тома. Я обрадовалась этим книгам и удивилась, когда одна из учительниц, заметив их в моём чемодане, отобрала их у меня, заявив, что мне такое читать негоже.

«Хаккэндэн» с его волшебной символикой вдохновлял меня как никакая другая книга. Его написал в XVIII веке Кёкутэй Бакин, наш великий литератор и философ; проза его так музыкальна, а идеалы так благородны, что образованные японцы зачастую сравнивают «Хаккэндэн» с «Потерянным раем» Мильтона и «Божествен-

[51] Примечания: 51

На самом деле в «Хаккэндэн» 106 томов, произведение написано в начале XIX века, а не в XVIII веке.

ной комедией» Данте. Бакин искренне верил в нетрадиционное учение о переселении душ, и повествование его основывается на этом веровании.

В романе рассказывается о даймё Сатоми, который вместе с измученными голодом вассалами оборонял осаждённый замок. Сатоми понимал, что едва ли не единственный источник силы его врагов — их талантливый полководец, и в отчаянии поклялся отдать всё, чем владеет, даже свою драгоценную дочь, тому храбрецу, кто уничтожит его врага. Верный пёс Сатоми, красивый волкодав Яцуфуса, убежал и через месяц принёс хозяину голову его недруга. Лишившиеся командира вражеские воины пребывали в замешательстве, и могучий стремительный натиск солдат Сатоми обратил их в бегство. В провинции вновь воцарилось благоденствие и покой. Сатоми же так жалел о данной некогда клятве, что бесился при виде верного пса, которому был обязан удачей. Но красавица дочь Сатоми, княжна Фусэ-химэ, пожалела обманутого зверя.

— Самурай обязан держать слово, — заявила она. — И мой долг — защитить честь слова моего отца.

Дочь Сатоми ушла с Яцуфусой в горы, посели-

лась в пещере и всё время молила богов, чтобы те даровали душу отважному псу, и с каждой её молитвой благородная природа бессловесного Яцуфусы всё более приближалась к границе человеческого разума.

Однажды в горы пришёл преданный вассал Сатоми. И увидел, что в пещере с открытой книгой сидит княжна Фусэ и читает священные строки, а Яцуфуса внимает ей, как верный слуга. Вассал, полагая, что делает доброе дело, застрелил Яцуфусу. Но сама судьба хранила Яцуфусу. Жертвой вассала пала княжна Фусэ. Душа её вылетела из тела восемью сияющими звёздами в дымке, проплыла по небу и разлетелась в восемь концов света. И каждая звезда была добродетелью: верность, честность, сыновья почтительность, дружество, милосердие, праведность, учтивость и мудрость.

Судьба направила каждую из звёзд в чей-то дом, и в положенный срок в каждом из этих домов родилось по сыну. Когда они возмужали, судьба свела их вместе, и восемь добродетелей, объединившись, стали героическими вассалами и прославили имя Сатоми. Так дух почтительной дочери принёс честь имени её отца.

Я не понимала, почему эту историю о чуде, полную возвышенного символизма, считают

более предосудительной, чем английские басни и сказки о животных, ставших людьми. Но, поразмыслив хорошенько, пришла к выводу, что мысли, как и язык, на одном конце света буквальны и прямолинейны, а на другом туманны, призрачны и полны мистицизма.

В конце моей школьной жизни мне вернули любимые книги. Сейчас они у меня — потрёпанные, старенькие, листы выпадают, — и я по-прежнему их люблю.

Со временем я полюбила едва ли не всё в моей школе, даже многое из того, к чему я привыкла не сразу, но было и такое, что мне искренне нравилось с самого начала. Школу выстроили на обширном участке среди высоких деревьев. За лужайкой у главного входа тщательно ухаживали, прочие же места заросли кустарником, который никто не стриг, и сорняками. Не было ни каменных фонарей, ни пруда с резвящимися рыбками, ни изогнутого мостика, лишь большие деревья с раскидистыми ветвями, нестриженая трава и — свобода.

В нашем домашнем саду был один-единственный клочок земли, который не трогали. Деревья здесь были кривые, как клонящиеся от ветра горные сосны, извилистую каменную тропинку

покрывала опавшая хвоя, изгородь состояла из неровных бамбуковых прутьев, меж которых росли кедры, а ворота были из хвороста, связанного грубой верёвкой. И всё равно кто-нибудь то и дело постригал сосны, подрезал изгородь, а Дзия каждое утро протирал камни дорожки, подметал под соснами и аккуратно рассыпал свежую хвою, набранную в лесу. Словом, буйство природы в нашем садике постоянно укрощали, здесь же, в школе, всё пронизывала окрыляющая свежесть безграничной свободы. Это дарило мне несказанную радость и наслаждение: я и не подозревала, что сердце умеет так радоваться.

Одну часть этих нетронутых школьных земель отдали ученицам; каждой из нас выделили свой садик и семена цветов: сажай что хочешь. Этого удовольствия я прежде не знала. Я уже полюбила свободно растущие деревья и траву, по которой можно ходить даже в обуви, но собственный садик подарил мне совершенно новое ощущение, что я хоть в чём-то себе хозяйка. И вольна поступать, как считаю нужным, не боясь нарушить традиции, запятнать родовое имя, вызвать возмущение родителей, учителей, земляков, причинить кому-либо вред. Я не стала окружать свой садик низкой бамбуковой изгородью, как

сделали почти все девочки, — я пошла на кухню и выпросила у поварихи хворост, припасённый для растопки. И смастерила простую изгородь, а вместо цветов посадила… картофель.

Кто знает, какое чувство беспечной свободы внушил мне этот безрассудный поступок и к каким последствиям он привёл. Он освободил мою душу, я вслушивалась и наконец услышала, как, возникший из странной путаницы улыбок, чуждых условностям, и непосредственных поступков, искренних слов и непотаённых мыслей, растущих деревьев и нетронутой травы, в двери мои постучал дух свободы.

Глава XV. Как я стала христианкой

Дома в Нагаоке меня окружала любовь и забота, однако же ум мой всегда был полон неотвеченных вопросов. Учёба — а меня готовили в монахини — развила мой разум, но вырос он в судорожной, стеснённой тишине, ибо, каких бы либеральных взглядов ни придерживался мой отец в вопросах моего образования, под влиянием консервативной домашней атмосферы сокровенные мысли я практически не обсуждала даже с отцом.

Но время от времени я всё-таки изменяла своей сдержанности. Как-то раз, многократно поклонившись на прощанье гостям, приезжавшим на трёхсотлетие со дня смерти нашего пращура, я спросила:

— Досточтимый отец, кто был самым первым из наших предков?

— Доченька, — серьёзно ответил отец, — воспитанной девочке не пристало задавать такие бесцеремонные вопросы, но я честно признаюсь тебе, что не знаю. Наш великий Конфуций однажды ответил ученику, задавшему ровно такой же

вопрос: «Мы не ведаем жизни»[52].

Я была совсем маленькой, но отлично поняла, что впредь мне надлежит держаться скромнее, как подобает женщине, и не задавать подобных вопросов, да ещё непринуждённо, как мальчик.

Школьная жизнь в Токио исподволь меня изменила. Я, сама того не сознавая, расправила крылья и постепенно пришла к убеждению, что вопросы — часть нормального развития. И вскоре впервые в жизни попыталась облечь кое-какие сокровенные мысли в слова. Мои деликатные учительницы тактично меня поощряли; постепенно я осознала, что они на диво мудрые женщины, и всё больше им доверяла. И не только поэтому: им так легко удавалось внушить мне ощущение счастья, что благодаря им я взглянула на жизнь иначе. Моё детство было счастливым, но я не знала ни радости, ни веселья. Я любовалась полной луной, плывущей в небесной выси, со всем поэтическим восторгом японской души, но моё удовольствие, точно тень, всегда омрачала мысль: «С сегодняшней ночи луна пойдёт на

---

[52] Примечания: 52

«Цзы-лу спросил о служении духам умерших. Конфуций отвечал: „Мы не умеем служить людям, как же можно служить духам?“ Цзы-лу сказал: „Осмелюсь спросить о смерти“. Конфуций ответил: „Мы не знаем жизни, как же мы можем знать смерть?“» (Конфуций «Суждения и беседы». Цитата по переводу П. С. Попова). — *Прим. науч. ред.*

убыль». Я обожала любоваться цветами, но, возвращаясь домой, неизменно думала со вздохом: «Прелестные лепестки опадут ещё до завтрашних ветров». И так во всём. В минуты радости душа моя невольно искала нить грусти. Я отношу эту склонность на счёт своего буддийского воспитания, ведь всё учение Будды проникнуто безнадёжной печалью.

Но школьная жизнь вдохнула в меня живительное веселье. Постепенно скованность, державшая меня в тисках, ослабла, как и моя склонность к меланхолии. Иначе и быть не могло, ведь наши учительницы — их игры, труды, их смех и даже упрёки — не переставали меня удивлять. Дома мне удивляться приходилось нечасто. Люди кланялись, прогуливались, беседовали и улыбались точно так же, как кланялись, прогуливались, беседовали и улыбались вчера, и позавчера, и всё последнее время. Но наши поразительные учительницы каждый день были другими. Причём так неожиданно меняли и голос, и манеры с каждым из собеседников, что самая их переменчивость очаровывала и освежала. Они напоминали мне цветы сакуры.

Японцы любят цветы за их смысл. Меня с детства учили, что слива, отважно цветущая среди

снега ранней весны, считается цветком невесты, символом верности долгу вопреки невзгодам. Сакура прекрасна и никогда не увянет, ибо свежие, ароматные цветы её осыпаются от легчайшего ветерка и сперва плывут по воздуху ярким облаком, а потом превращаются в ковёр нежных бело-розовых лепестков — точь-в-точь как мои учительницы, такие изменчивые и всегда прекрасные.

Теперь-то я понимаю, что поначалу идеализировала американок, но никогда об этом не пожалела, поскольку осознала трагическую правду: японки подобны цветкам сливы, скромным и нежным, они безропотно сносят тяготы и несправедливость, но зачастую их жертва оказывается бесполезной, американки же себя уважают, свободны от ограничений, легко приспосабливаются к новым условиям и тем вдохновляют каждое сердце, потому что их жизнь, как сакура, цветёт естественно и свободно.

Я не сразу это осознала, а когда поняла, задалась массой безмолвных вопросов.

Я с детства знала, как все японцы, что женщина стоит неизмеримо ниже мужчины. И я никогда не ставила это под сомнение. Но чем старше я становилась, тем чаще замечала, что судьба

порою испытывает и унижает ни в чём не повинных людей, и по-детски незрело гадала, что же это за великая злая сила. И однажды душа моя взбунтовалась.

С тяжёлых времён незадолго до Реставрации матушку мою терзали приступы астмы, причём все мы искренне верили, что это расплата за неизвестный проступок, который она совершила в прошлом своём воплощении. Однажды, силясь вдохнуть, матушка прохрипела: «Это судьба, и нужно смиренно нести свой жребий», я же, услышав это, бросилась к Иси и возмущённо спросила, почему судьба заставляет мою маму страдать.

— Ничего не поделаешь, — со слезами жалости ответила Иси. — Это всё оттого, что женщина существо недостойное. Вам следует успокоиться, Эцубо-сама. Досточтимая госпожа ведь не жалуется. Она гордо терпит молча.

Я была слишком мала, чтобы это понять, но сердце моё колотилось, душа бунтовала против могущественной, загадочной несправедливости, я уселась к Иси на колени, судорожно прильнула к ней и попросила скорей рассказать мне сказку, где звенят мечи, летают стрелы, герои сражаются и побеждают.

Детям в Японии не внушают, что бунтарские

мысли, оставаясь невысказанными, суть грех против богов, и в душе моей копилось негодование. Но постепенно оно превратилось в безотчётное изумление: почему и мама, и Иси в минуту невзгод, в которых они не повинны, обязаны их сносить не только безропотно и терпеливо — разумеется, они, как женщины, не могли поступить иначе, — но даже с гордостью. Всё во мне вопило: как бы они ни подчинялись долгу, сердца их не могут не бунтовать, при этом обе без всякой нужды смирялись с унизительными обвинениями, хотя прекрасно понимали, что ни в чём не повинны! Готовность двух этих благородных женщин к подобному самоуничижению возмущала меня куда горше, чем суровый приговор судьбы.

Разумеется, тогда эта мысль ещё не сформировалась в моей голове. В ту пору и долгие годы спустя я представляла себе судьбу — ибо свято в неё верила — как смутную, изменчивую, великую силу, и мне оставалось лишь дивиться её мощи, невзирая на возмущение.

Был и другой случай, вызвавший моё замешательство. Дело было в тот день, когда в доме проветривали вещи; даже странно, что так получилось, ведь эти дни обычно бывали для меня самой счастливой и беззаботной порой года.

Хранилища опустошали, во дворе на солнце натягивали длинные верёвки, развешивали на них порванные знамёна с нашим гербом, старые шатры, которые наши предки разбивали в биваках, старинные сокровища и множество странных уборов тех времён, которые в сказках Иси назывались стародавними. Под низкими карнизами громоздились неуклюжие конские доспехи, перехваченные линялыми верёвками из кручёного шёлка, в дальних уголках сада складывали древнее оружие — копья, боевые топоры, луки, колчаны стрел. Занимали каждый клочок земли, даже на перила мостков и каменные фонари вешали доспехи и лакированные шлемы с устрашающими масками.

Мне нравилась эта суета. Я её обожала. Отец обходил вместе со мною двор, показывал мне вещи, объяснял, для чего они, и в конце концов мы, вспотевшие, ослеплённые солнцем, уходили в дом, пробирались по заставленным скарбом коридорам в комнату досточтимой бабушки — наверное, единственное место в доме, где царил порядок. Повсюду сновали слуги, чистили, складывали, переносили вещи и весело болтали: в такие дни слуги трудились не покладая рук, и всё-таки эти хлопоты вносили приятное разнооб-

разие в наш довольно-таки монотонный обиход, так что слуги всегда им искренне радовались.

В тишине и прохладе комнаты досточтимой бабушки мы с отцом внезапно оказывались укрыты от суеты. Я вижу отца как сейчас: со вздохом удовлетворения он закрывает двери и, с благодарностью отказавшись от подушки, предложенной бабушкой, усаживается на прохладный татами близ открытых дверей, выходящих в тенистый «дикий сад». Там он сидел, обмахиваясь веером, и разговаривал с досточтимой бабушкой о прежних временах.

Как-то раз, сразу после полуденной трапезы — китовый суп, баклажаны, их всегда подавали в дни, когда проветривали вещи, — отец пошёл прямиком к себе в комнату. Я поспешила за ним и увидела, что Дзия с другим слугой в жёстких кимоно-катагину с гербом возвращаются из хранилища. Они почтительно несли сундук светлого дерева в форме храмового ящика для священных книг. Спереди на сундуке был очень крупно нарисован наш герб, бока сундука перехватывала соломенная верёвка-симэнава с синтоистскими бумажными лентами-сидэ. Я не раз видела этот сундук в хранилище, он стоял один на помосте из светлого дерева. В нём хранили фамильные

ценности, некоторым из них было несколько веков. Слуги направлялись в особую комнату, подготовленную матушкой, там мужчины в церемониальных одеждах безмолвно откроют сундук и внимательно изучат лежащие в нём святыни.

Я безучастно сидела на краю крыльца, поскольку знала, что отец, одетый в торжественный камисимо, вскоре отправится в комнату, куда отнесли сундук, и больше сегодня я его не увижу. Обычно в такие дни я ходила за ним хвостом, но в эту комнату мне путь был заказан. Я не спрашивала почему. Так было всегда.

Но, сидя одна на крыльце, я задумалась об этом и чуть погодя разыскала Иси.

— Иси, — сказала я, — я хожу за отцом повсюду. Почему мне нельзя пойти с ним в комнату, где проветривают святыни?

— Эцубо-сама, — бесстрастно ответила Иси, встряхивая длинную бахрому на ящичке для старомодной курильницы для благовоний, — это потому, что вы родились дочерью своего отца, а не сыном.

В её словах мне почудился упрёк, и, повинуясь вековой привычке японки к смиренному подчинению, я пошла к досточтимой бабушке. Мысль о благородной, величавой бабушке, с

которой все домашние, в том числе и отец, обращались почтительно, утешала. Но потом меня точно холодом обдало, как от порыва ветра: ведь даже моя благочестивая бабушка не смеет прикасаться к святыням, посредством которых мы чтим синтоистских богов. Она следит только за буддийским святилищем, а белое синтоистское — целиком забота отца. А в его отсутствие эту обязанность исполняет Дзия или другой слуга, поскольку женщины недостойны иметь дело с такими святынями. Но ведь верховное божество синто — женщина, богиня солнца!

В тот вечер я осмелилась спросить у отца: неужели его досточтимая матушка недостойная, как все женщины?

— А сама как думаешь, доченька? — замявшись, спросил отец.

— Не может такого быть, — ответила я. — Вы слишком её уважаете, чтобы это была правда.

Отец улыбнулся, ласково погладил меня по голове.

— Так и думай, доченька, — мягко сказал он. — Однако не забывай строгих уроков своего детства. Они образуют кристально чистый поток, который, не иссякая, наделяет женщин достоинством — как твою бабушку.

И лишь долгие годы спустя благодаря познаниям я обрела широту взглядов и поняла скрытый смысл его слов: женщина может втайне иметь независимые суждения, главное — не допустить, чтобы они погубили её нежную женственность. В тот вечер, когда мысль об этом пришла мне в голову, я записала в дневнике: «Бесполезная жертвенность влечёт за собой… лишь вздох. Самоуважение влечёт за собой свободу и надежду».

Тропинка за боковой стеной нашей школы вела в соседние деревушки меж рисовых полей и лугов, поросших клевером. Однажды, отправившись с учительницей на прогулку, мы набрели на высохшее рисовое поле, усыпанное цветами. Мы, смеясь и весело переговариваясь, принялись их собирать; шедшие мимо два крестьянина с любопытством воззрились на нас.

— Куда катится мир, — сказал один, — молодые здоровые девушки — им бы трудиться! — тратят время впустую, разгуливают по кустам и бурьяну.

— Они подобны кузнечикам, что взбираются на гору, — ответил его спутник, — но солнце опалит их презрением. Горе тому молодому человеку, который возьмёт такую в жёны!

Крестьяне были грубы, невежественны, но они

были мужчины; мы, конечно же, посмеялись и всё-таки на обратном пути чувствовали смутную неловкость, поскольку ни одна из нас ещё не избавилась от оков прошлого.

Возле поросшей мхом каменной стены старого святилища наша учительница остановилась и указала на видневшуюся неподалёку вишню: молоденькая, цветущая, она выросла в ямке, оставленной упавшим деревом, узловатым и дряхлым, точно дракон в чешуе. Рядом с вишней висела деревянная табличка из тех, что так часто встречаются в местах, куда приходят полюбоваться пейзажами или где произошло нечто значимое. На табличке значились строки:

> Нынешние цветы черпают силы в тысячелетних корнях.

— Вы подобны этому деревцу, — с улыбкой сказала учительница. — Прекрасная древняя японская цивилизация дарует силу вам, современным девушкам. Ваш долг — храбро расти и, в свой черёд, даровать новой Японии такую силу и красоту, какая не снилась старой. Не забывайте!

Мы пошли в школу. У самой её калитки одна из девушек, довольно молчаливая, повернулась ко мне.

— Как бы то ни было, — сказала она с вызовом, — а кузнечики карабкаются на гору, к солнцу.

Приучившись уважать женщин, я всё больше и больше осознавала, что моя любовь к свободе, моя вера в то, что я имею право расти и становиться свободнее, означает больше, чем свобода действовать, говорить, думать. Свобода требовала и духовного права расти.

Не знаю, как именно я стала христианкой. Это случилось не вдруг, а стало результатом духовного развития — такого естественного, что сейчас, когда я оглядываю пройденный путь, меня мало что озадачивает. Я читала, мыслила, чувствовала, душа моя тянулась к непознанному, и постепенно, легко, почти безотчётно, я перешла от веры, состоящей из философии, смирения и мистицизма, к вере высоких идеалов, свободы, радости и надежды.

Я не говорю о чуде и великолепии того, что считаю величайшей религией в мире. Об этом известно многим. Не хватит всех слов во всех языках, чтобы выразить то, что вера дала лично мне.

Когда меня отправили учиться в миссионерскую школу, тот факт, что в ней преподают

иноверцы, не принимался во внимание. Мои родные считали, что меня научат лишь языку и обычаям Америки, так что, когда я написала матушке и спросила, не возражает ли она, если я стану христианкой, она, конечно, очень удивилась. Но матушка была женщина мудрая. Она ответила: «Дочь моя, это дело серьёзное. Я полагаю, лучше подождать до каникул. Тогда и поговорим».

Мое крещение отложили; на каникулы я приехала в Нагаоку. Тамошние жители почти ничего не знали о христианстве. Большинство считало его диковинным верованием, лишённым церемоний, последователи которого обязаны попирать святыни. Старшее поколение недолюбливало дзякё, греховное вероучение, но особой злобы на него не таило. Истории японских христианских мучеников жителям Нагаоки казались чем-то далёким, хоть и достойным жалости, но всё-таки мои земляки не дрожали от ужаса при мысли о судьбе христиан — в отличие от обитателей южной Японии: ту трагическую расправу над христианами они помнили долго.

Матушка переняла у отца терпимость к чужим взглядам и не имела предубеждений против новой религии, однако верила, что великий жиз-

ненный долг сыновей и дочерей заключается в строгом соблюдении ритуалов почитания предков и церемоний в память об усопших. Когда я приехала на каникулы, на душе у матушки было тяжело, но, едва она узнала, что моя новая вера не требует отречься от предков, как тут же прониклась облегчением и благодарностью и охотно разрешила мне креститься.

Но досточтимая бабушка! Моя гордая, верная бабушка! Она не сумела меня понять, считала еретичкой, и это омрачило остаток её дней. Причинённое ей горе — мой тягчайший крест.

С друзьями и родственниками мне тоже пришлось нелегко. Они смотрели на меня как на диво, матушке приходилось постоянно что-то им объяснять и извиняться. Одна престарелая тётушка затворила двери своего домашнего святилища и заклеила белой бумагой, чтобы пращуры не узнали о моём «чудачестве».

Другая тётушка пригласила меня на ужин, но рыбы, как принято, не подала: ей казалось, что раз уж я так загадочно удалилась от обыденной жизни, то и потчевать меня следует наособицу. Тётушка ломала голову, чем меня угостить, и пришла к заключению, что меня следует принять как монахиню: так будет и уважительнее,

и надёжнее.

Меня ранило подобное отношение тех, кто знал меня с детства. Я отважно снесла бы травлю, но то, что меня посчитали чудачкой, разбивало мне сердце. Как я скучала по отцу! Он понял бы меня, теперь же я оказалась одна среди благожелательного невежества. Меня все любили, но взирали на меня с беспомощной жалостью.

Поначалу я огорчалась, но проведённые дома три месяца всё изменили — и для моих друзей, и для меня. В школу я возвращалась в окружении неизменной любви и почтения друзей и домашних, каковые, слава богу, не переменились ко мне и поныне.

Я считаю себя истинной христианкой. Вера подала мне несказанное утешение, удовлетворила мои духовные запросы — и не разлучила с друзьями-буддистами. Они с уважением относились к моим необычным взглядам, поскольку чувствовали, что, храня верность христианскому Богу, я питаю исключительное почтение к своим предкам и уважаю веру, бывшую их величайшей святыней.

Глава XVI. В плавание по неведомым морям

Я провела в школе ещё один счастливый год. А потом вернулась в Нагаоку; друзья считали меня образованной женщиной, но сама-то я понимала, как мало знаю. Положение незавидное, и я сознавала, что перед отъездом в свой новый дом, Америку, — а до него оставались считаные месяцы — я должна исправить свою репутацию, дабы оправдать ожидания старых друзей и выглядеть хорошо в их глазах. Так бывало в каждые каникулы, поскольку жители Нагаоки, простые, искренние и любящие, отличались упрямством, и я бессильна была начать новый год с того, чем окончила прежний. Друзья любили меня и, в общем, смирились с тем, что я изменила веру, но всё-таки втайне считали меня чудачкой за то, что мне нравится быть не такой, как прочие женщины. И вновь мне пришлось приспосабливаться к формальным приветствиям и вновь терпеливо ждать, пока напускная настороженность растает и снова проявятся верные души моих друзей.

Наконец я привыкла к прежней жизни — прав-

да, теперь к ней прибавились радостные хлопоты: я собиралась в Америку.

В Японии свадьба — дело семейное, и не члены семьи обычно подарки не дарят, но мои обстоятельства были настолько иными, что многие жители Нагаоки посылали мне большие красно-белые лепёшки моти, в основном в форме аистов или влюблённых птичек[53], — в знак поздравления и пожелания счастливого долголетия. Дальние родственники, старые вассалы, слуги и служанки семьи, даже те, кто вступил в брак и поселился далеко, дарили мне шелка, мотки красно-белой мавата, лёгкой и мягкой шёлковой ткани, необходимой в каждом японском доме, — и на подкладки к плащам и платьям, и для различных деликатных хозяйственных дел.

Большинство этих безыскусных полезных подарков в Америке были совершенно без надобности, однако они выражали такое участие ко мне и преданность семье моего отца, что я растрогалась до глубины души. Меня часто приглашали на ужины, главным образом родственники, неизменно усаживали на почётное место рядом с

[53] Примечания: 53

Речь о «тори-но ко моти», буквально — «моти в виде птичьего яйца», особый вид лепёшек овальной формы, которые дарят по разным праздничным поводам. — *Прим. науч. ред.*

матушкой, подавали рис с красной фасолью и красного луциана, целиком, с головой и хвостом, и суп из семи, девяти или одиннадцати овощей.

Всё это дарило мне тихую радость, но больше всего я обрадовалась, когда брат — он теперь жил в Токио — приехал домой, чтобы провести со мной эти последние недели. Брат привёз письмо от Мацуо: в письме говорилось, что некая добрая американка ради одной японской девушки из моей школы, в ком эта почтенная госпожа принимала живое участие, предложила Мацуо, когда я приеду, привезти меня к ней в дом и там же сыграть свадьбу. Матушка читала это письмо понурив голову, а когда подняла глаза, я с изумлением заметила, что слёзы туманят ей взор. Бедная матушка! Без малого шесть лет она таила в душе смутный страх, охвативший её, когда мы впервые узнали о решении Мацуо остаться в Америке: в Японии считалось неслыханным делом, чтобы дома у жениха не было ни матери, ни старшей сестры, дабы направить и наставить его молодую жену в новых её обязанностях. И это письмо подействовало на матушку, точно радушное слово чужой, но чуткой души, а тот факт, что написала его женщина, вселил в матушку умиротворение, тепло и покой. Она прижала

письмо ко лбу, поклонилась (так было принято выражать благодарность), но ничего не сказала, и мы даже не догадались, что скрытое под напускной невозмутимостью облегчение усмиряет её давние тревоги. Тем вечером, проходя мимо её отворённой двери, я почуяла запах благовоний. Святилище было открыто. В нём лежало письмо Мацуо, перед ним курился ароматный дымок, унося ввысь глубочайшую благодарность материнского сердца.

Брат с нескрываемым неодобрением наблюдал за приготовлениями к моему отъезду.

— Все эти вещи нужны, если невеста будет жить в Японии, — заявил он, — а Эцубо от них нет толку. Что она будет делать с длинной завесой с нашим гербом и с набором праздничных кукол[54]? К тому же Мацуо торговец, ему придётся заплатить солидную пошлину, а в Америке они ни к чему.

Досточтимая бабушка с матушкой поначалу слушали молча, но однажды матушка возразила — кротко, но твёрдо:

— Может, от них нет толку, — сказала она, — я не знаю, как сложится жизнь Эцуко. Но я знаю,

---

[54] Примечания: 54
Речь о хинамацури. — *Прим. науч. ред.*

что она японская невеста и едет в дом будущего мужа. И мой долг — позаботиться о том, чтобы снарядить её как положено, в соответствии с традициями нашей семьи. Так что решено.

Брат заворчал, но в японской семье именно женщины ведают всеми вопросами «великого внутреннего мира», то есть домашнего обихода, так что приготовления шли по всем правилам. Впрочем, матушка согласилась, что кое в чём брат разбирается лучше, и отрезы парчи и шёлка в форме аистов, сосен и многих чудесных символов счастливой жизни раздали сёстрам и прочим родственницам, а мой набор праздничных кукол, какой каждая невеста привозит в дом жениха, решили за море не брать.

Вопрос о моём личном приданом был настолько важен, что вновь созвали семейный совет. Высказывания брата решительно всех пугали. Большинство родственников были слишком искренними и скромными, чтобы предлагать наобум, а для предложений практических им не хватало познаний. Дело зашло в тупик и пребывало в подвешенном состоянии, когда наш токийский дядюшка, чьё мнение родственники уважали, поддержал брата в том, что мне нужна американская одежда.

— Среди европейцев, — пояснил дядюшка, — обнажённое тело считается крайней неучтивостью. Даже мужчины — а им, бесспорно, дозволено больше, чем женщинам, — вынуждены носить высокие воротники и жёсткие манжеты. Японский костюм открывает шею и ноги, неуместно носить его среди европейцев.

Об иностранных обычаях большинство моих родственников не имело понятия, и слова дядюшки произвели на них глубочайшее впечатление. Матушка смутилась, поскольку дело приняло неожиданный оборот, досточтимая бабушка терзалась обидой и досадой. Бабушка верила, что Япония — край богов и критиковать обычаи её народа непозволительно, а потому с величайшим спокойствием и достоинством возразила:

— Судя по изображениям европейцев, — сказала она, — трубообразные рукава их платья лишены изящества. В подобных нарядах расхаживают наши работники. Мне больно думать, что настало время, когда потомки мои готовы опуститься до уровня простых работников.

Мнение досточтимой бабушки, как самой уважаемой, имело вес в семейном совете, и сошлись на том, что мне подготовят только японское платье, а европейские наряды я выберу сама, когда

приеду в Америку. Брат условился с мистером Холмсом, английским чаеторговцем, который возвращался с семьёй в Европу через Америку, что я поеду с ними; мистер Холмс был клиентом нашего дядюшки.

Наконец настал день, когда приготовления завершились, я попрощалась со всеми и мы с братом вновь отправились в Токио. А поскольку к тому времени «сухопутный пароход» уже перевалил через горы и добрался до наших краёв, дорога заняла у нас не восемь дней, как когда-то, а восемнадцать часов, которые мы тряслись в неудобном грохочущем поезде. Мы почти не разговаривали, лишь иногда на крупных станциях выходили размяться и передохнуть. В Такасаки, едва мы вернулись в вагон после бодрой прогулки по платформе, брат тревожно выглянул в окно.

— Что случилось? — спросила я.

— Да вот проверяю, не оставила ли ты опять свои гэта на платформе, — ответил брат с насмешливым блеском в глазах.

Мы расхохотались и оставшиеся три часа провели так славно, что приятно вспомнить.

В Токио снова были ужины, рыба и красный рис, снова бесполезные подарки, сделанные с любовью, снова прощания — с тёплым сердечным

трепетом и сдержанными церемонными поклонами, и вот уже мы с братом стоим на палубе большого парохода, а внизу, на воде, дожидается шлюпка, чтобы отвезти последних провожающих на берег.

Послышался третий, длинный и хриплый предупредительный гудок, и я со странным комом в горле отвесила брату глубокий, долгий поклон. Брат стоял совсем рядом.

— Маленькая Эцубо, — сказал он с непривычной нежностью в голосе, — я был тебе скверным братом, таким невозможно гордиться, но я не знаю ни одного человека человека, лишённого эгоизма, — кроме тебя.

Я увидела тень его поклона, но, когда я подняла голову, брат в толпе провожающих шагал к сходням и, устремив смеющееся лицо вверх, что-то кричал на прощанье мистеру Холмсу.

Первые дни путешествия прошли приятно, но миссис Холмс не отличалась крепким здоровьем, её мучили приступы дурноты, и служанка хлопотала над нею, как над малым ребёнком, поэтому чаще всего я сидела на палубе в одиночку, либо смотрела вдаль, либо читала один из японских журналов, которые мне дали в самом начале плавания. Мистер Холмс был добр и внимателен,

но я не привыкла к мужскому обществу, больше отмалчивалась, а он, зная японцев, должно быть, догадался об этом, поскольку в дальнейшем, усадив меня в шезлонг, неизменно уходил, и его шезлонг, стоявший рядом с моим, пустовал; время от времени мистер Холмс присылал мне то блюдо с фруктами, то чашку чая.

Из-за моего наряда и журнала пассажиры заключили, что я не понимаю английский, и сидевшие неподалёку частенько делали замечания обо мне и о японцах в целом, причём так, что я слышала. Замечания не то чтобы злые, но слушать слова, предназначавшиеся не для моих ушей, казалось мне неучтивым, так что однажды утром я взяла на палубу книгу на английском и зачиталась, как вдруг рядом со мной остановилась англичанка. «Я вижу, вы понимаете английский», — проговорила она любезно, и у нас завязалась беседа. Должно быть, она рассказала новость другим пассажирам, поскольку в дальнейшем я не слышала замечаний о «молчаливой японочке» и кое-кто из дам подходил со мной побеседовать. За столом я сидела рядом с миссис Холмс. Она приходила редко, но мне никогда не бывало одиноко: остальные пассажирки явно считали необходимым в отсутствие американ-

ской дамы исполнять её обязанности и были ко мне неизменно внимательны. Вдобавок среди пассажиров царила атмосфера, располагавшая к свободе в поступках, к оживлённым беседам, и атмосфера эта бодрила, как солёный морской ветерок. Все желали друг другу доброго утра — и приятелям, и незнакомцам, не делая между ними различий. Однажды я услышала, как две нарядные дамы весело приветствуют друг друга: «Чудесное утро, не правда ли? Давайте вместе совершать моцион», — и зашагали в ногу, как два сослуживца. Ни поклонов, ни церемоний. Всё свободно и радушно. Подобная непринуждённость казалась мне удивительной, однако прелюбопытной и положительно очаровательной.

Разумеется, я с величайшим интересом рассматривала наряды иностранных дам. Замечания дядюшки о том, что японский костюм излишне открывает шею и ноги, очень меня озадачили и смутили, а поскольку на корабле я была единственной японкой среди пятидесяти или шестидесяти американских дам, посрамить честь своего народа мне было никак нельзя. Японское платье скроено таким образом, что его необходимо правильно надевать, тогда оно будет сидеть как положено, я же, проникшись девичьей скром-

ностью и истовым патриотизмом, подтягивала вышитые складки материи на шее к самому подбородку и старалась больше сидеть, чтобы никто не заметил, что мой подол открывает ноги.

В начале плавания погода стояла скверная, почти никто из дам на палубу не выходил, но вскоре начались променады, и я заподозрила, что дядюшкино мнение, пожалуй, не совсем корректно, а после вечера с танцами окончательно утратила веру в его суждения. Джентльмены действительно были в высоких воротничках и жёстких манжетах, а вот дамы щеголяли в платьях с низким вырезом и юбках не то чтобы в пол; видела я и многое другое, что меня озадачило и шокировало. Тонкие батистовые блузы с изысканным кружевом казались мне откровенно бесстыдными и вызывали недоумение едва ли не большее, чем обнажённая шея. Мне не раз доводилось видеть, как у служанки в разгар работы на жаркой кухне кимоно сползает, обнажая плечо, я видела, как женщина кормит грудью ребёнка на улице, я видела обнажённую женщину в купальне отеля, но до того вечера на пароходе я никогда не видала, чтобы женщина публично выставляла напоказ обнажённую кожу просто так, без причины. Я изо всех сил притворялась,

будто меня это ни чуточки не смущает, но в конце концов, залившись краской стыда, ускользнула прочь и прокралась к себе в каюту, дивясь незнакомой культуре, частью которой мне вот-вот предстояло стать.

Я пишу это без всякого упрёка. За долгие годы жизни в Америке я так изменилась, что те давние первые впечатления меня ныне лишь удивляют и забавляют. Непривычному глазу обычаи любой страны покажутся странными, и одна из самых интересных загадок моей жизни — постепенная, однако же неизбежная эволюция моих взглядов. Теперь я могу отправиться на званый ужин или на танцы и с удовольствием наблюдать за дамами в вечерних платьях. Я любуюсь красотой и изяществом происходящего, словно прелестной картиной, и понимаю, что эти женщины, которые со счастливым видом прогуливаются с обходительными джентльменами или покачиваются в такт весёлой музыке, так же невинны и добросердечны, как тихие кроткие женщины моей заморской родины.

Сан-Франциско вызвал у меня изумление и даже оторопь, но в целом впечатления сложились приятные в своей новизне. Поразительная каморка в отеле «Пэлас», которая начала подниматься,

едва мы в неё вошли, и наконец высадила нас в просторных апартаментах, откуда открывался вид, точно с вершины горы; гладкая белая ванна, которую, не растапливая, можно было сразу наполнить горячей водой; всюду замки на дверях (в Японии двери не запирают), — всё это меня поразило, а вкупе с удивительным ощущением *огромности* абсолютно всего даже ошеломило.

Это ощущение гигантских размеров — широкие улицы, исполинские здания, большие деревья — не покидало меня и в отеле. Высокие потолки, массивная мебель, крупные стулья, просторные диваны — спинка далеко от края. Всё словно создано для великанов, и это, кстати, близко к правде, потому что американцы именно таковы — выдающиеся люди, они ничего в себе не ущемляют, не подавляют, и ошибки, и прекрасные поступки они совершают с размахом, у них широкая душа, щедрый кошелёк, открытый ум, сильное сердце и вольный дух. И первое моё впечатление о них не изменилось.

Мы пробыли в Сан-Франциско считаные дни, но из-за постоянной спешки, шума и непривычной обстановки я словно оцепенела и уже не знала, чего ожидать. А потом кое-что случилось. От этой простой вещи так повеяло домом, что

память о ней до сих пор стоит наособицу среди прочих воспоминаний о кратком пребывании в этом чудесном городе. Меня заглянул проведать добрый седой священник, некоторое время проживший в Японии. Поздоровавшись со мной, он достал белую коробочку и вложил мне в руку.

— Я подумал, после долгого путешествия вам будет приятно получить весточку из дома, — сказал он. — Откройте и посмотрите, что там.

Я сняла крышку и, к своему удивлению, обнаружила в коробочке настоящую японскую еду, свежую и вкусную. Кажется, брат говорил, что в Америке можно достать японскую пищу, но тогда его слова не произвели на меня впечатления, и сейчас я так изумилась, словно уже и не чаяла её увидеть.

Я благодарно подняла взгляд, заметила весёлый блеск в глазах священника, его добрую улыбку; окружающая обстановка уже не казалась мне такой чужой, и меня впервые охватила тоска по дому, ибо за ласковой улыбкой гостя я увидела душу моего отца. Несколько лет назад после его смерти мы с Иси ходили в Храм пятисот Будд, где стояли ряды статуй, вырезанных из камня и дерева. На их лицах читались кротость, покой и смирение, я со всей страстью осиротевшего

сердца вглядывалась в каждое из них, надеясь увидеть лицо отца, ведь он теперь тоже Будда. Я не знала тогда, что тоскующая душа мигом узнает своё отражение, и когда наконец я увидела лицо — ласковое, благородное, с доброй улыбкой, — то, к своему удовольствию, почувствовала в нём душу своего отца. Вот и в лице старика, которому доброе сердце подсказало принести мне подарок, напоминающий о доме, я тоже узрела отца. Я люблю вспоминать ту улыбку, приветствовавшую меня в незнакомой новой стране, которая с тех пор заняла в моём сердце место подле моей родины.

Во время долгой поездки через весь континент я постоянно вспоминала крутящиеся фонари[55], которые так любила в детстве. Стремительно сменяющиеся за окном поезда пейзажи смахивали на весёлые сценки на боках фонаря, мелькавшие так стремительно, что расплывались перед глазами, и в этой нечёткости заключался секрет их прелести.

Мистер и миссис Холмс доехали со мной до большого города близ будущего моего дома и передали на попечение приятельницы миссис

[55] Примечания: 55

Речь о мавари-доро, изображенных на многих японских гравюрах конца XVIII — начала XIX века.

Холмс, школьной учительницы. После чего, попрощавшись, ушли из моей жизни, быть может и навсегда. Но оставили по себе воспоминания о внимательности и доброте: они пребудут со мною вовек.

Наконец поезд влетел на пыльный вокзал, где мне предстояло сойти; я с любопытством выглянула в окно вагона. Я ничего не боялась. Обо мне неизменно заботились, и предстоящая встреча с тем, кого я прежде не видела, меня ничуть не пугала. На запруженном народом перроне я заметила бодрого молодого японца, он внимательно вглядывался в выходящих из поезда. Это был Мацуо. Он был в сером костюме и соломенной шляпе; всё в нём показалось мне современным, передовым, иностранным — кроме лица. Разумеется, он сразу понял, кто я, но, к моему удивлению, первыми его словами были: «Почему вы в японском платье?» В памяти моей тут же всплыли серьёзные лица родственников на семейном совете и слова бабушки о трубообразных рукавах. И вот я в краю трубообразных рукавов гляжу на будущего мужа в сюртуке с трубообразными рукавами. Сейчас-то мне смешно, тогда же я была всего-навсего одинокая девушка, которая облачилась в одежду с широкими рукавами и получила за это выговор.

Мой наряд расстроил Мацуо главным образом из-за нашего досточтимого друга, миссис Уилсон, той самой доброй дамы, о которой Мацуо написал в письме, ныне хранившемся в святилище моей матушки. Миссис Уилсон с заботливой добротой отправила Мацуо в своём экипаже встречать меня; Мацуо очень хотел, чтобы у миссис Уилсон сложилось обо мне благоприятное мнение, и оттого огорчился, что я выгляжу недостаточно современно и прогрессивно.

Я молча уселась подле Мацуо в великолепный экипаж с резвыми чёрными лошадьми и ливрейным кучером, и мы, не обменявшись ни словом, покатили по людным улицам, по долгой дороге на пологий холм, где располагался прелестный загородный дом. Я не задумывалась о том, что Мацуо, пожалуй, волнуется не меньше моего; я никогда ещё не сидела так близко к мужчине (отец не в счёт) и едва не испустила дух.

Наконец экипаж свернул на дорожку вокруг просторной лужайки и остановился перед высоким серым особняком с широким портиком. На крыльце нас ждала величавая дама и высокий седой господин. Дама встретила меня с распростёртыми объятиями и сердечными словами привета. Я растерялась от радости, а когда

увидела доброе благородное лицо седовласого господина, стоявшего рядом с дамой, душу мою охватило умиротворение, ибо за ласковой улыбкой этого незнакомца я вновь увидела душу моего отца.

Эти добрые люди никогда не узнают — по крайней мере, пока не войдут в сияющие врата, где райское знание просвещает наши мысленные очи, — как много значила их доброта для нас с Мацуо и до свадьбы, и после неё.

Десять покойных дней меня привечали в этом прекрасном доме; потом настало время второго из «трёх неизбежных событий» (ибо в древней Японии брак стоял в одном ряду с рождением и смертью). Свадьба наша была чудесным июньским днём. Солнце сияло, ласковый ветерок шелестел листвой величественных старых деревьев на лужайке, парадную залу, где собрали сокровища со всего света, наполнял аромат цветов, перед дивным инкрустированным столиком стояли два скрещённых флага, японский и американский. Здесь-то Мацуо и Эцу слушали соединившие их христианские слова. Рядом с Мацуо был его деловой партнёр, человек хороший и добрый, рядом со мною — та, кто с тех пор стала мне самым верным и лучшим другом.

Так мы поженились. Все говорили, что свадьба получилась прелестная. Я всё видела точно в дымке — незнакомые вещи и люди, все полны неизъяснимой доброты — и смутно осознавала, что исполнила священный обет, которым боги связали меня задолго до моего рождения.

Наша подруга, миссис Уилсон, всегда была ко мне добра, и я не раз с удовольствием и благодарностью гостила в её доме, но постоянное наше жилище находилось в соседнем пригороде — большой старомодный деревянный дом на вершине холма посреди высоких деревьев и лужаек, прорезанных извилистыми гравийными дорожками. Принадлежал этот дом престарелой вдове, родственнице миссис Уилсон; строгие нравственные принципы Новой Англии сочетались в хозяйке дома с благородством виргинской аристократии. Поначалу она пригласила нас погостить, поскольку любила Японию. Но нам оказалось так хорошо вместе, что мы решили не расставаться, и долгие годы дом наш был здесь, у «матушки», как мы привыкли её называть. Наша американская мать, одна из самых кротких и великодушных женщин, когда-либо сотворённых Богом, заняла место в самой глубине моего сердца, рядом с моей родной матерью.

Благодаря любви, участию и мудрости этого милого дома я увидела в Америке лучшее, научилась с пониманием и благодарностью открывать для себя то, о чём не привелось узнать бедному моему брату за его стеснённую жизнь в этой же самой стране.

Глава XVII. Первые впечатления

В первый свой год в Америке я всему удивлялась: мысли в моей голове сменяли друг друга так быстро, что я за ними не поспевала. И тем не менее год был счастливый. Японские жёны не тоскуют по дому. В Японии каждая девушка знает с младых ногтей, что судьба назначила ей другой дом и ей суждено жить именно там. Каждая девочка смиряется с этим так же безропотно, как с необходимостью посещать школу. И не ожидает в браке безоблачного счастья, как не ожидает, что в школе будет только играть, а учиться не будет.

Неделя сменяла неделю, и время от времени мне приходилось напоминать себе, что даже в Америке «глаза самурая не ведают влаги», но в целом дни мои полнились новыми приятными впечатлениями. Вскоре мне в доме понравилось решительно всё, хотя поначалу из-за портьер на окнах, тяжёлой и тёмной мебели, больших картин и ковров на полу я чувствовала себя как в ловушке.

Я очень любила наши широкие веранды и просторную лужайку, раскинувшуюся на склоне

холма меж извилистыми дорожками. Окаймлявшая лужайку невысокая каменная стена с зубцами походила на вытянутую башенку замка, а массивные каменные столбы железных ворот — с крыльца их было толком не разглядеть из-за раскидистых вечнозелёных деревьев, — казалось, защищают наше поместье. Ещё у нас росла высокая кривая сосна, а рядом с ней — дерево итё, гинкго, и под луной оба дерева казались идеальной иллюстрацией к старинному японскому стихотворению:

Из страха, что её сокроют свет
Гряды тяжёлых туч,
Бежит луна младая[56].

О, я полюбила нашу усадьбу с первого взгляда!

Едва ли не целые дни я проводила на одной из трёх наших просторных веранд, ибо матушке не меньше моего нравилось там бывать, и нередко сразу же после завтрака мы выходили на веранду, она с шитьём, я с газетой. Чтобы усовершенствовать свой английский, я каждый день читала газету, причём с большим интересом. Начинала

[56] Примечания: 56

Из песни «Четыре сезона» поэта Судзуки Хироясу (1843–1897). Перевод с английского Александра Зайцева.

с новостей из зала суда, со списка разводов. Меня удивляло, что женщины чаще мужчин ищут свободы. Как-то раз я обмолвилась матушке, что мне жалко этих мужей.

— Почему? — удивилась она. — В разводе, мне кажется, столько же виноват муж, сколько и жена. Разве в Японии не так?

— Но ведь жена сама его выбирала, и ей, должно быть, гордость мешает признать, что она совершила ошибку.

— А муж? — спросила матушка. — «Он видит, и желает, и манит, она краснеет и с улыбкою приходит…» или не приходит, если не хочет. Такова её роль.

— Правда? Я думала, в Америке всё решает женщина, а не мужчина, — призналась я озадаченно, поскольку, как многие мои соотечественники, именно так толковала постоянные упоминания в книгах и газетах об американском обычае «женщины сами выбирают себе мужей». В этом случае, как во многих других, японцы преувеличенно истолковали обычай в том смысле, что в Америке женщины верховодят, а мужчины им подчиняются. И лишь из беседы с матушкой я впервые узнала, что в Америке принято, чтобы предложение делал мужчина.

— Совсем как в сказании о происхождении нашего народа, — заметила я.

— Это явно поинтереснее судебных новостей. — Матушка рассмеялась. — Будь добра, расскажи мне об этом.

— История довольно долгая, — сказала я, — но самая важная её часть повествует о том, как бог и богиня, Идзанаги и Идзанами, наши Адам и Ева, спустились с небес на парящем мосту и создали острова Японии. А потом решили остаться и поселиться здесь. И чтобы сочетаться браком, обошли вокруг установленного ими столба-кодзики — невеста справа, жених слева. А когда они встретились, богиня воскликнула: «О, прекрасный бог!» Но бог рассердился и ответил невесте, что она всё испортила, ведь именно он должен был говорить первым. Боги решили начать всё сначала. Богиня вновь отправилась с правой стороны вокруг небесного столба, а бог с левой, но на этот раз при встрече богиня не проронила ни слова, пока бог не сказал: «О, прекрасная богиня!» Лишь тогда Идзанами ответила: «О, прекрасный бог!» На этот раз брачную церемонию провели как подобает, муж и жена выстроили себе дом, и от них пошёл весь японский народ.

— Получается, изначально браки в Америке и в

Японии не так уж и отличались друг от друга, — заметила матушка.

В Америке меня, помимо прочего, удивляло, что мне трудно, а зачастую и невозможно исполнять те обязанности жены, которым меня учили. Мацуо приехал в эту страну подростком, а потому и не знал многих японских обычаев, как я не знала американских, и поскольку он не сознавал моих сложностей, возникало немало недоразумений — как забавных, так и печальных.

Так, однажды Мацуо несколько вечеров кряду задерживался на работе. Мне нездоровилось, и матушка убеждала меня, что незачем сидеть и ждать его возвращения. Меня это очень смущало, поскольку в Японии жену, которая спит, пока её муж работает, сочтут недостойной лентяйкой. Вечер за вечером я лежала с открытыми глазами, гадая, кого же мне слушать — мою далёкую родную мать, которая знала японские обычаи, или досточтимую новую матушку, объяснявшую мне, как принято поступать в Америке.

Другое недоразумение возникло, когда матушка уехала на неделю на похороны родственника. Наша горничная Клара слышала, что Японию называют страной цветов вишни и, желая мне угодить, как-то раз испекла к ужину вишнёвый

пирог. В Японии вишни сажают исключительно ради цветов, как розы в Америке, и я никогда не видела ягод вишни, но пирог, который поставили передо мною, чтобы я разрезала его и подала, источал восхитительный аромат.

— Что это? — спросил Мацуо. — А, вишнёвый пирог! Кислятина. Не люблю.

Ни одна японская жена никогда не прикоснётся к блюду, которое не нравится её мужу, — не позволит себе такой дерзости, — так что я отослала чудесный пирог на кухню. Но душой я последовала за ним, и ни одному пирогу, какие я видела с тех пор, не под силу сравниться с тем восхитительным воспоминанием.

Клара всё время старалась как-то меня порадовать, и однажды я спросила Мацуо, что можно ей подарить. Он ответил, что в Америке всегда рады деньгам, я выбрала новую купюру, завернула её в белую бумагу, как принято в Японии, и написала: «Это за пирог».

Как смеялся Мацуо!

— В Америке деньги можно давать открыто, — пояснил он.

— Но это же только для нищих, — встревоженно возразила я.

— Чушь! — ответил Мацуо. — Американцы

считают деньги эквивалентом услуг. Духовной ценности деньги не имеют.

Я немало размышляла над его словами, ведь японцы обожают выражения благодарности, пусть даже неискренние.

Мне нравились наши слуги, но они не переставали меня удивлять. Матушка была сама доброта и с горничной, и со слугой, который работал в усадьбе, но не интересовалась ими от всего сердца, а они не питали бескорыстного интереса к нам. У нас дома в Японии слуг считали младшими членами семьи, они делили с нами скорби и радости, а мы в ответ искренне интересовались их делами. И это вовсе не означало неуместного панибратства. Всегда существовал незримый порог, и ни один слуга его ни разу не переступил, поскольку слуга в Японии гордится своим ответственным положением. Клара исполняла обязанности как положено, но радости искала и находила вне нашего дома, и в те дни, когда после обеда она была «выходная», она по утрам трудилась с таким изумительным усердием, что было ясно: ей не терпится поскорее освободиться. Я невольно сравнивала её с кроткой вежливой Тоси и её учтивыми прощальными поклонами.

С другой стороны, Клара делала для нас та-

кое, чего в Японии я не стала бы ждать ни от одной служанки — кроме разве что моей няньки. Однажды я услышала, как Мацуо крикнул ей беззаботно: «Клара, будь добра, вынеси эти ботинки на кухонное крыльцо, чтобы Уильям почистил», и поёжилась от чувства, близкого к ужасу. В Японии подобную просьбу к слуге — за исключением того, в чьи обязанности входит чистить сандалии, — сочтут оскорблением, но Клара взяла ботинки и, весело напевая, унесла на крыльцо. Жизнь в Америке меня озадачивала.

В Японии всех девушек учат хозяйствовать, и мне, разумеется, было интересно наблюдать, как ведут хозяйство в моём американском доме. Матушка поощряла моё любопытство, говорила, что только пытливый ум способен учиться, а Клара всегда терпеливо объясняла, что к чему, «милой маленькой миссис Сугармотер». Больше всего меня интересовала кухня, но утварь была очень тяжёлая, висела чересчур высоко, до полок мне было не дотянуться, и когда я пыталась что-нибудь сделать, у меня ничего не получалось. Впервые я посочувствовала иностранцам в Токио, которые, по слухам, частенько жаловались, какое всё крохотное и неудобное. Одна из моих однокашниц рассказывала нам забавные исто-

рии о семье иностранцев, которым её отец сдавал дом. Главе семейства приходилось наклонять голову всякий раз, как он переступал порог, а жену его ужасало, что служанка режет овощи на низеньком столике, за малым не на полу, и моет посуду без мыла. Все девочки в школе сочли эту даму чудачкой, ведь мы полагали, что мыло нужно иностранцам затем же, зачем нам мешочки с рисовыми отрубями: исключительно чтобы помыться. Но теперь я увидела, что Клара на кухне не жалеет ни мыла, ни кипятка, и осознала, что это необходимо, поскольку в американских блюдах много и сала, и растительного масла. Мы-то в Японии едим в основном овощи. А для рыбы у нас отдельная посуда, и её мы моем золой.

Как-то в пятницу — в этот день обычно делали уборку — я вошла в свою комнату и с удивлением обнаружила, что Клара натирает мой комод масляной тряпочкой.

— Что вы делаете? — спросила я Клару.

— Да вот чуть-чуть убираюсь, миссис Сугармотер, — ответила она.

Намазать вещь чем-то липким, чтобы она стала чистой, мне показалось немыслимым. Однако позже я оглядела комод и обнаружила, что он сухой, блестящий и действительно чистый, — и

удивилась ещё больше. В японских домах дерево — ни внутри, ни снаружи — не вощат, не красят и не маслят, мебель для сохранности кроют разве что лаком, а моют горячей водой. Таки и Кин каждый день протирали всё дерево в доме тряпкой, смоченной в горячей воде; служанка утром и вечером протирала каждое наше крыльцо, наклонившись, возила горячей тряпочкой туда-сюда, из конца в конец крыльца вдоль половиц. Постепенно крылечки стали такими тёмными и блестящими, что в них отчётливо отражался каждый, кто по ним проходил, а поскольку в уличной обуви на них не ступали, крылечки долгие годы сохраняли атласный блеск.

Я всегда интересовалась хозяйством, но уборка меня решительно завораживала. Я переходила следом за Кларой и Уильямом из комнаты в комнату, с изумлением и восторгом наблюдала за их работой. Я и подумать не могла, что толстое сукно, устилавшее наши полы целиком, так ловко вмещавшееся в углы и обходившее выступы, на самом деле прибито и его можно снять, вынести во двор и вычистить. Для этого требовалось двое слуг. В Японии полы застилают циновками, укладывают их сплошь, как костяшки домино в коробочке, но каждая из циновок размером всего

шесть футов на три, и Дзия с лёгкостью справлялся с циновками в одиночку.

Наши с Мацуо комнаты сообщались, и когда я поднялась проверить, вынесли ли ковёр и из его комнаты, то увидела, что массивный шкаф красного дерева — я считала его частью дома — выдвинут на середину комнаты. От изумления я лишилась дара речи. А спинка шкафа — как и спинки всей нашей изящной мебели — оказалась сколочена из нестроганых досок, я видела такие в Японии, их везли на телеге в плотницкую мастерскую. Удивительно. Мне ещё не случалось видеть мебель, которую не остругали бы и не покрыли лаком со всех сторон — снаружи, внутри, сверху, снизу и сзади.

Матушка объяснила, что причина этой уловки — стремление сэкономить время и силы. Так я впервые столкнулась с проблемой труда в Америке.

Именно во время уборки мы с матушкой впервые поговорили по душам. Она перебирала стоявшие на чердаке сундуки с платьем, а я сидела рядом, отламывала кусочки от большой камфорной лепёшки, заворачивала в папиросную бумагу и протягивала матушке, чтобы она спрятала их среди вещей, сложенных в сундуках.

Матушка показала мне мундир, который носил её дед во время войны 1812 года[57]. Открытые сундуки, разбросанная одежда, знакомый запах камфоры напомнили мне дни, когда мы дома проветривали вещи. Я как наяву увидела комнату досточтимой бабушки, где мы с отцом прятались от верёвок, на которых, покачиваясь, висели вещи, и от хлопот и суеты слуг — они чистили одежду щётками и складывали аккуратно.

— О чём задумалась, Эцу? — с улыбкой спросила матушка. — Взгляд у тебя такой, словно ты видишь то, что происходит за пять тысяч миль отсюда.

— И даже дальше, — ответила я, — ведь я гляжу в прошлое, в ту пору, когда меня ещё и на свете не было.

Я наклонилась и погладила широкий ворот старого мундира, лежавшего на матушкиных коленях. Мне отчего-то казалось, что эта вещь ближе всего моему сердцу, чем что бы то ни было в Америке.

— В нашем хранилище, матушка, — продолжала я, — тоже лежат реликвии, связанные с памятью о войне. Например, стопка книг с тон-

---

[57] Примечания: 57

Имеется в виду англо-американская война 1812–1815 годов, в Америке её называют второй войной за независимость.

кими листами, написанных рукой моего отца: для нас это подлинное сокровище. Вы не знаете, матушка, но мой отец побывал в плену, его долго держали в заложниках в военном лагере. В Японии военные лагеря отличаются от того, что понимают под этим в Америке. Лагерь располагался в храмовой роще; ту часть храма, где некогда жили монахи, отдали военным и их высокопоставленному пленнику, и хотя отец был один среди врагов, с ним обращались как с почётным гостем.

Отца разлучили с его верным слугой, но вместо этого приставили к нему юных самураев, и те с вниманием и уважением исполняли все его просьбы. Развлекались они тем, что соревновались в боевых искусствах и прочих навыках самураев; порой, как принято у самураев, проводили поэтические состязания или пели классические песни старой Японии. Словом, к услугам отца были и материальные удобства, и духовные развлечения, но он был отрезан от мира. Даже из книг у него были только стихотворения и прозаические произведения изысканной старинной литературы — ни слова о нынешней жизни. Каждый день был похож на предыдущий, и когда отец вечером преклонял голову на подушку, его

одолевали мысли. Добралась ли армия императора до Этиго? Кто теперь главный в замке Нагаоки? Что сталось с его вассалами? Сыном? Женой и дочерьми?

Там был красивый сад, где отец гулял каждый день. Возможно, у ворот стояла стража. Отец не знал. Ничто не указывало ему на то, что он пленник: быть может, ничего такого действительно не было, ведь те, кто его охранял, понимали, что отца удерживает цепь прочнее любой, какую можно выковать, — дух самурайской чести.

В ту одинокую пору отец больше всего любил проводить время со своими кистями для письма и за игрой в го с командующим, человеком весьма образованным: тот часто заходил пообщаться с отцом. Они сходились во вкусах, в представлениях о чести и отличались лишь в том, что служили не одному и тому же господину, а двум разным; за те месяцы, что они провели вместе, дружба их сформировалась, окрепла и продолжалась всю жизнь. Оба любили играть в го, оба играли хорошо и всерьёз. Сокровенные мысли друг другу не поверяли, но много лет спустя отец признался матушке: он понимал, что в каждой партии оба в сердце своём сражаются за своё дело. Выигрывал то один, то другой, чаще бывала ничья, но

побеждённый всегда торжественно поздравлял победителя и так же торжественно принимал церемонные благодарности.

Так проходили дни, недели и месяцы, многие, многие месяцы, и в конце концов отец уже боялся их считать. И ни слова, ни намёка о жизни за стенами храма!

Однажды прекрасным весенним вечером отец тихо сидел в своей комнате; окна её выходили в сад. Из далёких покоев монахов доносилось негромкое пение. Дул ветерок, по саду летели опадавшие цветы сакуры, ароматные их лепестки накрывали нежной волной неровные камни дорожки. В сосновых ветвях гналась за тенью молодая луна. Эта картина навеки врезалась отцу в память.

Зашёл молодой слуга и, как всегда, почтительно, но с угрюмым видом сообщил: «Досточтимый гость, вечерняя трапеза подана». Отец кивнул, принесли лакированный столик и поставили перед ним на татами. Наконец прислали ту весть, которую он так ждал. Миска риса была справа, суп слева, палочки стояли вертикально, точно перед святилищем, а на овальном блюде лежала жареная рыба без головы. То был молчаливый приказ самурая самураю.

Отец поужинал как обычно. Когда настало время принимать ванну, слуга был готов. Отцу вымыли голову, косичку не стали ни умащивать маслом, ни заплетать (ведь ей уже не нужно выдерживать тяжесть шлема), лишь перевязали бумажным шнуром. Отец облачился в льняные белые одежды и неяркое камисимо — наряд самурая, который идёт на смерть. И принялся спокойно дожидаться полуночи.

Вошёл командующий, поздоровался с отцом по-военному сдержанно, но за этой сдержанностью таилось глубокое чувство.

— Я пришёл не как военачальник, — сказал он, — а как друг, чтобы просить вас удостоить меня чести передать через меня известие.

— Я признателен вам, — ответил отец, — за эту и прочие любезности. Я покинул дом, чтобы уже не вернуться. И отдал все распоряжения. Мне нечего передавать.

Однако отец попросил командующего позаботиться о его помощнике, ведь после смерти отца тот останется без господина. Командующий заверил отца, что выполнит просьбу, и добавил, что с отцом до конца в качестве помощника будет его, командующего, личный вассал, старший над прочими. Мужчины поклонились друг другу в

знак благодарности, обменялись церемонными учтивостями и расстались, не сказав больше ни слова, хоть и уважали друг друга безмерно. Американцу это покажется холодностью, но так уж водится у самураев, тем более что оба знали, что у другого в душе.

Час настал. Отец был самым высокопоставленным из тех семи, что дожидались полуночи, поэтому первый и в одиночку, в смертных одеждах, величественно — в осанке его читалась гордость многих веков — вышел в храмовый двор. Он ступил за ограду; прочие узники в белых одеждах молча ждали в другом конце двора. Среди узников был мальчик, за ним стоял помощник. Отец узнал — узнал не глядя — землистое лицо и суровый прищур Миното, охранника своего маленького сына. Мальчик шевельнулся, еле заметно вздрогнул. Миното схватил его за рукава.

Отец шагал дальше. Дрожь улеглась, мальчик сидел прямо, смотрел вперёд. Это был мой брат. Кем бы он ни был потом, в этом новом мире, таком ему непривычном, там, в своём собственном мире — в мире, который достался ему от предков и в котором он вырос, — он был самураем! Отец спокойно, с достоинством, с гордо поднятой головой, устремив прямо перед собой невидящий

взгляд, занял положенное место. Но в душе у него… О, почему же Бог, которого он не знал, не смиловался над ним? С этими словами я сжала широкий ворот старого мундира, зарылась лицом в его складки, ибо лишилась самурайского духа. Америка была слишком добра ко мне, и какая-то часть меня умерла. Матушка взяла меня за плечо, но я не отважилась поднять голову и посрамить отца, ибо влага была на лице его нехраброй дочери.

— Ах, моя девочка! Моя милая девочка! Но ведь он не погиб! Он не погиб!

Я подняла голову, но глаза вытирать не стала.

— Война окончилась, и новое правительство простило всех противников, — ответила я, успокоясь. — Власти уже знали об этом решении, и гонцы поспешали, но, пока они не приехали, формальности следовало соблюдать до самого конца.

— Да, я слышала о таких случаях в ту пору, когда вести приносили скачущие галопом лошади и бегущие люди, — печально сказала матушка. — И некого было винить. Если из-за недоказанных сведений менять законы, государство вскоре начнёт руководствоваться догадками. А так быть не должно! Так быть не должно!

Я изумлённо воззрилась на матушку: щеки её раскраснелись, взгляд затуманился, она крепко сжимала лежавший на её коленях мундир и пристально смотрела на меня.

— Как близки разные страны мира, — продолжала она. — Твоя старая нянька была права, Эцу, когда говорила, что земля плоская и ты на другой стороне диска, недалеко, просто тебя не видно.

Мы обе улыбнулись, но у матушки дрожали губы. Она ласково обняла меня; как же я с тех пор её полюбила!

Также одной из вех в моей жизни стал день, когда я занимала участниц клуба. Матушка состояла в литературном обществе, члены которого узнавали сведения о различных странах и писали эссе. Собрания проходили дома у участниц; рано утром в тот день, когда настал черёд матушки, она получила весточку от подруги, та направлялась в далёкие края, проездом оказалась в городе и позвала матушку встретиться «между поездами». Матушка успевала вернуться до окончания встречи клуба, но я волновалась из-за того, что мне самой придётся заниматься убранством комнат и принимать гостей.

— Тебе не о чем беспокоиться, — заверил меня Мацуо, собиравшийся на работу. — Я сам слышал,

как матушка велела Уильяму принести сверху стулья, тебе останется только проследить за тем, чтобы он расставил их как в церкви. Клара знает, как именно.

— Но матушка хотела цветы и ещё говорила что-то о столике для председательницы, и… ах, и рояль надобно отодвинуть к стене! Матушка так сказала. Как жаль, что она уехала! — воскликнула я в неподдельной тоске и тревоге.

— Не делай из холмика гору! Клара со всем справится, — заверил меня Мацуо и устремился прочь, заметив, что сосед уже подъехал в коляске к нашим железным воротам и машет ему рукой.

Я понимала, что он прав, Клара действительно накануне убрала комнаты и сделала всё необходимое, но тем не менее я ощущала беспомощность и отчаяние.

И вот в годину моих испытаний я увидела, что по нашей лужайке идёт пожилая соседка, она порой заглядывала к матушке поболтать. Я выбежала из дома, радушно приветствовала её и спросила совета.

— Рояль не мешает, — сказала соседка. — В комнатах хватит места, даже если соберутся все гости. Ничего больше делать не надо, разве что принести ещё стулья. Но… — она обвела взглядом

большие сдвоенные залы с кружевными шторами на окнах и высоким зеркалом в позолоченной раме, — без стола посередине выглядит пустовато. Быть может, вы расставите в залах японские вещицы из ваших верхних покоев? Они будут как нельзя кстати и создадут чудесную атмосферу.

Едва соседка ушла, как я принесла сверху японские вещицы и украсила ими залу. Потом поставила в вазу ирисы в соответствии с изысканными, но строгими правилами икебаны и отошла посмотреть на дело своих рук.

Полюбовавшись цветами, я медленно обвела взглядом комнату. И меня охватило разочарование. Что же не так? Японские вещицы редкой, изящной работы, вазы с цветами очаровательны, но по какой-то таинственной причине матушкины залы никогда ещё не казались такими невзрачными. Взгляд мой упал на маленькую медную курильницу для благовоний, её подарил мне в детстве один из детей господина Тоды для моего набора праздничных кукол. На американской полке курильница выглядела нелепо; я подняла глаза, увидела гравюру с танцующим фавном и почти что в истерике схватила курильницу с полки. Мысли мои с быстротой молнии устремились в прохладные светлые комнаты на-

шего дома в Нагаоке — украшений мало, и каждое на своём месте, — и меня осенило. Мои японские сокровища выглядели бы красиво в подходящем для них окружении, здесь же они не казались красивыми и не прибавляли прелести нашим парадным залам. Они были всего лишь курьёзными, несуразными безделушками. Я поспешно их убрала, перенесла в кухню вазу с икебаной, которую составляла с таким тщанием, побежала на луг за нашим каретным сараем, нарвала маргариток и пушистой травы. И вскоре наполнила все вазы в доме, независимо от их формы и цвета, свежими полевыми цветами. Комната выглядела очаровательно, цветы идеально гармонировали с просторной лужайкой, что сбегала зелёной волной к каменной серой стене.

— Запад есть запад, восток есть восток, — сказала я и, облегчённо вздохнув, рухнула на диван. — Пожалуй, пока я здесь, забуду о принятых стандартах красоты, ведь просторным, свободным, уютным комнатам матушки подходит лишь прелесть естественности.

Глава XVIII. Странные обычаи

В нашем пригороде была большая каменная церковь; денег в приходе вечно не хватало, и кружок прихожанок, так называемое Дамское общество помощи, чтобы собрать денег, время от времени устраивал ярмарки или концерты, на которых порой выступали наши местные таланты.

Однажды вечером мы с матушкой и Мацуо пошли на один такой концерт. В программе были классические вокальные произведения. Одарённая певица, дочь богатого горожанина, училась музыке в Европе. Я знала её как застенчивую девушку с нежным голосом и изысканными манерами; тем сильнее было моё удивление, когда, едва заиграла музыка, солистка бодро и непринуждённо вышла к публике, с улыбкой раскланялась и, придав лицу живое выражение, разразилась высокими звонкими трелями, показавшимися моему непривычному уху диссонансом — странным, однако волшебным: признаться, ничего удивительнее я в жизни ещё не слыхала.

В памяти моей остались стремительность,

блеск, высокие звуки. Словом, полная противоположность нашей классической музыке, где преобладают приглушённые краски, медленные движения и мягкие глубокие тона. Вдобавок нашу музыку, как живопись, надо воспринимать глазами, не только ухом. В противном случае её прелесть ускользает.

Наша классическая сцена не меняется никогда. Сплошной задник из кедра с нарисованной на нём могучей сосной. Голый пол из камфорного дерева. Исполнители — разумеется, только мужчины — сидят неподвижно, как куклы. На них неяркие старомодные церемониальные наряды. Перед тем как запеть, каждый медленно отдаёт глубокий поклон и заученно-неторопливо кладёт пред собой веер. После чего, оперев ладони на колени, садится прямо и неподвижно; песня его с невероятным красноречием рассказывает чудесную историю о сражениях и любви, причём на всём её продолжении актёр не меняет ни выражения лица, ни положения тела.

Под конец, раскрасневшись от чувств, но по-прежнему с непроницаемым видом, актёр кланяется и аккуратно берёт веер; лицо его вновь принимает бесстрастное выражение. В зале гробовая тишина. Возможно, слушатели растроганы

до слёз, взволнованы до глубины души, но понять это можно лишь по слышащимся то и дело сдавленным всхлипам и вздохам. На протяжении веков считалось хорошим тоном сдерживать чувства, и молчание зрителей — высочайшая похвала певцу или актёру классической драмы.

В Америке, помимо прочего, я никак не могла привыкнуть к шуткам по поводу женщин и денег. От мужчин и женщин всех сословий, из газет, романов, лекций, один раз даже с церковной кафедры я слышала забавные истории о том, как женщины прячут деньги в кубышки, как выманивают деньги у супругов, берут взаймы у подруг или откладывают тайком на личные нужды. При этом ничего плохого рассказчики в виду не имели. Деньги могли копить на новые занавески в гостиную или даже на подарок мужу на день рождения. Но эти шутки меня озадачивали, и чем дальше, тем больше, поскольку со временем я осознала, что, быть может, в основе этих забавных историй — чистая правда.

Все обитатели нашего маленького пригорода интересовались делами друг друга, и я была знакома почти с каждым. Я знала, что мои соседки — дамы образованные и культурные, но при этом права распоряжаться деньгами у них не было.

Одевались они хорошо, мужья выдавали им деньги на всякие дамские нужды, но собственных средств у этих дам не водилось. Как-то раз я стояла за прилавком на церковной благотворительной ярмарке; несколько дам обошли зал, посмотрели, кто чем торгует, накупили недорогих безделушек, а про вещи дороже сказали: «Вот муж придёт, и я попрошу его купить». Или: «Вот придут джентльмены, тогда эти дорогие вещицы и продадутся». Я ни разу не слышала, чтобы японец купил что-то для дома, да его об этом и не попросили бы.

Как-то раз мы с подругой пошли за покупками, и она зашла за деньгами к мужу на работу. Мне это показалось странным, но ещё более любопытный случай приключился, когда мы с матушкой отправились на встречу дам из церковного кружка: они как раз собирали средства на какие-то особые нужды. В последнее время прихожанки частенько залезали к мужьям в мошну и на этот раз обязались раздобыть по пять долларов так, чтобы не пришлось просить у мужа. Я попала как раз на встречу, когда все принесли деньги, и каждая из дам, отдавая их в общий фонд, рассказывала, как ей удалось достать эти пять долларов. Большинство по чуть-чуть экономили на том и на этом. Одна призналась, что пошла на серьёз-

ную жертву — вернула модистке новую шляпку (оплаченную, но ещё не ношенную) и получила в обмен другую, на пять долларов дешевле. Другая продала подаренные ей билеты в театр. Третья весьма остроумно поведала в стихах, как она, бедная дама из Дамского общества помощи, целую неделю на досуге — и ещё одна предстоит — штопала чулки детям соседки, богатой дамы, в обществе помощи не состоящей.

Встреча получилась невероятно интересной. Я вспомнила наши вечера стихосложения — разве что на собрании общества помощи было веселее и рассказы всё были на низменные темы. Но я слушала с удовольствием, пока не поднялась прехорошенькая, красиво и ярко одетая женщина и не заявила, что не умеет ни зарабатывать, ни копить. А поскольку она дала слово не мошенничать со счётом в лавке и не выпрашивать деньги у мужа, ей оставалось одно: она вытащила пять долларов из кармана супруга, пока тот спал.

Её признание всех позабавило, а меня опечалило. После того как она сказала: «Ничего другого мне не оставалось», все прочие истории показались мне прискорбными. Даже не верилось, что здесь, в Америке, где женщины свободны и верховодят, благородная культурная дама, хозяй-

ка дома, мать вынуждена или выпрашивать у мужа деньги, или ставить себя в унизительное положение.

Когда я покинула родину, в Японии по большей части девочек воспитывали в духе старинных традиций: отвечать за благополучие всей семьи, в том числе мужа. Он, бесспорно, глава семьи, но жена — хозяйка дома и по своему разумению контролирует все расходы — на дом, на еду, на одежду и учёбу детей, траты, связанные со светской жизнью, с благотворительностью, сама оплачивает свои наряды, ткань и стиль которых обязаны соответствовать положению её мужа.

Откуда она берёт деньги? Муж обеспечивает семью, а жена выступает в роли банкира. И если мужу вдруг понадобятся деньги, он просит у жены, а для неё дело чести устроить всё таким образом, чтобы можно было выдавать мужу суммы сообразно его положению. Жена не задаётся вопросом, что именно требуется от человека его положения: она усвоила эти знания, когда готовилась к роли жены. Муж, конечно, может пожать плечами, заметить: «Не очень-то это удобно», однако хозяйство и занимаемый им пост для него дело чести, а любое упущение, способное навредить целому, — его вина. Следовательно,

нужды семьи и дома на первом месте. Мужчина женился, в первую очередь чтобы выполнить долг перед богами и предками, во-вторых — чтобы у дома появилась хозяйка, которая будет вести его таким манером, что и дом, и семья станут для мужчины поводом для гордости. Если жена справляется с обязанностями, друзья мужа делают ему комплименты. Если нет — жалеют его.

Так было у всех сословий за исключением разве что владельцев больших поместий или финансовых и деловых магнатов. У них обычно имелся домашний казначей, но и он подчинялся хозяйке дома: это она решала, что нужно семье. Казначей мог только заметить, рассыпавшись в извинениях: «Досточтимая госпожа рискует превысить бюджет». Этих слов обычно бывало достаточно, поскольку любая японка, как и всякий, кто за что-либо отвечает, стремилась честно исполнять свой долг.

Год за годом традиционные формы теряют былую строгость, но правила, некогда обязательные для всех, по сей день влияют на человека. И любое заметное отступление от них по-прежнему считается дурным тоном.

Традиции моей родины и страны, что меня приютила, во многом так разительно отличались

друг от друга, а моя любовь к обеим странам была настолько искренней, что порой меня посещало странное чувство, будто я лечу на облаке и взглядом оцениваю два разных мира. Сперва я постоянно пыталась объяснить в соответствии с японскими мерками все странные вещи, каждый день проходившие перед моим изумлённым взором, ибо никто, похоже, не знал ни откуда произошли самые распространённые обычаи, ни что они значат, ни почему существуют, ни почему их соблюдают. Я родом из страны, где у каждого покроя платья, у каждого правила этикета — да в общем, у каждой житейской мелочи — существует причина, о которой не забывают, так что подобное безразличие американцев немало меня удивляло.

Матушка была настоящим кладезем знаний, но мне было неловко забрасывать её вопросами, поскольку меня зачастую интересовали вещи странные, пустячные, неважные — например, почему в церкви женщины в шляпах, а мужчины без, почему в некоторых изящных домах на стенах висят фарфоровые тарелки, почему гостей ведут в спальню — сокровенный уголок! — и предлагают класть плащи и шляпы на кровать, место, где положено или спать, или лежать

болеть; почему визиты делают по вечерам (в Японии это время досуга); почему на Хеллоуин и Первое апреля забавляются и чудят; наконец, почему существует такой любопытный обычай класть подарки в чулки — в чулки, самую презренную часть гардероба!

Меня удивляло, что ни в разговорах, ни в газетах, ни в книгах об этих обычаях не упоминают ни намёком, ни словом. В Японии и традиции, и фольклор, и значение символов у всех на слуху. Наряды людей на улице, торговая марка на больших качающихся занавесях в лавке, узоры на фарфоровой посуде, клич уличного торговца, головной убор солдата, хакама, которые носят школьницы, — за каждой из этих вещей стоит всем известная история как и почему. Даже на узком сине-белом полотенце рикши и на коробочке из нескольких отделений, в которой рабочий берёт с собой обед, красуются узоры, намекающие на какой-нибудь древний стих или народное предание, знакомое каждому японскому ребёнку, как детям американским — песенки Матушки Гусыни.

Как-то днём на небольшом приёме одна из гостий любезно заметила, что в такой обуви, как мои сандалии, ноги не болят, и с неодобрением

отозвалась о высоких каблуках и острых носах туфель, которые тогда были в моде.

— Но почему их носят? — спросила я. — С чего это началось?

— Без всякой причины, — ответила дама. — Просто модно, ну вот как… ну вот как ваше платье запахнуто таким образом, что левая часть оказывается поверх правой.

— Но для этого есть причина, — возразила я. — Правую часть кимоно запахивают поверх левой только на усопшем.

Дама заинтересовалась, и мы вкратце поговорили о том, что японцы чтят левое выше правого во всём, начиная от трона императора до узлов. Затем, легонько коснувшись моего пояса, дама спросила:

— Не могли бы вы рассказать, для чего этот свёрток? Чтобы носить детей?

— О нет, — ответила я, — это пояс, он исключительно для красоты. А детей няньки носят в платке, который на манер гамака висит у них на плечах.

— Какая красивая ткань у вашего пояса, — откликнулась дама. — Могу я спросить, почему вы сворачиваете его в виде плоской подушечки, не лучше ли было б расправить, чтоб показать

узор?

Заметив, что ей действительно интересно, я охотно объяснила: существуют несколько способов завязывать пояс в соответствии с положением, возрастом и родом занятий человека, равно как и ситуацией. Наконец мне задали последний вопрос: «Почему вы тратите столько материи?»

Для японца материальная красота вещи неизменно вторична по отношению к её символике. И я, воспользовавшись случаем, охотно рассказала даме, почему пояс искони двенадцати дюймов в ширину и двенадцати футов в длину, объяснила, что в древних восточных верованиях это олицетворяет мифологию и легенды о небесных светилах.

— Как интересно, — произнесла напоследок дама, — особенно про знаки зодиака и прочее, но всё-таки жаль, что складки пояса не дают рассмотреть его роскошную парчу. И не кажется ли вам, маленькая госпожа, — тут она весело улыбнулась мне, — что попросту грешно покупать столько ярдов прекрасной материи и тратить её на всякие пустяки?

И ушла, а за нею по полу тянулся длинный шлейф дорогого бархата.

Матушкина мебель — прекрасного дерева, некоторые её предметы украшала резьба — сперва внушала мне ощущение, будто я в музее, но потом, побывав в других домах, я увидела, что простой и невзрачной мебели нет нигде. Многие дома напомнили мне хранилища, до того много в них было вещей, и не только стульев, столов, картин, но и всяческих безделушек — статуэточек, пустых ваз, раковин, фотокарточек в рамках, редких и дорогих украшений; всё это было довольно небрежно рассредоточено по всему дому — не то что в Японии с её представлениями об уместности и порядке. И лишь через несколько месяцев я избавилась от впечатления, что всё это разрозненное множество вещей здесь временно и вскоре их перенесут в хранилище. Причём вещи по большей части были красивые, но некоторые были в виде туфли или ступни. То ли такая форма всем очень нравилась, то ли мой неодобрительный взгляд неизменно замечал её всюду, но едва ли не в каждом доме я встречала пресс-папье, вазу или ещё какую-нибудь вещицу в этом роде. Один раз мне даже попалась на глаза деревянная подставка для зубочисток, изготовленная в виде башмачка.

Подобная мода вызывала у меня отторжение,

ведь в Японии на протяжении веков ступни считались наименее почтенной частью тела, и самый прекрасный или дорогой подарок утратил бы всякую ценность, если б его изготовили в форме обувки.

А японские безделушки! Они встречались повсюду, причём порой в самых неожиданных и неподходящих местах. Бэнто и миски для риса на столиках в гостиной, дешёвые картины-свитки на элегантных стенах, гонги из святилищ, чтобы сзывать к столу, эфесы мечей в качестве пресс-папье, чернильницы, в которых держали носовые платки, и шкатулки для писем, в которых лежали перчатки; свадебные чашечки, приспособленные под булавки, и даже маленькие бамбуковые плевательницы, куда — я сама это видела — ставили срезанные цветы.

Со временем мой упрямый ум приучился до определённой степени отделять предмет от его окружения, и я начала видеть его художественную ценность глазами американцев. И обзавелась привычкой: всякий раз, как мне случалось заметить нелепость, происходившую от слабого знакомства с Японией, я тотчас же пыталась вспомнить такую же нелепость, только в Японии по отношению к вещам иностранным. И

мне всегда удавалось подобрать не один пример. Как-то раз невинный вопрос молодой женщины — она недоверчиво уточнила у меня, правда ли, что в Японии, как им рассказывали на лекции, элегантно одетые дамы порой набрасывают на плечи вместо шали обычные дешёвые скатерти из синели, — пробудил во мне воспоминания. Я лишь рассмеялась и признала, что несколько лет назад это действительно было модно. Импортные товары были редкими, дорогими, а поскольку в Японии скатертями не пользуются, нам и в голову не приходило, что это вовсе не шали. Правда, мне не хватило духу признаться, что я и сама носила такую «шаль», — сказала лишь, что помню такие случаи из своего детства в Нагаоке.

Как-то раз мой отец из очередной поездки в столицу привёз Иси и Кин по большому турецкому полотенцу с цветной каймой и длинной бахромой. Обе служанки, преисполнившись гордости, накинули эти полотенца на плечи и отправились в храм на службу. Я до сих пор вижу, как они важно выходят за ворота, а на их плечах поверх японского костюма с длинными рукавами белеют полотенца, новые, жёсткие, и болтается бахрома. Сейчас подобное зрелище меня позабавило бы, тогда же я любовалась и ничуть не

удивлялась, что Иси и Кин завидовали все, кто их видел. Но как я ни старалась смотреть на японские предметы глазами американки, всё-таки одно особенно негармоничное сочетание самым глупым образом несколько месяцев не давало мне покоя. Когда я впервые нанесла визит миссис Хойт, хозяйке прекраснейшего дома, взгляд мой упал на чудесную резную магонотэ — «руку внука», как её именуют в Японии, в Америке же такие вещицы называют попросту чесалками для спины; магонотэ висела на шёлковом шнурке на шкафчике эбенового дерева, а рядом с ней на том же шнурке висели чётки из хрустальных и коралловых бусин. Магонотэ вырезали из слоновой кости, чётки — из редкого розового коралла и безупречного хрусталя, но такое неуместное соседство убивало, на мой восточный взгляд, всю красоту. Всё равно что положить на столик в гостиной рядом с Библией зубную щётку.

Я не стала критиковать выбор хозяйки. Её безупречный вкус во всём, что касалось искусства, не подлежал сомнению, а в Америке наша магонотэ — произведение искусства, и только. С этой точки зрения её повесили куда нужно. Я это понимала и всё-таки каждый раз, как заходила в эту комнату, упрямо отворачивалась от шкафчика.

И лишь через два года тесной дружбы с хозяйкой дома я набралась смелости признаться ей в том, что так шокировало меня в первый визит. Она по сей день смеётся, и я вместе с ней, но всё-таки на душе у меня теплеет, стоит мне вспомнить, что чётки и магонотэ уже не висят рядом.

И ещё одну вещицу убрала миссис Хойт в то же самое время, когда перевесила «руку внука» и чётки. А именно большую цветную фотокарточку, запечатлевшую Японию, — не снимок со старинного образа, а современную фотокарточку. Эту милую картинку с изысканной композицией в нежных оттенках хозяйка дома повесила на видное место. Её неискушённый взор видел в этом снимке исключительно красоту, у меня же от стыда щемило сердце. Ни в одном приличном японском доме такую фотокарточку никогда не повесили бы, ведь на ней была изображена известная токийская куртизанка на пороге дома, где она принимала клиентов. «И почему японцы продают такие вещи?» — с содроганием спрашивала я себя и вместо ответа задавала вопрос, который ставил меня в тупик: «И почему американцы их покупают?»

Однажды мы с подругой отправились в город за покупками. Мы ехали в трамвае, и моё внимание

привлекла сидевшая напротив нас маленькая девочка: она без конца что-то ела. Дети в Японии не едят на улице и в общественных местах, а я тогда ещё не знала, что в Америке, как и у нас, принято есть исключительно за столом.

Мы с подругой увлеклись беседой, и некоторое время я не смотрела на девочку, но потом мельком взглянула и заметила, что та до сих пор ест. Я то и дело поглядывала на неё и наконец обратилась к подруге:

— Интересно, что же такое она ест, — сказала я.

— Она ничего не ест, — ответила подруга, — она жуёт жвачку.

Я вновь посмотрела на девочку. Она была вялая, измученная, руки бессильно лежали на коленях, в ногах стоял какой-то свёрток, так что сидеть девочке было явно неудобно. Глядя на её усталое личико, я вдруг вспомнила, как мы ехали на поезде через весь континент.

— Ей плохо? — уточнила я.

— Думаю, нет. А почему вы спрашиваете?

— Кажется, я в поезде принимала это лекарство, — пояснила я.

— Ну что вы, — со смехом возразила подруга, — жвачка отнюдь не лекарство. Это что-то вроде

воска, только чтобы жевать.

— Но тогда зачем девочка её жуёт? — удивилась я.

— Большинство детей её сословия жуют жвачку. Но это так неизящно, что я своим детям этого не позволяю.

Больше я ни о чём не спрашивала, но наша беседа отчасти пролила свет на то, что случилось со мною в поезде. Меня укачало, и миссис Холмс дала мне лекарство, ароматную плоскую пастилку, — сказала, что это помогает от тошноты. Я сунула пастилку в рот, долго жевала, но проглотить не смогла. Наконец мне надоело, но миссис Холмс по-прежнему ела свою; я подумала, что это, должно быть, чудодейственное снадобье, раз оно не растворяется, аккуратно завернула пастилку в белую папиросную бумажку и спрятала в пудреницу с зеркальцем, которую носила в поясе.

Я так и не узнала, откуда пошёл этот странный обычай, но, кажется, не было случая, чтобы я не отыскала в Японии подобия американским причудам. Жвачка напомнила мне о распространённой среди некоторых японских детей традиции надувать ходзуки, свистульки из физалиса, этим часто ещё занимаются прислужницы из чайных домиков и женщины низкого сосло-

вия. Ходзуки делают из маленькой красной ягоды с гладкой плотной кожурой. Мякоть у ягоды очень нежная, и её можно аккуратно выдавить, не повредив кожуру, так чтобы получилось нечто вроде крошечного круглого фонарика. Этот мягкий шарик совершенно безвкусный, но дети обожают, засунув его в рот, потихоньку надувать пустую кожуру, чтобы она «играла музыку». Звуки эти похожи на тихое кваканье лягушки в далёком пруду. И музыка некрасивая, и традиция неказистая, однако безвредная и безобидная. Худшее, что можно о ней сказать, — то, что многие няньки говорят своим подопечным: «Вынь эту пищалку изо рта. А то губы вытянутся и станут некрасивыми».

Глава XIX. Размышления

В широком углу, где сходились наша передняя и боковая террасы, в тени раскидистой яблони висел мой гамак. Я клала в него большую подушку, садилась на японский манер и читала. Лежать в гамаке, как матушка, я не привыкла, но любила порой представлять, будто еду в открытом каго — повозка тихая, не качается — и наблюдаю за деревьями мельканье экипажей и деревенских телег, время от времени проезжающих по дороге за высокими вечнозелёными деревьями и каменной стеной.

Ещё из гамака я смотрела на узкую зелёную лужайку, за которой сквозь проём в изгороди из сирени, образованный подъёмным мостом, виднелся дом наших ближайших соседей. Близких соседей у нас было не много, поскольку наш пригород был довольно большой и дома стояли на значительном расстоянии друг от друга посреди кустарников и зелёных лужаек. Зачастую эти лужайки разделяла лишь узкая гравийная или грунтовая дорожка.

Мне очень нравилось, что вокруг домов нет

заборов. В Японии я ни разу не видела, чтобы вокруг дома не было каменной или деревянной оштукатуренной изгороди. Даже скромные деревенские хижины окружали кустарниками или бамбуком. В детстве я любила представлять, как было бы замечательно, если бы вдруг все изгороди пали и всякий прохожий увидел бы сады, прежде скрытые от глаз. В моём американском доме мне казалось, будто моя детская мечта сбылась. Заборы исчезли, и каждый мог любоваться газонами и цветами. Потом я мысленно переносилась в японские сады, огороженные красоты которых были доступны не многим.

Я размышляла об этом однажды приятным днём, когда сидела в гамаке и шила; матушка подвязывала вьющиеся розы, зелёная их листва занавешивала крыльцо.

— Матушка, — сказала я вдруг, когда мне на ум пришла новая мысль, — вы когда-нибудь думали о том, что японки живут словно в тюрьме, причём ключ от их камеры у них же в кармане, и они не отворяют её дверь потому лишь, что это невежливо?

— Что? Нет! — удивлённо ответила матушка. — А ты что думаешь, Эцу?

— Эта мысль пришла мне на ум в тот день, ко-

гда меня впервые пригласили на чай. Помните?

— Ну конечно. — Матушка улыбнулась. — Ты шла по дорожке вместе с мисс Хелен поникшая, как цветок. Она сказала тебе, что собралось всё общество и ты будешь «королевой бала», а ты уселась прямо на крыльцо и негромко заметила, что здешние люди точь-в-точь как их лужайки. Я так и не поняла, что ты имела в виду.

— Я всегда буду помнить тот день, — продолжала я. — Когда я одевалась, всё представляла, как будут выглядеть дамы с их волнистыми волосами, как они в нарядных платьях рассядутся в гостиной миссис Андерсон и заведут приятную беседу, как водится во время визитов. А они не сидели на месте. Я точно попала на улицу: дамы не сняли ни шляп, ни перчаток, стояли группками или расхаживали по людным комнатам и говорили все разом. От гула голосов я совсем растерялась, у меня закружилась голова, но всё было невероятно интересно и вполне пристойно. Мне задавали странные вопросы, но все были добры и веселы.

— Шум и суета так тебя утомили? — спросила матушка.

— Нет, что вы, мне это понравилось. Шум был весёлый. Мне всё понравилось. Но на обратном

пути мисс Хелен спросила меня, как дамы принимают гостей в Японии. И я отчётливо увидела празднование очередной годовщины у нас дома в Нагаоке; матушка сидит величественная и кроткая, все дамы в парадных нарядах, тихие, а если и выражают чувства, то сдержанно, улыбками, поклонами, скупыми жестами, поскольку на официальных приёмах в Японии считается грубостью громко смеяться или чересчур много двигаться.

— В этом покой и прелесть, — заметила матушка.

— Но это же неестественно! — воскликнула я и выпрямилась от волнения. — Я всё время об этом думаю. Наши условности доходят до крайности. Ограничивают душу. Мне даже неловко, что я здесь так счастлива, а все эти смирные и терпеливые женщины молча сидят в тихих своих домах. Наша жизнь в Японии — и у женщин, и у мужчин — совсем как наши связанные деревья, наши закрытые сады, наши… — Я осеклась и добавила медленно: — Я становлюсь чересчур откровенна, как американка. Меня воспитывали иначе.

— Тебе хочется поскорее сломать все изгороди, моя дорогая, — мягко заметила матушка. — Цветы Японии распускались в тенистом саду, и

внезапное яркое солнце может сгубить их красоту, превратить их в крепкие грубые сорняки. Но там сейчас ещё утро. Цветы вырастут на свету, и к полудню изгороди падут сами. Не надо спешить их ломать.

Матушка наклонилась над гамаком и впервые нежно поцеловала меня в лоб.

Однажды мы с приятельницами отправились посмотреть Эллен Терри[58] в «Венецианском купце». Спектакль был дневной, и после представления мы отправились выпить чаю. Дамы нахваливали прославленную актрису, я же молчала, поскольку тот день стал одним из величайших разочарований моей жизни. Мне не терпелось впервые увидеть западную актрису, известную на весь мир, я представляла себе скромную молодую образованную женщину, которая медленно ходит по сцене, степенно и с достоинством произносит замечательный монолог. Разумеется, я невольно нарисовала в воображении идеал для японцев.

Вместо этого по сцене расхаживала высокая женщина в алом платье и шапке на манер шутовского колпака, причём двигалась так естественно

---

[58] Примечания: 58

Элис Эллен Терри (1847–1928) — знаменитая английская театральная актриса. В «Венецианском купце» Терри играла роль Порции.

и непринуждённо, как пристало разве только простолюдинке. Для дамы воспитанной и изящной — пусть она даже это скрывает — Порция разговаривала чересчур громко и быстро. А как она жестикулировала! Оживлённо, точь-в-точь как мужчина. Мною владела лишь оторопь и удивление.

Чудесная сцена, когда Джессика при луне встречается с возлюбленным, и последнее действие, когда двое мужей узнают своих жён, изобиловали поцелуями до неприличия. Я уже пожалела, что пошла на спектакль.

Посреди разговора одна из дам, в последнем действии с любопытством за мной наблюдавшая, спросила:

— А в японских спектаклях бывают любовные сцены?

— Да, конечно, — ответила я. — Наш театр показывает жизнь как она есть, и японцы такие же, как все люди.

— Но вы залились краской, юная госпожа, точно прежде не видывали влюблённых, — с улыбкой заметила дама.

Я как могла объяснила, что нас веками учили: выражение сильных чувств несовместимо с изяществом и благопристойностью. Это вовсе не

значит, что мы подавляем в себе чувства, однако считаем публичное их выражение дурным тоном. Поэтому в нашем театре любовные сцены, как правило, настолько скромные и спокойные, что американскую публику они не затронули бы вовсе. А вот на японских зрителей сдержанное достоинство наших актёров производит сильное впечатление, поскольку японцы понимают чувства, которые им не показали.

— Но как же ведут себя ваши влюблённые, когда их… скажем… переполняет страсть? — уточнила молодая дама.

— Они деликатно поворачиваются друг к другу спиной, — ответила я.

— Поворачиваются друг к другу спиной! Силы небесные! — Именно такую любопытную фразу употребила молодая дама и чуть погодя задала мне новый вопрос: — А правда, — сказала она, — что в Японии не принято целоваться, даже у мужей и жён?

— Видите ли, у нас принято кланяться, — пояснила я. — Именно так мы выражаем чувства.

— То есть вы хотите сказать, что и ваша матушка никогда вас не целовала? — изумилась молодая дама. — Как же она попрощалась с вами, когда вы уезжали в Америку?

— Она поклонилась мне, — ответила я, — и произнесла очень ласково: «Благополучной тебе дороги, дочь моя».

Тогда я ещё очень недолго жила в Америке и не поняла ни странного выражения, которое приняли лица дам, ни воцарившегося на миг молчания, после чего разговор перешёл на другие темы.

В поклоне участвует не только тело: это движение души. Мы по-разному кланяемся отцу, младшей сестре, подруге, слуге, ребёнку. Глубокий и полный достоинства поклон моей матери, ласковые слова прощания были проникнуты любовью. Я живо это ощутила, и все, кто при этом присутствовали, тоже поняли всю глубину потаённого движения её души.

Японцы не любят выставлять чувства напоказ. До недавнего времени всех японских детей высших сословий учили скрывать сильные эмоции. Ныне свободы куда больше, чем в старину, однако влияние былого воспитания по-прежнему заметно везде — и в искусстве, и в литературе, и в повседневных обычаях. При всём дружелюбии и жизнерадостности в общении существует определённая строгость этикета, ограничивающая избыточность выразительности. Она диктует ритуалы, связанные с рождением и смертью, и

управляет всем, что между ними, — трудами, играми, трапезами, сном, прогулками, бегом, плачем и смехом. Оковы учтивости — разумеется, по доброй воле человека — сдерживают проявления чувств. Весёлая девушка смеётся тихонько, прикрыв лицо рукавом. Ребёнок, ударившись, глотает слёзы и всхлипывает: «Я не плачу!» Убитая горем мать с улыбкой сообщит вам, что дитя её умирает. Расстроенная служанка, хихикая, признается, что разбила ваш драгоценный фарфор. Иностранца всё это пожалуй что озадачит, но подобное поведение продиктовано лишь стремлением сдерживаться. Показывать чувства — невежество.

И когда американцы судят об отношениях между японским мужем и женой по тому, как они общаются друг с другом, то допускают большую ошибку. Мужу негоже превозносить жену и детей, как негоже нахваливать часть своего тела, и каждая жена гордится тем, что соблюдает строгие правила этикета, согласно которым сдержанность и чувство собственного достоинства суть добродетели, в высшей степени воплощающие честь дома, в котором она хозяйка.

И ещё одна тонкость, быть может, объясняет мнимые странности. В японском языке нет ме-

стоимений, их роль исполняют прилагательные. Так, прилагательное смиренное и уничижительное означает «мой», а хвалебное — «ваш». Муж, знакомя гостей с женой, говорит: «Прошу вас, пожалуйте великодушным взглядом глупую жену». И это значит лишь: «Позвольте вам представить мою жену».

Отец назовёт детей «невежественный сын» и «невоспитанная дочь», хотя душу его переполняет гордость и нежность.

Никогда не забуду, как я впервые увидела поцелуй мужчины и женщины. Это было, когда я приплыла из Японии и ехала на поезде через всю Америку. Место подле меня занимала молодая дама, очень нарядная, кроткая и даже робкая. Она недавно вышла замуж и сейчас возвращалась домой после первого визита к родителям. Меня привлекло её непринуждённое, однако скромное поведение, и я размышляла, в чём я могла бы брать с неё пример. Однажды утром я отметила, что она оделась наряднее обычного, и поняла, что её путешествие близится к завершению. Наконец поезд замедлил ход, и моя попутчица с живым интересом выглянула в окно. Едва поезд остановился, как в вагон вбежал молодой человек, заключил скромную и милую молодую даму в

объятия и расцеловал. А она явно не возражала, лишь, зардевшись, залилась смехом; наконец оба вышли из вагона. Не могу передать, что я тогда чувствовала, но невольно вспоминаю, что сказала мне матушка перед моим отъездом в Америку: «Я слышала, дочь моя, что у иноземцев заведено облизывать друг друга, подобно собакам».

В матушкиных словах не было упрёка, только изумление. И я повторяю их для того лишь, чтоб показать, до чего непривычным порой кажется иностранцу чужой обычай. За годы жизни в этой стране я узнала, что американцы тоже вкладывают душу в выражение чувств, вот как японцы в поклоны. Теперь-то я понимаю, что поцелуй выражает и благодарность, и доброту, и дружбу, и любовь — благоговейный шёпот от сердца к сердцу.

Мацуо был очень привязан к матушке и часто, получив новую партию товаров из Японии, выбирал самую красивую или подходящую вещицу и дарил ей. Как-то раз он принёс ей лакированную шкатулочку, похожую на коробочки для лекарств, которые японцы в древности носили на поясе. Снаружи шкатулочка была размечена линиями, соответствующими внутренним отделениям, но когда я её открыла, обнаружила

вместо нескольких отделений всего два, для игральных карт. Лак был скверный, работа грубая, но сама мысль оригинальная — изготовить шкатулочку для средств развлечения в виде коробочки для лекарства от боли.

— Какие же американцы изобретательные! — воскликнула я. — Вот не думала, что эту шкатулку сделали здесь.

Мацуо перевернул её: на донышке обнаружился ярлычок «сделано в Японии».

Через несколько дней я заглянула в лавку к Мацуо, и он показал мне, что целые полки уставлены товарами, которые называют японскими, однако любой обитатель Японии изумился бы, увидев эти странные европейские штучки. На всех стояли ярлыки «сделано в Японии». Мацуо пояснил, что придумывают их американцы — так, чтобы товары пригодились в Америке, — а изготавливают на японских фабриках и сразу же отправляют в Америку; в Японии подобное не продают. Меня это смутило, Мацуо только пожал плечами.

— Если американцам такое нужно, если они делают чертежи, заказывают эти товары и всем довольны, найдутся торговцы, чтобы поставлять их в Америку, — сказал Мацуо.

— Но это всё не японское.

— Да, — согласился Мацуо. — Но подлинные японские вещи никто не купит. Покупатели сочтут их слишком хрупкими и унылыми. — И добавил медленно: — Единственное лекарство — обучение, и придётся начать с этого.

В ту ночь я долго не сомкнула глаз, всё думала. Разумеется, людей творческих, ценящих истинную красоту, не так-то много по сравнению с множеством тех, кому нравятся тяжёлые вазы, зелёные с золотом, дешёвые лакированные шкатулки и развесёлые веера с рисунками смеющихся девушек с цветами в волосах. «Но если Япония снизит свои художественные стандарты, — вздохнула я, — чего же ей ждать от мира? Всё, что у неё есть, всё, в чём проявляется её суть, проистекает из её идеалов искусства, из её гордости. Честолюбие, учтивость, мастерство — всё укладывается в эти понятия».

Я знавала мастерового — ему платили сдельно, не подённо, — который по доброй воле разрушил сделанное за полдня, с натугой поднял тяжёлый камень садовой дорожки, чтобы чуть-чуть его передвинуть. Когда камень занял нужное положение, мастер отёр пот со лба, достал трубочку и, присев на корточки, потратил ещё сколько-то

времени (за которое ему не заплатят), любуясь на правильно лежащий камень, и в каждой морщинке добродушного старческого лица читались радость и удовольствие.

Вспоминая об этом мастере, я гадала, стоит ли менять на что бы то ни было удовольствие и сердечную гордость своими трудами. Мысли мои перескочили от садовника к рабочему, учителю, чиновнику. У всех так. Пожертвовать гордостью — отказаться от лучшего, что имеешь, — губительно для духовного роста как человека, так и народа.

Глава XX. Соседи

Приехав в Америку, я ожидала узнать многое, но мне и в голову не приходило, что я узнаю что-то о Японии. Однако наши соседи своими вопросами и замечаниями каждый день помогали мне иначе взглянуть на мою родную страну.

Моей ближайшей подругой стала дочь отставного сановника (мы называли его Генералом); они жили сразу за крутым овражком, разделявшим наши владения. Наши земли окружала изгородь из лиловой сирени, в которой напротив тропинки к колодцу зиял проём для подъёмного моста. Однажды осенним днём я сидела в тени на ступеньке моста и ждала почтальона; на коленях у меня лежал свёрток с множеством марок. Примерно в этот час его забавная повозка с открытыми боковыми дверями, похожая на высокий и жёсткий каго, должна была проезжать мимо нас вниз по склону холма на обратном пути в город, и мне не терпелось отдать почтальону посылку с белой хлопчатобумажной парчой[59] и лентами всевозможных узоров и расцветок

[59] Примечания: 59
Речь о сиро-момэн, белой ткани с узорами. — *Прим. науч. ред.*

— самые дорогие дары, которые я могла послать в Японию.

Внезапно весёлый голос за мною пропел:

Открой скорей рот и закрой глаза —
Я дам тебе то, что прибавит ума.

Я обернулась, и взору моему предстала прелестная картина. На мосту стояла моя ясноглазая подруга в белом платье и широкополой шляпе с кружевами и держала в горсти три или четыре виноградных листа, скреплённых колючками. На этом растительном блюдце лежали сочные грозди фиолетового винограда.

— Ах, как красиво! — воскликнула я. — Именно так в Японии подают фрукты.

— А так в Японии носят цветы. — Моя подруга положила виноград на ступеньку и вынула из-под мышки большой букет длинных тигровых лилий. — Почему японцы носят цветы стеблями вверх?

Я со смехом призналась:

— Когда я только приехала, то очень удивлялась, что здесь все носят цветы стеблями вниз. Почему так?

— Ну как почему, ведь так красивее, так они растут.

Это была правда, и всё же прежде я не задумывалась, что хоть кому-то может быть важно, как выглядят цветы у него в руках. В Японии, пока вещь не поставят на положенное место, её словно и не замечают.

— Японцы редко носят куда-то цветы, — сказала я, — разве что в храм или на могилу. Цветы для дома мы покупаем у торговцев, они ходят от двери к двери с корзинами, которые висят на шесте у них на плече, но в подарок мы цветы не посылаем и никогда не украшаем себя цветами.

— Почему? — спросила мисс Хелен.

— Потому что они вянут и блекнут. А послать цветы захворавшему другу — дурнее знака и не придумать[60].

— Ах, ваши несчастные в больницах лишены такого утешения! — заметила мисс Хелен. — А ведь Япония — страна цветов!

Я удивилась и промолчала; чуть погодя меня отвлёк от раздумий вопрос.

— О чём вы думали, когда я пришла, а вы сидели так тихо с этим большим свёртком на коленях? Вы были похожи на очаровательную, изящную, колоритную лоточницу.

---

[60] Примечания: 60

В японском выражение «цветы в горшке» созвучно выражению «прикованный к постели». — *Прим. науч. ред.*

— Вряд ли лоточницу посещают такие мысли, — ответила я. — А я смотрела на висящий конец цепи моста и вспоминала об одном японском влюблённом, который давным-давно пересёк такой мост девяносто девять раз, чтобы покорить сердце возлюбленной, а на сотый раз не увидел, что мост поднят, — тогда бушевала метель — свалился в ров и погиб.

— Как печально! — вскрикнула мисс Хелен. — А что же его несчастная возлюбленная?

— Из-за неё всё и вышло, — ответила я. — Она была тщеславная, честолюбивая, углядела возможность завоевать любовь некоего вельможи и тотчас же охладела к бедному юноше, велела слугам не опускать мост в тот день, когда несчастный влюблённый рассчитывал прийти к ней с победой.

— Уж не хотите ли вы сказать, что это создание хладнокровно его погубило?

— Он погиб из-за метели, — возразила я. — Та девушка была ветреница, но всё-таки не злодейка. Она полагала, что юноша увидит поднятый мост, догадается о её ответе и уйдёт.

— Да уж, наши девушки, видит бог, порой ведут себя ветрено, — сказала мисс Хелен, — но ни одна американка так сроду бы не поступила. Эта

девушка — настоящая убийца.

Такой прозаический взгляд на романтическое предание меня изумил, и я поспешила добавить, что госпожа Комати стала монахиней, провела жизнь в паломничествах по храмам и молитвах об усопших. На склоне лет она немного повредилась рассудком, поселилась как нищая странница среди простых сельчан на склоне Фудзи, там же и умерла.

— Священнослужители приводят в пример её участь, — заключила я, — как предостережение ветреным девушкам.

— Что ж, — мисс Хелен глубоко вздохнула, — по-моему, она очень дорого заплатила за свою опрометчивость, не так ли?

— Пожалуй, да, — ответила я, немало дивясь такому вопросу, — но нас воспитывают с мыслью, что если женщина, забыв о скромности и достоинстве, встретит мольбу преданного влюблённого презрением и насмешкой, то она долее не может считаться порядочной.

— А если мужчина соблазнит и обманет девушку, что тогда? — выпалила мисс Хелен. — Он тоже не может считаться порядочным?

Я не знала, что ей ответить. Сызмальства я невольно придерживалась убеждения, что

мужчина защищает и направляет, а женщина помогает ему — разумеется, не забывая о самоуважении, но всё-таки лишь покорно помогает, не рассуждая. Впоследствии мы с мисс Хелен не раз говорили по душам, и её вопросы и замечания удивляли меня, а порой и смущали. Многие японские традиции я принимала как должное, не раздумывая, подчинялась обычаям предков, поскольку так было всегда и так водится ныне. Когда же я начала задаваться вопросами о том, что прежде казалось мне правильным и простым потому лишь, что соответствовало законам, установленным нашими мудрыми правителями, то порой совершенно терялась, а то и пугалась.

«Боюсь, я становлюсь очень дерзкой, совсем как мужчина, — думала я про себя, — но не для того ли Бог наделил меня разумом, чтобы я раздумывала обо всём?» В детстве я скрывала глубочайшие свои чувства. И вот история повторилась. Моя американская матушка поняла бы меня, но я этого не знала и с деланым равнодушием пыталась сама во всём разобраться, искала высокие идеалы — не для себя, для Японии.

Отцу мисс Хелен было уже девяносто, когда мы с ним познакомились. Он был замечательный человек, высокий, с широкими плечами — возраст

лишь чуточку их ссутулил, — густыми седыми, цвета стали, волосами и кустистыми бровями. Когда он говорил, суровое лицо его смягчалось и веселело. Он казался мне энциклопедией американской истории. А историю я всегда обожала, и в детстве, и в школе, но вот именно американскую знала плохо и часами просиживала с Генералом и его немощной женой, слушая рассказы о прежней жизни. Генерал знал, что особенно я люблю случаи из жизни, и как-то раз рассказал, что обширное их поместье его отец некогда приобрёл у индейского вождя в обмен на стул, ружьё и кисет с табаком, а на месте большого дома нашей матушки прежде стояла индейская деревня из крытых корою хижин, и её купили за полдюжины кухонных стульев. Мне эти случаи казались почти что доисторическими, ведь прежде я не знала никого, чей дом не был бы выстроен в далёком прошлом.

Когда Америка была ещё совсем юной, Генерал в качестве дипломата представлял свою страну в Европе и со своей молоденькой красавицей женой участвовал в светской жизни Парижа, а после и Вашингтона. Начальное представление о жизни американцев за границей я получила из образных описаний этой любезной дамы и бла-

годаря пережитому ею прониклась сочувствием к американцам в Японии, стремящимся понять японцев (прежде-то я замечала исключительно трудности японцев, которые пытаются понять американцев).

С самого детства и до знакомства с Генералом всё старинное вызывало у меня почтение. Я сознавала, что генеалогическое древо рода Инагаки уходит корнями в глубокую древность и наши участки на кладбище старейшие в Нагаоке. Необходимость следовать тем же традициям, которые веками блюли наши предки, представлялась мне бесспорной; я гордилась тем, что это традиции одной из старейших династий в мире.

После того как я познакомилась с Генералом и послушала его рассказы о чудесном развитии государства, бывшего куда моложе моего генеалогического древа, слово «старинный» отчасти утратило для меня ценность. Даже при жизни Генерала — за годы жизни одного человека — американское государство развивалось настолько стремительно, что порой я взирала на Генерала с благоговейным трепетом, гадая, так ли на самом деле ценна старина. «Пожалуй, — думала я подчас, — было бы лучше не оглядываться с такой гордостью на славное прошлое, а смотреть в слав-

ное будущее. Первое подразумевает спокойное удовлетворение, второе — усердный труд».

Однажды вечером мы с Мацуо возвращались от Генерала; мисс Хелен проводила нас до моста. Мацуо ушёл вперёд, к матушке на крыльцо, а мы с мисс Хелен уселись на ступеньку моста и, как часто бывало, разговорились.

— Когда отец рассказывал о Молли Питчер[61], вы, наверное, думали о японских женщинах, — предположила мисс Хелен.

— Почему? — удивилась я.

— Мне не раз доводилось слышать, — нерешительно пояснила мисс Хелен, — как вы говорили, что американки и японки похожи между собою. Но, по-моему, таких, как Молли Питчер, в Японии не найти.

— Вы просто не знаете нашу историю, — воскликнула я. — У нас много героинь.

— Да, разумеется, — с готовностью согласилась мисс Хелен. — В каждой стране найдутся благородные героини, готовые жертвовать собой в час испытаний. Но они всё-таки исключение. И книги, и путешественники отзываются о японках как

[61] Примечания: 61

Молли Питчер (настоящее имя Мэри Людвиг Хэйс Мак-Колли, 1744–1832) участвовала в битве при Монмуте 28 июня 1778 года, во время Войны за независимость.

о женщинах тихих, кротких, мягких, покорных. Чего не скажешь об американках.

— Разное воспитание, — заметила я. — Но в душе те и другие, думаю, во многом похожи.

— Что ж, — ответила мисс Хелен, — когда у нас войдёт в привычку не скрывать чувств, быть может, и мы покажемся кроткими и покорными. Но, — добавила она, поднявшись, — едва ли ваши мужчины с вами согласятся. Не далее как сегодня, когда я рассказывала о книге о Японии, которую прочитала, и призналась, что, по моему мнению, автор справедливо заявляет: «Скромностью и кротостью японки правят миром», ваш муж улыбнулся и поблагодарил меня, словно тоже так считает.

— Мисс Хелен, — ответила я серьёзно, — наших женщин действительно изображают мягкими и покорными, и наши мужчины не станут это оспаривать, однако правда и то, что под этой мягкой кротостью японки подобны… вулканам.

Мисс Хелен рассмеялась.

— Вы единственная японка, которую я видела в жизни, не считая тех, что на Выставке[62], — призналась мисс Хелен, — и мне как-то не верится,

[62] Примечания: 62

Речь о Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году, она же Всемирная Колумбова выставка. — *Прим. науч. ред.*

что в вас таится вулкан. Но вам виднее, и я поверю вам на слово. Среди ваших женщин есть и Молли Питчер, и кокетки — наподобие той дамы, как её бишь, о которой вы мне рассказывали на днях: вот уж кокетка была, да какая! — теперь же вы утверждаете, что японки подобны вулканам. Ваши с виду скромные соотечественницы явно обладают удивительными способностями. Когда я в следующий раз приду к вам в гости, попрошу вас привести в пример какую-нибудь японку, которая принимает близко к сердцу права женщин.

— Запросто, — со смехом откликнулась я. — Японка, которая принимает близко к сердцу права женщин, не борется за них — они у неё уже есть. А если это означает и право выполнять мужскую работу, я с лёгкостью приведу вам пример. У нас есть целый остров женщин, которые выполняют мужскую работу — и рис сажают, и законы пишут.

— Что же тогда делают мужчины?

— Готовят, ведут хозяйство, воспитывают детей, стирают одежду.

— Шутите! — воскликнула мисс Хелен и села обратно.

Но я не шутила — и рассказала ей о Хатидзё[63], островке в сотнях миль от побережья Японии; тамошние женщины, высокие, красивые, прямодушные, великолепные волосы собраны в узел на макушке, в длинных просторных платьях, перехваченных завязанным спереди узеньким пояском, работают на рисовых полях, жмут масло из семян камелии, прядут и ткут оригинальные жёлтые шелка и носят их через горы в свёртках на голове, управляясь одновременно с крохотными волами — не крупнее собак, — тоже нагруженными рулонами шёлка, которые предстоит отправить на продажу на материк. И в довершение всего они издают лучшие из законов, какие только есть в Японии, и следят за их соблюдением. Старшие мужчины в общине, привязав на спину младенцев, расхаживают по делам или сплетничают на улицах, покачиваясь под напевную колыбельную; мужчины помоложе моют сладкий картофель, режут овощи, готовят ужин или, повязав широкие фартуки и засучив рукава, моют, трут и выжимают одежду на берегу ручья.

И подобное необычное положение вещей установилось давно, несколько веков назад, когда

[63] Примечания: 63

Раньше этот остров назывался Нёгогадзима — «остров женщин». — *Прим. науч. ред.*

мужья и сыновья вынуждены были отправиться на соседний остров, милях в сорока от Хатидзё, чтобы рыбачить — возле их родного острова рыба почти не ловилась. Впоследствии оказалось, что шёлк куда прибыльнее рыбы, мужчины вернулись на остров, но власть уже была в умелых женских ручках, и они её не отдали.

Всё это я поведала мисс Хелен и заметила в заключение:

— Вам стоит подумать над тем, что с такими женщинами у власти здоровы и счастливы и мужчины, и женщины, а общественная жизнь куда нравственнее, чем в любой другой столь же разумной общине.

— Вам бы надо вступить в партию, которая выступает за равное избирательное право для женщин, — сказала мисс Хелен, — и рассказать эту историю с трибуны. Она способна воодушевить и покорить сердца избирателей. Что же, — она снова поднялась, — ваши женщины такие оригинальные создания, что я уверена более, чем когда-либо: американки ничуть не похожи на японок. Мы так много говорим и так бурно интересуемся общественной жизнью, что, кажется, способны на всё. Однако, что бы мы ни выкинули, свет нам не удивить. Ваши же робкие

и застенчивые соотечественницы осмеливаются на поступок дерзкий и сильный — например, поднять мост и прочее в этом роде — и вмиг опрокидывают все наши предвзятые представления. А потом вдруг оказывается, что они исподволь и весьма действенно поступают так *en masse*, как те островитянки, тогда вовсе не знаешь, что и думать.

Мисс Хелен перебежала через мостик и крикнула напоследок:

— И всё-таки, хоть вы и самая милая из всех молоденьких дам, которые когда-либо носили сандалии, меня вы не убедили. Американки не такие, как японки, — а жаль!

Я направилась к дому; комплимент моей излишне предвзятой подруги ещё звенел у меня в ушах, как вдруг меня окликнули из сумрака на мосту:

— Как же я не подумала о миссис Ньютон! Сдаюсь. Она совсем как японка. Спокойной ночи.

Я с улыбкой шагала к крыльцу, вспоминая утренний матушкин рассказ о миссис Ньютон. Я очень хорошо её знала: она была нашей ближайшей соседкой с противоположной стороны от дома мисс Хелен. Миссис Ньютон была кроткая, застенчивая, с тихим голосом, обожала птиц и

строила им домики на деревьях. Я поняла, почему мисс Хелен сказала, что миссис Ньютон совсем как японка, но прежде мне эта мысль в голову не приходила. Миссис Ньютон была весьма разумна и прагматична и позволяла мужу заботиться о ней — пожалуй, даже избыточно. Он носил ей плащ и зонтик, а однажды я видела в экипаже, как мистер Ньютон нагнулся и застегнул жене туфельку.

Матушка рассказала мне, что миссис Ньютон несколько дней назад, сидя с шитьём у окна, услышала всполошённый щебет и увидела, что по стволу дерева к одному из птичьих домиков на низкой ветке подбирается большая змея. Миссис Ньютон отшвырнула шитьё, бросилась к ящику комода, где её муж держал пистолет, выстрелила из окна, попала змее точно в голову и тем спасла своё маленькое птичье семейство.

— Как же она отважилась? — спросила я у матушки. — Вот никогда бы не поверила, что нежная хрупкая миссис Ньютон осмелится хотя бы прикоснуться к пистолету. Она боится каждой уличной собаки, а если с ней неожиданно заговорить, вздрагивает и краснеет. И как ей удалось попасть в цель?

Матушка улыбнулась.

— Миссис Ньютон способна на многое, ты просто её не знаешь, — сказала она. — После свадьбы она несколько лет жила на ранчо в глуши на Западе. И однажды ночью в грозу — её мужа не было дома — она повесила на пояс этот самый пистолет и прошагала шесть миль в темноте, чтобы привести подмогу раненому работнику.

Я вспомнила ласковый голос миссис Ньютон, её кроткие, даже робкие манеры.

— Да уж, — сказала я себе, — она и правда совсем как японка!

Глава XXI. Новые впечатления

Летели недели и месяцы, и невольно в моём сознании настоящее теснее смыкалось с прошлым, ибо с каждым днём я видела всё явственнее: Америка очень похожа на Японию. Вот так по прошествии времени новое окружение слилось со старыми воспоминаниями, а жизнь моя с детства и до недавних дней стала казаться почти непрерывной цепью событий.

За перезвоном церковных колоколов, выпевавших: «Благодари — ты за дары — они всегда с тобой» — мне слышался глухой и гулкий звон храмового гонга: «Здесь каждый — получит защиту — в этих надёжных стенах».

По утрам в половину девятого дети со стопками книг наполняли улицы смехом и криками — точь-в-точь как мальчики в школьной форме и девочки с блестящими волосами, в хакама в складку, что в половину восьмого, топоча гэта, проходили мимо со стопками учебников, аккуратно завёрнутых в отрезы узорчатой шерсти.

День святого Валентина с нежными мыслями, выраженными пылкими ласковыми словами,

с кружевными изображениями горящих сердец и замерших в поклоне рыцарей — всё это переплетено розанами — напоминал мне наш праздник Танабата, когда на раскачивающиеся ветви бамбука повязывают яркие кушаки и шарфы, увешивают их разноцветными бумажками со стихотворными мольбами о том, чтобы пастух и его избранница-ткачиха встретились в этот день на туманных брегах Небесной реки, которую американцы называют Млечный Путь.

День памяти солдат, павших в двух войнах, с его патриотическими речами, флажками и цветами на могилах, — наш Сёконся, день поминовения погибших воинов, когда с утра и до самого вечера сотни людей, негромко хлопая в ладоши, проходят под высокой каменной аркой и уходят, чтобы освободить место сотням следующих посетителей.

Четвёртое июля с развевающимися знамёнами, треском шутих, барабанной дробью и крутящимися в небе фейерверками сродни нашему празднику, когда под перекрещёнными ветвями сакуры реет японский флаг в честь восшествия на престол двадцать пять столетий назад нашего первого императора, высокого, бородатого, в просторных одеждах, перехваченных на запястьях

и лодыжках сплетёнными лозами, в длинном ожерелье из серповидных драгоценных камней: ныне оно считается одной из трёх драгоценных регалий трона.

Хеллоуину с его причудливыми светильниками, нечистью и шутливыми проделками в Японии соответствует праздник плодородия, когда из тыкв вырезают искусные изображения тенистых садов с цветами и фонарями, играют в призраков и складывают тыквы у ворот круглолицых девиц, устраивают набеги на сады скупцов и относят трофеи на могилы, чтобы ими поживились бедняки.

День благодарения — праздник, когда переселенцы ступили на американский берег, — с его индейкой и пирогами, радостью и весельем, напомнил мне наши ежегодные праздники, когда вступившие в брак дочери и сыновья со своими детьми собираются на застолье и едят красный рис, рыбу, оживлённо беседуют, когда двери святилищ распахнуты настежь и духи предков благосклонно взирают на происходящее.

Рождество с нарядными улицами и весёлой толпою прохожих, спешащих домой с покупками, с ёлкой в огнях и множеством подарков, со священными воспоминаниями о воссиявшей звезде,

Матери и Младенце сродни нашему Новому году, который празднуют семь дней, с одним лишь отличием, и отличие это между негромкой старинной мелодией органа и беззаботной, живой и счастливой детской песенкой.

В Японии в Новый год над каждой дверью на наших запружённых улицах натягивают потрёпанную верёвку из рисовой соломы, а на крыльцо ставят сосенки, повсюду слышится детский смех, перезвон привязанных к обуви невидимых колокольчиков, бодрый стук летящих воланчиков и радостные приветствия кланяющихся друг другу знакомых. В каждом доме подают пухлые круглые лепёшки-моти, у всех детей день рождения, всем девушкам дарят новые пояса, мальчики и девочки вместе играют в карточки со стихами. Ах, как весело в Японии в Новый год! Ни у кого нет мрачных мыслей, ведь бабочка вырвалась из кокона прошлого и жизнь началась сначала.

Первое Рождество в Америке обернулось для меня разочарованием. Подруга предложила всем вместе пойти на праздничное богослужение, после чего отправиться к ней на ужин у рождественской ёлки. У подруги были дети, и я предвкушала весёлый, красивый, приятный вечер, не лишённый, однако ж, приличия и

благоговения. Оказалось, что я преувеличивала символическое значение этого праздника, а в нём материальное настолько тесно и странно переплелось с духовным, что я совсем растерялась. Звезда на ёлке, бескорыстие — и то, и другое прекрасно, но о них почти не говорили, разве что в церкви, а под звездой висели гирлянды из клюквы и кукурузных зёрен — того, что мы употребляем в пищу. Словом, если не считать подарков (и дарить, и получать их радостно), мне показалось, что суть праздника по большей части заключалась в определённых угощениях, а также обычае — неэстетичном и даже странном — развешивать на видном месте покровы для нижней части тела, дабы туда положили подарки, игрушки и украшения, даже фрукты и сласти. Японцу такую традицию понять трудно.

В тот вечер мы с матушкой навестили мисс Хелен. В её просторной тихой гостиной на отрезе белоснежной материи стояла ель, большая, душистая, блестящая огоньками и разноцветными украшениями. Как же это было красиво! Эта высокая дивная ель напомнила мне — так американский небоскрёб может напомнить о крохотной пагоде храма — волшебную ветвь на

нашем празднике кокона[64], на которую вешают множество украшений в виде всех символов этого дня (их выдувают из сахара). Матушка и отец мисс Хелен тоже присутствовали, и мы разговорились о праздниках в Америке и в Японии. А потом их маленькая племянница вместе с соседской девочкой спели нам рождественские гимны, и сердце моё переполнила радость: наконец-то настало идеальное Рождество!

Наутро после Рождества выпал первый снег, сухие перистые снежинки туманом висели в воздухе; на метели в Этиго, когда с неба валят мокрые хлопья, это было похоже не больше, чем легчайший шёлковый очёс на тяжёлую хлопчатобумажную вату. Снег шёл весь день, к ночи усилился, и когда мы проснулись на следующий день, вокруг было белым-бело.

На повороте нашей подъездной аллеи, в том самом месте, где она переходила в широкую проезжую дорогу, стоял домик кучера. Трое его детей попросили у матушки разрешения слепить снеговика на нашей задней лужайке. Матушка согласилась, и начались преинтереснейшие вещи! Дети скатали большой снежный ком, на него

---

[64] Примечания: 64
Речь о маюдама-кадзари. — *Прим. науч. ред.*

поставили второй, а на него третий, поменьше. Потом, как следует похлопав по верхнему кому ладошками в красных варежках, сделали снеговику лицо — черты его получились грубыми, — а из угольков блестящие глазки и ряд пуговиц. Нахлобучили на снеговика старую отцову шляпу, всунули в рот раздобытую где-то трубку — и готово дело. Получившееся неуклюжее бесформенное создание напомнило мне Дарума-сама — индийского святого, чья вера стоила ему ног.

Вот уж не ожидала увидеть в Америке этого буддийского святого! Однако схожесть меня позабавила, и я повеселила детей историей о том, как неунывающий обработчик риса отшвырнул пестик прочь, основал новую религию и попросил не поклоняться своему образу, а изготавливать в виде него смешные игрушки, чтобы дети брали их в руки и радовались. Позже я видела таких Дарума-сама и в прочих местах, не только у нас на лужайке. К моему удивлению, приземистая фигурка в алом наряде была всем знакома, а вот имя святого и его история — нет. Я за свою жизнь повидала немало игрушек в виде Дарума-сама, сделанных для неаккуратных детских ручек, но пришла в изумление, увидев однажды вечером эту куколку-неваляшку в качестве утешительно-

го приза за игру в карточки.

— Странный, однако, приз за игру в карточки, — сказала я Мацуо. — Почему выбрали именно Дарума-сама?

— Ничуть и не странный, — возразил Мацуо. — Очень даже уместный. Он никогда не теряет равновесия, и стоит ему наклониться, как он тут же встаёт, — чем не утешительный приз? Он словно говорит: «Падаю лишь на миг». Понимаешь?

В Японии к Дарума-сама относятся без должного уважения, но с большой теплотой, и когда мы с Мацуо шли домой с того вечера, меня обуревали двойственные чувства. Наконец у железных ворот я глубоко вздохнула — преданную душу мою щемило смешное желание заступиться за Дарума-сама — и, к удивлению Мацуо, призналась: «Жаль, что ни ты, ни я не выиграли этот утешительный приз!»

Снег обычно у нас лежал считаные дни, не дольше, но матушка со смехом объявила, что американские боги погоды, видимо, приготовили для меня особую зиму, дабы я не скучала по дому. Во всяком случае, снег валил не переставая, и в окрестностях стали показываться санки — лёгкие повозки со смеющимися дамами в мехах и ярких развевающихся шарфах. Точно сцена из

спектакля. Не то что у нас в Этиго, где мужчины в соломенных сапогах тянут по высоким сугробам тяжёлые сани — их мастерили для трудов, не для развлечений — и ритмично напевают «Эн — яра-я! Эн — яра-я!». Я скучала по чистоте безоблачных небес Этиго, по заснеженным склонам гор, ведь в Америке через считаные дни угольный дым украл свежесть и белизну нашего снега — правда, радости детям не испортил. На каждой лужайке стояли Дарума-сама, улицы заполонили мальчишки, играющие в снежки. Как-то раз из окна я увидела задорную снежную битву: горстка мальчишек осаждала своих героически оборонявшихся товарищей, те спрятались за двумя бочками и доской с наваленным под неё снегом. Когда нападающие объявили перемирие и побежали за подкреплением, я подняла окно и громко зааплодировала.

Мальчишки веселились, я же, глядя на грязные их следы на снегу и закопчённые снежки, вспоминала рассказы Иси о снежных боях, которые некогда, в первые годы жизни матушки в Нагаоке, устраивали во дворе старого особняка. В ту пору жизнь в домах даймё даже маленьких городков при замках строилась на обычаях, принятых при дворе сёгуна, и также отличалась праздной

роскошью, пусть и в меньшей степени.

Если зима запаздывала — а время от времени такое случалось, — первый снег бывал лёгкий, сухой. Наутро после первого снегопада Этиго заливало холодное солнце, белая земля сверкала, мужчины откладывали мечи и, аккуратно подвернув хакама, выбегали в просторный открытый двор. Вскоре к ним присоединялись женщины, подвязав нарядные шлейфы и перехватив шнурками длинные яркие рукава. Все разувались — ни гэта, ни даже сандалий, ведь это нарушит девственную белизну снега, — и в одних белых носках-таби, без головных уборов (только шпильки звенели в причёсках!) затевали снежный бой. Смеялись, носились, играли, снежки летали по воздуху, попадали в цель, там и сям мелькали яркие рукава и чёрные волосы, припорошённые снегом. Наши старые служанки часто рассказывали мне об этих весёлых деньках, а Бааяя[65], самая древняя из них, лишь покачивала головой и вздыхала, поскольку бедная Эцубо не знает такого веселья, разве что взбирается на уличные сугробы да, обув соломенные сапожки, по дороге в школу и из школы бегает с сестрою

[65] Примечания: 65

«В пару к Дзия», дословно — обозначение служанки-дворецкой. — *Прим. науч. ред.*

взапуски.

Дети наших американских соседей не бегали взапуски в сапожках, зато катались с горок. Местность у нас была холмистая, и едва ли не каждая лужайка имела уклон, но снега было немного, и никто не хотел, чтобы ему примяли или вырвали с корнем траву. Тротуары, конечно же, чистили, а кататься по проезжей части запрещалось. Старшие мальчики отыскали несколько длинных горок и никого туда не пускали, так что детям помладше оставалось только стоять и ждать, пока чей-нибудь старший брат или добрый приятель не сжалится и не прокатит.

Как-то раз я увидела возле наших железных ворот стайку деток — четыре девочки, может быть, пять — с двумя красными санками; девочки с тоской глядели на нашу длинную покатую лужайку.

— Если их пустить, полозья оставят коричневые следы на лужайке, и это испортит всю красоту, — сказала я матушке.

— Дело не в красоте, Эцу, — ответила матушка, — траву их санки, возможно, и не повредят, но кататься тут слишком опасно. Им придётся пересекать две гравийные дорожки, в конце лужайки — крутой обрыв, а снизу каменная стена. Правда,

не слишком высокая, и санки могут перескочить через неё и упасть вниз, на дорогу, а это четыре фута. Я опасаюсь так рисковать.

В тот день, направляясь с матушкой на встречу дамского клуба, мы проходили мимо дома доктора Миллера. Лужайка у него была маленькая, но одна из самых красивых и ухоженных в городке. Ровный и довольно крутой уклон начинался у самой дороги и заканчивался плоской площадкой. Там собралась по меньшей мере дюжина детей, в том числе и те грустные девочки с красными санками, которых я видела утром. На склоне уже виднелись длинные плавные следы от полозьев, и то и дело сани летели вниз с приникшей к ним визжащей, кричащей детворой. А чуть поодаль румяные, красноносые, запыхавшиеся дети тянули сани вверх по склону и что-то кричали — без всякой причины, просто потому, что им весело как никогда.

День за днём, пока снег не сошёл, на склоне собиралась детвора, и у каждого ребёнка, скатившегося с ровной горки, и у каждого, кто с трудом поднимался обратно, глаза смеялись, сердце ликовало, а в душе зарождалось бескорыстие, доброта и благочестие: всё это посеял добрый поступок человека, сумевшего понять детей.

Мой отец сделал бы так же. И впоследствии всякий раз при встрече с доктором Миллером — даже случайной, на улице, — я всматривалась в его приятное, серьёзное и умное лицо и видела душу моего отца. То есть, конечно, не видела, но ощущала — и знала, что однажды две эти прекрасные души встретятся по ту сторону реки Сандзу[66] и обязательно станут друзьями.

Январь подарил нам с Мацуо собственный тихий праздник. В предшествующие недели письма из Японии приходили всё чаще, почтальон то и дело приносил нам бандероли, завёрнутые в вощанку, с овальной печатью дома дядюшки Отани или с большой квадратной печатью Инагаки.

В одной из таких бандеролей обнаружился тонкий пояс из мягкого белого хлопка с красными кончиками и два поздравительных символа — белый и красный аистёнок из рисового теста.

То были подарки матушки на «торжество пяти месяцев», особый праздник, который устраивают будущие родители. Моя любящая, внимательная, далёкая мама! Слёзы навернулись мне на глаза, когда я объясняла, в чём суть этого праздника, моей американской матушке — та, всей душой

[66] Примечания: 66

В японской буддийской традиции река Сандзу — граница между миром живых и мёртвых.

проникшись священной церемонией, спросила меня, какие приготовления требуются по японским обычаям.

На этом торжестве, кроме мужа и жены, присутствуют только женщины из обоих семейств. Будущий отец садится рядом с женой, и в рукава его одежды слева направо продевают кушак, потом обвязывают этим же поясом жену. Отныне считается, что она «удалилась от дел», и её развлечения, пищу, чтение, физические упражнения называют подготовкой к грядущему. Именно для этой поры предназначены яркие светлые шары из разноцветного шёлка, которые встречаются в американских лавках.

В посылке с поясом была открытка на счастье от моей доброй Иси. Та ходила за этой открыткой в храм Кисимбодзин, «Демоницы материнского сердца», — путь до него занимает целых два дня, — искренне веря, что клочок бумаги с таинственными символами убережёт меня от всех бед.

Согласно древней легенде, во времена Будды жила-была многодетная мать, такая бедная, что ей нечем было прокормить детей, и она в беспомощном отчаянии наблюдала, как они голодают. Наконец от невыносимой муки её сердце любя-

щей матери превратилось в сердце демоницы. Каждую ночь она бродила по земле и воровала младенцев, чтобы, в соответствии со зловещими обычаями демонов, накормить ими своих детей. Имя её наводило ужас. И тогда премудрый Будда, зная, что, сколько бы у женщины ни было детей, нежнее всего она любит младшего, забрал у неё ребёнка и спрятал под своей миской для пожертвований. Мать слышала голос ребёнка, но не могла его отыскать и обезумела от горя и тоски.

— Вот видишь, — сказал милосердный Будда, возвращая ей в руки младенца, — у тебя тысяча детей, а у большинства женщин всего десять, и всё равно ты оплакивала утрату одного-единственного ребёнка. Подумай о муках других матерей, пожалей их, как жалеешь саму себя.

Мать благодарно прижала ребёнка к груди, увидела в его ручонках гранат и узнала волшебный плод, неувядающая свежесть которого способна напитать весь мир. Раскаяние и признательность исцелили её сердце, и она поклялась стать любящей покровительницей всех маленьких детей. Вот почему во всех храмах богиню Кисибо изображают в виде женщины с лицом демоницы; она стоит в окружении детей посреди занавесей и украшений из граната.

Воспоминания об этом нахлынули на меня, когда я шила изящные крошечные одёжки и над каждой шептала молитву, чтобы у меня родился мальчик. Я хотела сына не только потому, что каждая японская семья предпочитает передавать своё имя ребёнку родному, а не усыновлённому, но и не без эгоистичной мысли: если я первым рожу мальчика, оба наших семейства — и моё, и Мацуо — будут мною гордиться как матерью сына. Мы с Мацуо отнюдь не считали, что женщина хуже мужчины — мнение, распространённое среди японцев всех сословий, — но закон и обычаи такие, какие есть, и если в семье не было сына, это считалось недостатком, да что там, сущим несчастьем, поэтому, если первым рождался мальчик, новоиспечённых родителей поздравляли куда как охотнее.

Девочкам в японских семьях тоже радовались. Если в доме одни сыновья, а дочки нет — это тоже несчастье, лишь немногим меньшее, чем когда одни дочки и нет сыновей.

Законы нашей семейной системы создавались с оглядкой на традиции, которые основывались на древних верованиях; все они были хорошими и разумными — для своего времени. Но жизнь не стоит на месте, времена сменяют друг друга, по-

рой развитие стопорится; для людей передовых это мучение. Тем не менее, пожалуй, для немногих передовых разумнее и добрее по отношению к озадаченному большинству приспособиться до известной степени к отмирающим верованиям, не противиться им с избыточным ожесточением — разве что это дело принципа, — ведь мы всё же развиваемся, пусть медленно, но развиваемся. Природа не суетится, а японцы во всём учатся у природы.

Матушка была талантливым садоводом: у неё всё цвело, и весной на вьющейся розе, тяжёлым парчовым пологом завесившей с одной стороны нашу веранду, появилась масса бутончиков. Однажды утром я вышла проводить Мацуо, остановилась у роз, гадая, когда они зацветут, и ко мне присоединилась матушка.

— Здесь сотни бутонов, — сказала я. — Скоро наша веранда превратится в прелестное местечко. Сколько же удовольствия мы, японцы, упускаем из-за предрассудков! Мы не замечаем красоту роз оттого, что у них коварные шипы.

— Зато сколько удовольствия дарят вам традиции, — с улыбкой откликнулась матушка. — Как в стихотворении, которому ты научила меня вчера вечером:

Духом светел и чист,
не подвластен ни грязи, ни илу,
лотос в тёмном пруду —
и не диво, что жемчугами
засверкала роса на листьях…[67]

Есть ли у вас другие «учителя» среди цветов?

— Скромная слива, — выпалила я, — что цветёт даже под снегом: это цветок невесты, поскольку он учит стойкости и отваге.

— А сакура? — спросила матушка.

— О, она тоже значит многое, — поспешно ответила я.

Как мне милы цветы
вешних вишен, что уж опадают,
не успев расцвести!
Никого в нашем бренном мире
тот же скорбный конец не минует…[68]

— Браво! — Матушка захлопала в ладоши. — Да

---

[67] Примечания: 67

Стихотворение Ёсимине-но Мунесада, известного также как Хэндзё, (816–890), одного из шести «бесмертных». Перевод с японского Александра Долина.

[68] Примечания: 68

Неизвестный автор, перевод с японского Александра Долина.

у нас с тобой настоящее, пусть и не самое профессиональное, поэтическое состязание. Ты знаешь ещё стихотворения о цветах?

— Да, о вьюнках!

И я процитировала по-японски:

На глазах у меня
окраска вьюнка потемнела —
под прозрачной росой
переходит пурпурный отсвет
в синеватый, густо-лиловый…[69]

— Ах, матушка, мы с вами совсем как в Японии! У нас друзья частенько собираются вместе и пишут стихотворения. Потом встречаются на празднике любования цветущими деревьями (Ханами) и развешивают эти стихотворения на ветвях; или на праздниках созерцания луны (Цукими) садятся при свете луны и сочиняют стихотворения. Есть одно такое местечко, где лунный свет падает на равнину рисовых полей и со склона горы видно серебристое отражение на каждом рисовом поле. Как же это чудесно! А после расходятся по домам, чувствуя покой и умиротворение — и с новыми мыслями.

---

[69] Примечания: 69
Ятабэ-но Надзане (?–900). Перевод с японского Анны Глускиной.

— Ах! — воскликнула матушка, устремилась к двери и добавила, оглянувшись через плечо: — Наше поэтическое состязание и меня навело на новую мысль! — С этими словами она скрылась в доме.

Оказалось, наш разговор напомнил ей о пакетике семян вьюнка, которые ей прислала подруга, узнав, что у неё поселилась японка.

— Совсем о них позабыла, — пояснила вернувшаяся матушка, сжимая в руках лопатку. — Эти семена собрали с побегов, которые моя подруга вырастила из семян, привезённых из Японии. Подруга уверяет, что цветы чудо как хороши, четыре, а то и пять дюймов шириной. Где же мы их посадим? Нужно выбрать достойное место для прекрасных семян японского происхождения.

— Я как раз знаю такое место! — воскликнула я польщённо, отвела матушку к нашему старому колодцу и рассказала ей легенду о девушке, которая отправилась к колодцу за водой, увидела, что ручку ведра оплёл вьюнок, и ушла, дабы не оборвать его нежный усик.

Матушке понравился рассказ, и она посадила семена вьюнка вокруг колодца, я же снова и снова тихонько мурлыкала старинное стихотворение:

За ночь вьюнок обвился

Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму![70]

Мы увлечённо следили, как побеги вьюнка тянут сильные руки, карабкаются наверх. Матушка частенько говорила:

— Появятся цветы, а с ними и ребёнок.

Однажды утром я увидела в окно, что матушка с Кларой стоят у колодца. Они разглядывали вьюнки и что-то оживлённо обсуждали. Я поспешила спуститься и выйти к ним. Бутончики раскрылись, но были бледные, слабые и вполовину меньше того, что нам обещали, — словом, ничуть не походили на величественные цветы, которыми так дорожат в Японии. Я вспомнила, что где-то читала: японские цветы не любят чужую почву и после первого года постепенно усыхают. Сердце моё защемило от суеверного страха: я вспомнила, как эгоистично молилась о сыне, и поклялась принять с благодарностью и сына, и дочь, лишь бы младенец не родился таким же слабым, как цветок, пересаженный на чужую почву.

А потом родилась наша доченька — благополучно, крепенькая и милая — и объединила в

---

[70] Примечания: 70

Стихотворение поэтессы Тиё-ни (1703–1775), перевод с японского Веры Марковой.

своём идеальном детстве традиции Америки и Японии. Я быстро забыла о том, что когда-то хотела сына, а Мацуо, как только увидел дочурку, сразу же вспомнил, что девочки ему всегда нравились больше мальчиков.

Уж не знаю, помогла ли бумажка с благословением Кисимбодзин, но внимание и забота моей дорогой Иси согревали моё сердце в эти первые недели, когда я так тосковала по её мудрости и любви. Но всё-таки хорошо, что Иси со мною не было: вряд ли она приспособилась бы к нашей американской жизни. Нежная и хлопотливая японская нянюшка, воркующая над свёртком из крепа и парчи, что качается в шёлковом гамачке у неё за плечами, не сладила бы с моим подвижным ребёнком, вскоре выучившимся довольно гулить и бесцеремонно хвататься за папину голову, когда он сильными руками подбрасывал её вверх.

Мы решили растить дочь со всею здоровой вольностью, какой пользуется американский ребёнок, но имя ей дать захотели японское.

Имя Мацуо значит «сосна», символ силы, моя фамилия Инагаки — «рисовое поле», символ пользы.

— То есть наша дочь уже сочетает в себе силу

и пользу, но у неё должна быть ещё и красота. Давай назовем её в честь нашей доброй американской матушки, чьё имя в переводе означает «цветок».

— А если взять старинное окончание, — воскликнула я восторженно, — это будет значит «иностранные поля» или «чужой край».

— Ханано — цветок в чужом краю! — вскричал Мацуо и захлопал в ладоши. — Что может быть лучше.

Матушка согласилась, и всё было решено.

Глава XXII. Цветок в чужом краю

После рождения ребёнка вся моя жизнь на протяжении долгих месяцев вращалась вокруг крохотного человечка. Куда бы я ни ходила, кто бы ко мне ни пришёл, разговор неизменно крутился вокруг Ханано, и матушке я писала по большей части о том, что её внучка прибавила несколько унций, выучилась по-новому гулить и ворковать, а когда она улыбается, у неё на щеках появляются ямочки. Должно быть, матушка усмотрела в моей пылкой привязанности зерно избыточно эгоистичной любви, поскольку однажды прислала мне буддийские книги с картинками из отцовской библиотеки. Как дорог был мне их знакомый облик! Текста в книгах не было, только изображения, но, листая страницы, я снова слышала кроткий голос досточтимой бабушки, и сказания старины вставали перед моим мысленным взором так же явственно, как и в дни моего детства. Некоторые страницы матушка отметила алой точкой. На одной из

них был фрагмент из «Горы копий»[71], истории о том, как любимый ученик Будды так горько оплакивал смерть матери, что учитель сжалился над ним и своею божественной властью перенёс скорбящего сына туда, откуда он увидит мать. Ученик с ужасом наблюдал, как его дорогая мать мучительно взбирается на гору по тропинке из острых копий.

— О, добрый учитель, — возопил ученик, — ты привёл меня в «ад семи гор». Почему моя матушка здесь? Ведь за всю свою жизнь она никому не сделала зла.

— У неё были злые помыслы, — возразил Будда. — Когда ты был маленьким, она думала лишь о тебе, и однажды, увидев маленькую полёвку, которая весело играла, твоя мать так сильно захотела сделать из её серенького шелковистого хвостика шнурок для твоего праздничного наряда, что её мысленное желание приравняли к убийству.

Я с улыбкой закрыла книгу; я сразу же поняла безмолвное предостережение моей кроткой заботливой матери, но сердце моё переполняла благодарная любовь, я почтительно поклонилась

---

[71] Примечания: 71

В буддийских адах есть гора, утыканная копьями и мечами. — *Прим. науч. ред.*

в направлении Японии и дала себе слово, что ради любви к своему ребёнку стану относиться внимательнее и нежнее ко всему миру.

Одной из первых нашу доченьку проведала Минти, наша верная чернокожая прачка. Она годами обстирывала матушку, а когда я приехала, Минти по доброте сердечной взвалила на себя дополнительное бремя — стирать мою странную одежду. Она ни разу ни словом не обмолвилась о том, что мои вещи не такие, как прочие, но я нет-нет да замечала, что Минти разглядывает их с интересом, особенно белые носки-таби. Их шили из хлопка или шёлка, большой палец торчал отдельно, как у варежек. Когда Минти пришла наверх взглянуть на младенца, нянюшка держала Ханано на коленях, и Минти тотчас же принялась сюсюкать, ворковать и цокать языком.

Наконец Минти подняла глаза.

— Можно взглянуть на её ножки? — спросила она.

— Конечно, — ответила няня, подняла подол длинного платья Ханано и показала ей розовые детские ножки.

— Батюшки-светы! — в величайшем изумлении воскликнула Минти. — Ну совсем как у нас!

— Разумеется, — удивлённо подтвердила ня-

ня. — А вы как думали?

— Ан чулок-то двойной, — едва ли не с трепетом пояснила Минти, — вот я и рассудила, что у них на ногах всего два пальца.

Нянюшка рассказала об этом моему мужу, он хохотал в голос и наконец сказал:

— Вот Минти и отомстила за все народы Европы, поквиталась с Японией.

Нянюшка не поняла, что он имел в виду, а я сразу же догадалась. В моём детстве среди простых японцев широко бытовало поверье, будто бы у европейцев ступни как лошадиные копыта, потому что вместо сандалий они носят мешки из кожи. Поэтому одно из наших старинных названий для иностранцев — «люди с одним пальцем на ноге».

Ни я, ни матушка толком не знали новейших воспитательных методик, так что я укачивала Ханано под колыбельную. Возможно, сказалось влияние иноземного окружения, но мне казалось куда естественнее петь дочке «Спи, малыш, усни скорее!», чем старинную японскую колыбельную, которую мурлыкала Иси, укачивая меня, уютно устроившуюся у неё на спине.

Спи, малыш! Спи, малыш!
Куда ушла твоя нянюшка?

Она отправилась далеко,
Через холмы и долины
К твоей бабушке.
И вскоре тебе принесёт
Рыбу и красный рис,
Рыбу и красный рис.

А вот молитва, которую, едва выучившись говорить, Ханано лепетала на ночь, когда я укладывала её спать, вошла в нашу жизнь отнюдь не под влиянием иноземного окружения. Всё началось в тот день — очередной «памятный камень», — когда ко мне приехали мои чудесные «Повести западных морей». В одной из тоненьких книжиц с жёсткой бумагой, перехваченных шёлковым шнурком, была песенка, которую я затвердила наизусть, ещё не зная, что долгие годы спустя, облекши в диковинные иностранные слова, научу ей свою доченьку. Вот эта песенка:

Варэ има инэнтосу.
Вага Ками вага тамасий-о маморитамаэ.
Моси варэ мэдзамэдзуситэ синаба,
Сю ё! вага тамасий-о сукуэтамаэ.
Корэ, варэ-Сю-но нани ёритэ нэготоко-

ро нари.

Спать ложусь на склоне дня —
Боже, защити меня!
Коль умру я до зари —
Душу, Боже, забери!
Христа ради, забери!

В японском языке есть пословица: «Только пальцы ребёнка способны завязать узел, объединяющий две семьи». Свадьба в Японии — не личный выбор жениха и невесты, и я никогда не относила эту пословицу к нам с Мацуо, но однажды некая таинственная сила превратила эту истину в случай, который неведомо как сыграл важную роль в жизни моей и мужа.

Мацуо всегда вкладывал в своё дело всю душу. По-моему, до рождения нашей дочери для него в принципе не было ничего важнее работы. Мы жили с ним очень дружно, но редко общались друг с другом, разве что при гостях. У нас попросту не находилось общих тем для разговоров: Мацуо интересовали собственные планы, мои же мысли занимало хозяйство и мои новые подруги. Но с того самого дня, как появилась на свет наша доченька, всё изменилось. Теперь нам с Мацуо

было что обсудить, и я лучше узнала мужа.

Но в глубине души я всегда считала, что дочка только моя. Она ни в чём не походила на Мацуо, да мне этого и не хотелось. То есть я не расстроилась бы, если бы она была на него похожа, но неизменно верила, что по-настоящему Ханано принадлежит исключительно мне и моей семье.

Как-то раз, оказавшись в городе, я ненадолго зашла в лавку к мужу. Он был занят, я ждала его в кабинете. На столе у него царил беспорядок; впереди, в просторном отделении для бумаг, лежала вещица, какую я не думала увидеть в захламлённом рабочем кабинете: лакированная шкатулочка преизящной работы, с гербом, какой редко увидишь за пределами музеев. Я подняла крышку, и моему изумлённому взору предстали три странных предмета: зелёный бумажный волчок, кусочки глины, которой детские пальчики придали необычную форму, и сдувшийся воздушный шарик.

Я застыла как вкопанная, сердце моё колотилось; я почувствовала себя так, будто бы не спросясь заглянула в душу незнакомца, и отвернулась. Я вдруг осознала, что есть ещё один человек, который любит мою доченьку так же сильно и нежно, как я; сердце моё, полное раска-

яния, со странным новым чувством устремилось к моему мужу.

На детство Ханано немало повлияли частые визиты и неизменная доброта нашей замечательной подруги миссис Уилсон. Не было случая, чтобы она не принесла матушке цветы; на Пасху и семейные годовщины наши гостиные пестрели цветами из её изобильной оранжереи.

Как-то раз Ханано — ей тогда едва минул год — сидела у окна на коленях у матушки и вдруг увидела на подъездной дорожке знакомый экипаж. Он остановился, из него вышла миссис Уилсон, подняла глаза, заметила Ханано, помахала ей рукой в белой перчатке и улыбнулась. Солнце освещало её величественную фигуру в платье нежного лилового оттенка; в руках миссис Уилсон держала букет цветов.

— Ой, ой! — воскликнула малышка, радостно хлопая в ладоши. — Красивая дама с цветами! Красивая дама с цветами!

Так окрестил миссис Уилсон младенец в сердце своём, и с тех пор мы нашу подругу иначе как «Дама с цветами» не называли. Пусть все цветы, которые некогда столь щедро расточала её рука, расцветут эмблемами счастья и мира, когда она очутится в прекрасных садах за рекой.

С тех самых пор, как Ханано стала узнавать отца, он приносил ей игрушки, а когда она пошла и залопотала, он едва ли не всё свободное время проводил за играми с ней, носил её на руках и даже брал с собой в гости к соседям.

Однажды в воскресенье — Мацуо с Ханано как раз куда-то уехали — матушка сказала:

— Я не знаю отца преданнее, чем Мацуо. Неужели все японцы настолько самозабвенно занимаются своими детьми?

— Признаться, понятия не имею, — медленно ответила я. — Разве американцы не любят своих детей?

— Любят, — быстро ответила матушка, — но Мацуо каждый вечер возвращается домой пораньше, чтобы поиграть с Ханано, а позавчера так и вовсе на целый день закрыл лавку, чтобы сводить Ханано в зоосад.

Я подумала о своём отце, о господине Тоде и прочих отцах и вдруг увидела японских мужчин в новом свете. «У них нет такой возможности! — с горечью подумала я. — Мужчины в Америке могут без смущения выказывать симпатию, японца же сковывают условности. Они надевают на него маску, смыкают его уста, лишают его поступки всякого чувства. Как бы муж ни отно-

сился к жене, он не может на людях проявлять к ней любовь и даже уважение, да она этого и не хочет. Ведь это считается дурным тоном. И лишь с маленьким ребёнком — своим ли, чужим — благородный муж осмеливается дать волю сердцу. Вот единственная его отдушина, которую допускает этикет, но и тогда мужчина обязан сообразовывать свои поступки с его правилами. Отец становится товарищем своему маленькому сыну. Он занимается с ним борьбой, бегает взапуски, устраивает самурайские поединки, дочку же любит с безграничной нежностью и принимает её ласки всей душой, измученной жаждой: вот где истинная трагедия».

Мацуо выражал чувства ко мне более открыто, чем было принято в Японии: там это сочли бы невоспитанностью. Однако мы всё-таки оба чтили традиции, и лишь много лет спустя я осознала, как глубоко мой муж нас любит.

После того разговора с матушкой и мыслей, которые он во мне пробудил, я стала укладывать Ханано позже, чтобы она повозилась с отцом, хотя все дети в это время должны уже спать. Одним лунным вечером я вышла из дома и увидела, что они бегают по лужайке, гоняются друг за другом, а сидящая на крыльце матушка смеётся

и аплодирует. Мацуо и Ханано играли в «тень ловит тень»[72].

— Я в детстве тоже играла в это лунными вечерами, — сказала я.

— Неужели в Японии есть луна? — изумилась Ханано.

— Эта же самая, — ответил её отец. — И во всю твою жизнь, куда бы ты ни поехала, непременно увидишь её на небе.

— Значит, она ходит за мною, — удовлетворённо заключила Ханано, — и когда я поеду в Японию, Бог увидит мою японскую бабушку.

Мы с Мацуо озадаченно переглянулись. Ханано всегда считала, что луна — это лицо Бога, но я только позже узнала, что в тот день она услышала, как гостья матушки сказала: «Жаль, что такая красивая страна, как Япония, живёт без Бога».

Необычная мысль Ханано меня удивила, но дочка обрадовалась, и я не стала ей объяснять, что к чему. «Она и сама вскоре всё поймёт в этой практичной стране», — рассудила я со вздохом. В Японии дети избавлены от множества мучительных вопросов, поскольку наши люди в

---

[72] Примечания: 72

Речь о кагэфуми — игре, похожей на пятнашки. Один из играющих становится «людоедом», и он должен наступить на тень другого играющего, чтобы превратить его в «людоеда». — *Прим. науч. ред.*

большинстве своём питают нежность к детским иллюзиям даже до старости и вероятность, что поэтические выдумки вдруг развеют, не так велика. Повседневная жизнь Японии проникнута мистическим мышлением. Невидимые силы, что населяют воздух и землю, куда реальнее, чем окружающая действительность, и едва ли не все японцы что ни день замечают признаки присутствия добрых духов. Почти ко всем нашим богам мы относимся как к добрым друзьям, и немудрёные ритуалы, которые мы обязаны ради них исполнять, неизменно пронизаны спокойным, приятным чувством уважения и благодарности. Мы не страшимся, что нас накажут за небрежение обязанностями — разве что упрекнут в недостатке почтения, а для японца это значит многое. Домашние святилища напоминают нам, что предки за нами присматривают, а мы демонстрируем им нашу признательность молитвами и благовониями. Бог огня помогает управляться на кухне, и в благодарность ему близ кухонного очага вешают амулеты. Добрый бог риса просит лишь не швырять мусор в огонь под котелком, в котором варится рис. Богиня воды, благословляющая реки и ручьи, требует, чтобы колодцы были чистыми. Семь божеств удачи — Трудолюбие,

Благополучие, Мудрость, Сила, Красота, Счастье и Долголетие[73] — видны повсюду, и всюду их привечают с улыбкой; фигурки Трудолюбия и Благополучия, коих торговцы чтят больше прочих, в каждой лавке ставят на видное место, откуда они благосклонно взирают на хозяина, внушая ему уверенность, что друзья его рядом. Страшные божества у дверей храмов нас ничуть не пугают, ведь они — свирепые сторожевые псы, что хранят нас от опасности, а боги воздуха — Гром, Ветер и Дождь[74] — пекутся о нашем благе. Выше всех этих младших божеств — богиня Солнца, прародительница наших императоров: её добрый заботливый свет оберегает наши края.

Все эти божества относятся и к синтоистскому, и к буддистскому пантеону, поскольку народные верования соединяют обе религии. Как правило, они никого не запугивают, хотя демоны из преисподних — если всерьёз относиться к тому, как их изображают в старинных буддийских книгах, — бесспорно, внушают страх, но даже они даруют каждому грешнику два дня в год, когда

---

[73] Примечания: 73

Эбису, Дайкоку, Бисямонтэн, Бэндзайтэн, Фукурокудзю, Хотэй, Дзюродзин. — *Прим. науч. ред.*

[74] Примечания: 74

Райдзин, Фудзин и Самэгами. — *Прим. науч. ред.*

он, раскаявшись, может духовно возвыситься. Таким образом, для японцев даже печальный и непростой путь реинкарнации, по которому зачастую бредут лишь ощупью, в конце концов, после длительного отчаяния и мрака, приводит к надежде.

Буддизм пришёл в Японию из Индии и за это многовековое путешествие явно утратил многие изначальные пугающие элементы — но, может, они смягчились, а там и исчезли в славном обществе наших добродушных и услужливых синтоистских богов. Их мы ничуть не боимся, поскольку в синтоизме даже смерть — только облако, на котором мы летим, осиянные вечной жизнью Природы.

Наши законы и правила, сочинённые человеком, куда сильнее определяют жизнь людей и оставляют отпечаток в душе, нежели наши боги. Наша мудрёная вера вызывает интерес людей мыслящих и учит подлинному смирению, однако не направляет невежд в постижении мудрости и не подаёт тем, кто в скорби или раздумьях, немедленного утешения, радости и надежды, свойственных вере в бедного смиренного проповедника из Назарета.

Глава XXIII. Тиё

Ханано, узнав, что луна, её верная подруга, последует за нею всюду, куда бы она ни поехала, заинтересовалась историями о луне. Я решила пока не рассказывать ей легенду о белом кролике, обречённом вечно молоть рисовую муку в большой деревянной чаше: его тень японские дети видят каждое полнолуние. Но всё же, чтобы дочь не идеализировала американскую легенду, я рассказала ей о том, что в Японии целые семьи или компании друзей собираются в красивой открытой местности, чтобы полюбоваться луной, пишут стихи, в которых превозносят сверкающие листья ипомеи: осенью она придаёт земле красок (в Америке эта пора называется индейским летом).

Однажды вечером мы сидели на крыльце задней гостиной и глядели на плывущую по небу ясную полную луну. Я рассказывала Ханано, что в Японии в этот же самый вечер в каждом доме — и во дворце императора, и в хижине самого простого его подданного — на крыльце или в саду, откуда видно сияние полной луны, стоит столик

с фруктами и овощами, непременно округлыми и разложенными определённым образом в честь богини луны.

— Какая прелесть! — воскликнула Ханано. — Вот бы мне побывать там и это увидеть!

Сзади послышалось шуршание газеты.

— Эцу, — окликнул Мацуо, — есть детская история об этом празднестве. Помню, однажды, когда мы со старшей сестрой дразнили нашу младшую сестричку, девочку очень робкую, наша тётушка рассказала нам историю о госпоже Луне и каверзах кумушки Тучи и бога Ветра, которые в августовское полнолуние попытались испортить ей удовольствие.

— Ой, расскажи! — воскликнула Ханано, захлопала в ладоши и побежала к отцу.

— Рассказчик из меня средненький, — признался Мацуо и вновь закрылся газетой, — но мама наверняка знает эту историю. Эцу, расскажи ей.

Ханано вернулась на веранду, а я попыталась вспомнить полузабытую историю о госпоже Луне и её завистниках.

Однажды погожим августовским вечерком красавица госпожа Луна сидела за туалетным столиком. Припудрив пуховкой яркий свой лик, дабы смягчить его и прояснить, она сказала себе:

— Сегодня мне никак нельзя разочаровать людей на Земле. «Досточтимое пятнадцатое» они ждут с таким нетерпением, как никакой другой вечер года, ведь в эту пору моя красота в зените славы.

Госпожа Луна чуть повернула зеркало и оправила пушистый воротничок.

— Что за скучная жизнь — никаких тебе дел, лишь красуйся да улыбайся! Но чем ещё мне порадовать мир? Значит, сегодня я буду светить как нельзя ярче. Да и к тому же, — добавила госпожа Луна и взглянула с балкона на Землю внизу, — обязанность эта приятная, тем паче сегодня!

Неудивительно, что она довольно улыбнулась: ведь целый мир украсили в её честь. В каждом городе, большом и маленьком, в каждой деревушке, каждой одинокой хижине на склоне горы, каждой утлой рыбацкой лачуге на берегу у дверей или на веранде — так, чтобы видела госпожа Луна, — ставили столик с драгоценными подношениями. Были там и о-данго из рисовой муки, и сладкий картофель, и каштаны, и хурма, и горошек, и сливы, а посередине — два круглых кувшинчика-токкури для саке, а в них сложен-

ные плотные белые бумажки[75]. Все предметы тщательно подобраны таким образом, чтобы их форма стремилась к идеальному кругу, поскольку круг — символ совершенства, а в такой вечер чистой и совершенной небесной госпоже подобает показывать только лучшее.

Кумушка Туча, соседка госпожи Луны, завистливо глазела в затуманенное окно. Она видела, как на Земле украшают дома в честь её соседки, слышала шёпот молитв, несущихся в небеса из уст молоденьких девушек: «Великая тайна! Сделай душу мою чистой, как лунные лучи, а жизнь идеальной, как круглый и яркий лик госпожи Луны!»

Слушая эти слова, кумушка Туча так яростно трясла юбками, что зонтики, украшавшие их, раскрылись, и кумушка Туча едва успела их подхватить, чтобы вода, которая их наполняла, не пролилась вниз. И всё равно землю окатили брызги, сверкающие в лунном свете, так что люди в изумлении воззрились на небо.

— Я такого не видывала с прошлого августа, — раздражённо сказала кумушка Туча. — Кажется, во всех вазах на земле стоят луноцветы, на вы-

---

[75] Примечания: 75
Речь о микигути. — *Прим. науч. ред.*

чищенных до блеска крылечках лежат лучшие подушки, чтобы почтенные старцы и старицы сели полюбоваться госпожой Луной во всём её великолепии. Это несправедливо!

Кумушка Туча снова тряхнула юбками, и землю вновь окатили брызги дождя, сверкающие в лунном свете.

Мимо как раз пролетал Бог ветра, крепко сжимая в руках мешок с ветрами. Кумушка Туча поймала его угрюмый взгляд и крикнула:

— Добрый вечер, Кадзэ-но ками-сан! Рада вас видеть. Похоже, вы ищете, не найдётся ли для вас дельца.

Бог ветра остановился, уселся рядом на облаке, по-прежнему крепко сжимая края своего мешка.

— Земные жители престранные создания! — посетовал он. — Госпожа Луна живёт в мире небесном, как и мы с вами, но они, кроме неё, ни о ком и не помышляют! Наградили её почетным титулом и пятнадцатого числа каждого месяца[76] устраивают празднества в её честь. Даже на третий день, когда она выбирается из своего подвала и показывает лицо, они приветствуют её с такой радостью, как будто — подумать только! — не

---

[76] Примечания: 76

Речь о полнолунии, поскольку месяц лунный. — *Прим. науч. ред.*

ожидали её увидеть!

— Да-да! — воскликнула кумушка Туча. — Особенно этот вечер в августе! И вечно они с тревогой вглядываются в небо, боятся, что мы с вами появимся, незваные и нежеланные.

— Ох уж этот августовский вечер! — презрительно выкрикнул Бог ветра. — Ну, сегодня я покажу этим земным созданиям, на что способен!

— Давайте повеселимся, — лукаво проговорила кумушка Туча, — налетим и перевернём всё, что выставили в честь госпожи Луны.

— Хо-хо-хо! — рассмеялся Бог ветра: эта мысль так ему понравилась, что он выпустил край мешка — и дунул ветер, ввергнув в оцепенение людей на земле.

Госпожа Луна безмолвно и спокойно улыбалась миру, ум её занимали мысли кроткие, бескорыстные, как вдруг Бог ветра с кумушкой Тучей беззвучно выскользнули из-за гор и отправились в долгий путь, чтобы появиться неожиданно со стороны моря. Но госпожа Луна заметила их и, раздосадованная и опечаленная, спряталась за покровом, в то время как её недруги с ликованием пронеслись по миру.

Ах, как ярились и бушевали ветер и дождь!

Бог ветра мчался по небу, толкая перед собой развязанный мешок с ветрами, а за ним по пятам с громким свистом следовала кумушка Туча, извергая потоки воды из сотен раскрытых зонтов на своих юбках.

Но какое же горькое их ждало разочарование! Раскатистый смех Бога ветра, на миг выпустившего край мешка, послужил предостережением востроглазым земным обитателям, пусть они и не видели клубов тумана, надвигающихся с гор. Все дома подготовились к грозе. Красивые столики исчезли, и порывы ветра с дождём разбивались о запертые деревянные двери. Бог ветра и кумушка Туча выли, визжали, метались, кружились, пока не выбились из сил, — и тогда Бог ветра, ворча, поспешил прочь, в свой дом за долиной, а за ним с плачем последовала кумушка Туча.

Когда всё стихло, печальная госпожа Луна подняла голову.

— Испортили мне удовольствие! — со вздохом сказала она. — Красивые украшения таятся в земных домах, а люди сомкнули глаза и уснули.

Но тут лик её озарила ослепительная улыбка, и госпожа Луна продолжала отважно:

— Но я исполню свой долг! Пусть никто меня не увидит, я буду лучиться улыбкой!

Она откинула покров и взглянула вниз, на мир. Её милое кроткое бескорыстие было вознаграждено: все двери домов распахнулись настежь и люди высыпали на веранды любоваться ликом Луны. Едва он явился, как ввысь устремились приветственные песни.

— Ах, посмотрите на красавицу госпожу Луну! — взывали голоса.

— Она вновь улыбается нам! После грозы она всегда вдвойне прекрасна, и мир радуется ей вдвойне!

— История очень поучительная, — задумчиво заметила Ханано. — Мне даже немного жаль бога Ветра и кумушку Тучу, но госпожа Луна просто чудо. Давайте накроем столик, как принято в Японии. Клара даст нам всё, что нужно, и будем с нашей веранды любоваться луной.

— У меня есть кое-что не хуже, — с этими словами Мацуо устремился к лестнице. — Постойте-ка.

Он принёс деревянный ящичек и поставил на стол. В ящичке был фонограф с записями на восковых валиках и с небольшой трубой, в неё можно было говорить и записывать голос. Мацуо через несколько дней уезжал по делам в Японию и выбрал фонограф в подарок для

моей матери, чтобы тот донёс до неё голосок её маленькой внучки. Мы позвали нашу американскую матушку и с увлечением наблюдали, как Мацуо налаживает аппарат. Потом он сел перед фонографом, посадил на колени Ханано, и они принялись репетировать. И лишь когда наша дочурка умильно залопотала по-английски, мы вдруг осознали, что её озадаченная бабушка не поймёт ни слова из сказанного.

Тут-то до нас и дошло, что мы вырастили в нашем японском гнёздышке американку и в Японии из-за этого нас ожидают трудности.

— Если б у нас был мальчик, — сказал мне в тот вечер Мацуо, — была бы причина тревожиться. Не хотел бы я готовить сына к жизни в стране, где ему при всех его способностях не позволили бы занять высочайшее положение, доступное гражданину.

— Да и дочери нашей, — откликнулась я, — незачем пускать корни в такой стране — но и в Японии ей тоже придётся несладко с одним лишь американским образованием.

Под влиянием этого разговора Мацуо привёз из Японии полный набор учебников — от садика и до старших классов школы — и пятиярусную подставку со всем необходимым для Хинамацури,

праздника кукол. Праздник этот весьма поучителен; его история насчитывает не одну сотню лет. Всякий, кто разбирается в его тонкостях, знаком с историей, фольклором, традициями и идеалами Японии. Набор куколок для праздника есть у каждой девочки, и после свадьбы она забирает его с собой в новый дом. Мацуо привёз из Японии моих куколок — тот самый набор, который брат отговорил меня везти в Америку.

Когда Мацуо привёз куколок, мы все отправились в просторный и светлый каретный сарай, Уильям открыл грубо сколоченный дощатый ящик, мы с Мацуо аккуратно достали из него гладкие коробочки из светлого дерева, все разных размеров, и в каждом лежала куколка. Взгляд мой упал на длинную плоскую шкатулку, завёрнутую в лиловый креповый платок с гербом Инагаки.

— Надо же, мама прислала камибина из Коморо! — изумлённо воскликнула я и почтительно поднесла шкатулку ко лбу.

— Я думала, все куклы из Коморо пропали, кроме тех двух, с которыми ты когда-то играла, — заметила наша американская матушка.

— Камибина другие, — пояснил Мацуо.

— Да, — согласилась я, — камибина другие. Они семейная собственность. Их нельзя ни продать,

ни подарить, ни кому-то отдать. Мама наверняка хранила их долгие годы и вот теперь прислала мне.

Я растрогалась, вдруг осознав ту истину, что я последняя из «досточтимой женской половины» рода Инагаки. Набор праздничных куколок принадлежит дочери; над делами домашними глава семейства никак не властен.

Ни один набор кукол, даже самый изысканный, не считается полным без этих двух длинных куколок причудливой формы. В старые времена их всегда делали из бумаги. Позже некоторые семьи, желая соригинальничать, мастерили их из парчи или крепа, но камибина даже из самой роскошной материи называли бумажными куклами[77] и придавали им такую же грубую форму, как некогда их примитивным прообразам. Когда набор готовят к празднеству, этим куколкам не отводят определённое место, как всем прочим, но ставят куда заблагорассудится — за исключением верхнего яруса: он предназначен для императора с императрицей.

Праздник кукол возник ещё в давнюю — тёмную — эпоху синтоизма. В ту пору грешники,

[77] Примечания: 77

Буквальный перевод с японского слова «камибина». — *Прим. науч. ред.*

взыскующие очищения, окунались в реки. Время и сила денег освободили мышление; ленивые и богатые привыкли посылать вместо себя кого-то другого. Ещё позже появилось убеждение, что достаточно и неодушевлённой жертвы в образе человека: тогда-то и стали мастерить куколок из самого любимого и дорогого. Например, крохотные деревянные катушечки, два кокона или просто пучки шёлка незамысловатой формы — самое ценное, что есть в деревнях ткачей, а в тех регионах, где развито земледелие, — даже фигурки из овощей. Но их непременно было две, мужская и женская, они олицетворяли собой всю семью — и мужчин, и женщин. Со временем куколки, вырезанные из бумаги — в древности она стоила очень дорого, — распространились повсеместно, их стали называть «камибина», то есть бумажные куколки.

В конце концов выбрали общую для всех дату праздника — «первый день змеи третьего лунного месяца», потому что это время, когда дракон меняет кожу, символизирует переход от зимнего мрака греха к свету и надежде весны. Эту традицию соблюдают и по сей день.

В пору сёгуната, когда император считался особой священной и видеть его было нельзя, этот

праздник олицетворял ежегодный визит незримого правителя, дабы показать интерес к своему народу и тем самым укрепить преданность к любимому, пусть и невидимому императору. В эпоху феодализма, когда у самураев жена в отсутствие мужа исполняла его обязанности, а детей поручали заботам знатных помощников, этот праздник в подобных семьях был единственной возможностью для девочек поучиться вести хозяйство — обязательный навык для каждой маленькой японки.

Лунный календарь передвинул «первый день змеи» на 3 марта, и после того как нам прислали набор куколок для Ханано, мы каждый год отмечали эту дату, как принято в Японии. Пятиярусную подставку устанавливали в гостиной и накрывали красной тканью. На подставку ставили миниатюрные фигурки императора, императрицы, придворных дам, музыкантов и различных слуг. Была ещё и кукольная мебель, и домашняя утварь. На нижних ярусах размещали столики с блюдами, которые Ханано готовила самостоятельно (я ей самую чуточку помогала) и угощала своих подружек — они всегда охотно присоединялись к ней. Вот так американские подружки Ханано приучились с нетерпением ждать

«третьего дня третьего месяца», точь-в-точь как японские девочки без малого тысячу лет.

Один из таких праздников — Ханано тогда было почти пять лет — выдался для неё особенно хлопотливым, поскольку она не только исполняла обязанности хозяйки, но и, преисполнившись важности, лично отвечала на телефонные звонки с поздравлениями. Радостный праздник стал для Ханано ещё счастливее, поскольку её лучшая подруга Сьюзен привела с собой младшую сестрёнку — точёное личико, золотистые волосы, — та только-только училась ходить. Ханано со всеми гостьями держалась приветливо, а к этой изящной малютке отнеслась с особым вниманием. А вечером перед молитвой устремила на меня очень серьёзный взгляд.

— Мамочка, можно я скажу боженьке, чего я хочу? — спросила она.

— Конечно, милая, — ответила я и вздрогнула, когда, склонив голову и сложив ладони, моя дочка проговорила:

— Боженька, привет!

Я потянулась было остановить её, а потом вспомнила, что всегда учила уважать отца как первого после Бога, а к отцу Ханано обращается именно так, когда он далеко и его не видно. Я мед-

ленно убрала руку. И снова вздрогнула, услышав торжественный шёпот:

— Пожалуйста, подари мне такую сестричку, как у Сьюзен.

От удивления я лишилась дара речи, а Ханано тем временем дочитала «Спать ложусь на склоне дня».

Укладывая Ханано, я спросила:

— Почему ты попросила у Бога сестричку?

— Потому что у Сьюзен сестричка появилась именно так, — пояснила Ханано. — Сьюзен долго молилась, и вот её сестричка здесь.

Я удалилась не без трепета сердечного, поскольку знала, что молитву её услышат.

Мартовский праздник давно прошёл, и почти миновал май, когда однажды утром отец Ханано сообщил ей, что у неё появилась сестричка, и привёл её в комнату к младенцу. Ханано, широко раскрыв глаза от изумления, уставилась на черноволосую и румяную малютку Тиё. А потом, не сказав ни слова, отправилась прямиком вниз, к бабушке.

— Я молилась не о таком, — смущённо призналась она нашей матушке. — Я хотела младенца с золотистыми волосами, как у младшей сестрёнки Сьюзен.

Случившаяся в комнате Клара заметила с непосредственностью, свойственной американским служанкам:

— Японский ребёночек с золотистыми волосами — вот была бы умора!

— Она не японский ребёнок! — возмущённо вскричала Ханано. — Я не просила японского ребёнка! Мне не нужен японский ребёнок!

Матушка усадила Ханано к себе на колени, объяснила ей, как мы счастливы, что у нас в доме две японские девочки, и в конце концов утешила её сокрушённое сердечко.

В тот же день матушка заметила, что Ханано долго сидит в молчании перед большим зеркалом между двух передних окон гостиной.

— Что ты там высматриваешь, милая? — спросила матушка.

— Получается, я тоже японская девочка, — медленно ответила Ханано. — Я не похожа ни на Сьюзен, ни на Элис.

Она часто заморгала, сглотнула комок, но преданность голубым глазам и золотистым волосам уступила преданности любви, так что Ханано добавила: «Но мамочка ведь красивая! Я вырасту как она!» — и слезла со стула.

Невозможно постичь глубину детских помыс-

лов, но с того дня Ханано заинтересовалась всем японским. Мацуо с удовольствием слушал её болтовню, играл с ней, но истории она ждала от меня, и вот я из вечера в вечер рассказывала дочке о наших героях, повторяла ей предания и песни, на которых росла сама. Больше всего Ханано любила рассказы о красивых черноволосых детях — я неизменно подчёркивала, что они красивые, — которые мастерили гирлянды из цветков вишни или играли в саду, где каменные фонари да изогнутый мостик над прудом среди деревцев и цветов. Я тосковала по родине, когда рисовала Ханано эти образы или в сумерках пела печальные японские колыбельные, а дочурка стояла подле меня и тихонечко подпевала.

Что пробудило в ней эту внезапную любовь к стране, которую она никогда не видала, — голос крови, а может, то было предчувствие, ведь дети порой удивительно прозорливы?

Однажды старая привычная жизнь для меня завершилась, оставив мне воспоминания, — полные как утешения, так и сожалений, проникнутые тревогой и трепетом вихрящихся в уме вопросов, ибо я лишилась мужа, а дети мои — отца. С последним весёлым словом и сонной улыбкой Мацуо стремительно и безболезненно

скользнул через границу в старые новые земли за пределами нашего мира.

И нам — мне и моим детям — ничего не оставалось, кроме прощаний и долгой одинокой дороги. Страна, что встретила меня так радушно, так милосердно прощала моё невежество и ошибки, страна, где родились мои дети, где меня принимали с такой добротой, что не выразить и словами, — эта чудесная, деловитая, практическая страна не требовала и не желала ничего, что я могла ей дать. Она стала привольным, добросердечным, любящим домом мне и моим близким, но будущего для нас в ней не было. Она ничем не могла пригодиться моим растущим детям и не нуждалась в моей старости. А что это за жизнь, когда только учишься, но ничего не даёшь взамен тому, кто тебя учит?

Прошлое было сном. Из края туманных поэтических образов я переместилась в малопонятную путаницу практических дел, на беспечном своём пути собирая ценные мысли, чтобы ныне вернуться в край поэзии и туманов. Я спрашивала себя, что ждёт меня впереди.

Глава XXIV. Снова в Японии

Наконец волны — что за скука смотреть, как они катятся и разбиваются друг о друга! — остались позади, я вновь очутилась в Японии, и всё вокруг показалось мне едва ли не таким же странным, как по приезде в Америку.

Ни провинции, ни сословия не менялись у нас веками — существовали обособленно, держались своих традиций — и даже сейчас не сказать чтобы охотно поддавались уравнивающему влиянию современной жизни. Я немедля отправилась к родственникам Мацуо в западную часть Японии; и обычаи, и этикет, и даже обороты речи здесь целиком и полностью отличались от принятых в Токио и Нагаоке.

По прибытии нас встретила толпа родственников, все в торжественных одеяниях, ибо мы привезли с собой святыню, прах Мацуо, и на протяжении сорока девяти дней, до самого окончания траурных церемоний, со мной обращались как с почётной гостьей-посланницей. Но потом положение моё сделалось незавидным: вдова сына в Японии — существо незначительное, а

ведь я, по сути, была именно ею, поскольку Мацуо, пока не решил остаться в Америке, жил в семействе дяди Отани как его приёмный сын.

Я очень беспокоилась за своих девочек, ведь в Японии дети принадлежат роду, а не родителям. После смерти Мацуо главой нашей маленькой семьи стала Ханано, но мы принадлежали к большой семье во главе с дядей Отани. Поэтому все родственники — и мои, и Мацуо — считали делом решённым, что мы с детьми поселимся у дяди Отани. Он нашёл бы нам место в своём красивом доме, обеспечивал бы меня красивой одеждой, но права голоса я не имела бы — даже в том, что касается моих детей. В некоторых обстоятельствах такое положение пожалуй что и неплохо, поскольку дядя Отани не скупясь снабжал моих детей всем, что считал им положенным. Но при всей его доброте — а свет не видывал человека добрее — я всё-таки не могла позабыть о том, что он принадлежит к консервативному сословию торговцев, а у них принято давать девочкам лишь начальное образование.

Ситуация непростая, и я в незавидном моём положении не могла сказать слова поперёк. Но надежда у меня была. Ханано хоть и считалась главой семьи, но была ещё ребёнком, следова-

тельно, её мать, как временная правительница, обладала какой-никакой властью. Пользуясь этим, я попросила совета у дяди Отани. Объяснила ему, что Мацуо в завещании высказал желание, чтобы его дочери — поскольку сыновей у него не было — получили общее образование вроде того, какое им дали бы в Америке. И осмелилась попросить — во имя Ханано и властью, данной мне волей её отца, — чтобы мне позволили руководить учёбой дочек.

Дядя Отани подивился такой неслыханной просьбе, но, поскольку ситуация сложилась неординарная, созвал семейный совет. Если дело касается вдовы, обычно приглашают и членов её семьи, а поскольку брат мой присутствовать не мог, матушка послала взамен него моего прогрессивного токийского дядюшку, того самого, который принимал столь живое участие в наших советах перед моим замужеством. Ханано, как главе семьи, полагалось обязательно присутствовать на совете, но, разумеется, выражать свою волю она могла только через меня.

Японскую одежду она носить ещё толком не научилась, так что я нарядила её в лучшее белое платье с рюшами и кружевами. Я постаралась, чтобы платье было очень просторным, ибо в аме-

риканской одежде очень трудно сидеть смирно, как предписывают японские обычаи, а шевелить нижней частью тела (пусть даже тихонько) на собраниях семейного совета считается верхом неучтивости. Я объяснила это Ханано и присовокупила, что её дедушка — в ту пору, незадолго до Реставрации, ему было на два года меньше, чем ей сейчас, — подолгу просиживал на важных политических совещаниях. «Досточтимая бабушка рассказывала мне, что он всегда держался очень прямо и с достоинством, — сказала я, — и ты должна брать с него пример». После этого мы отправились на совет.

Я беспокоилась: как-то примут мою дерзновенную просьбу? Для большинства членов совета я была всего лишь вдова, которая зависит от своей дочери, женщина с эксцентричными прогрессивными представлениями, а у родственников вся власть, и буде три члена совета выскажутся против меня и моих предложений, мне не только откажут в просьбе, но и вовсе разлучат с детьми. Мне положат щедрое содержание — хоть в теперешнем моём доме, хоть где, если мне заблагорассудится уехать, — но мои дети останутся у родственников своего отца, и никакие законы, ни небесные, ни земные, в Японии не сумеют

этому помешать. Не то чтобы семья Мацуо намеревалась обойтись со мной несправедливо, я никого и не подозревала в этом, но факт есть факт: у них власть.

Совет длился долго и состоял из учтивых предложений и серьёзных, пусть и абсолютно спокойных, споров. Я слушала склонив голову, время от времени — но не очень часто — поглядывала на взволнованную дочь, она сидела прямо и неподвижно средь величественных старших. Два часа кряду Ханано не шелохнулась. Но потом у бедняжки свело ногу, Ханано вздрогнула, растянув пышную юбку, ойкнула и схватилась за колено.

Никто даже не обернулся, но я с болезненным комом в горле отдала земной поклон и сказала:

— Я смиренно прошу досточтимый совет простить неучтивость моей дочери, воспитывавшейся в чужой стране, и позволить ей вместе со мною покинуть благородное собрание.

Дядя Отани, не пошевелившись, кашлянул в знак согласия.

Я напоследок поклонилась у раздвижных дверей и закрыла их; мой токийский дядюшка выбил трубку о край стоявшей рядом с ним табакерки.

— К счастью, на О-Эцу-сан можно положить-

ся, — медленно произнёс он, — ибо, вне всякого сомнения, любой из нас пришёл бы в недоумение, если бы вынужден был взять в дом двух невоспитанных американских детей с непривычными к дисциплине ногами, с платьями в оборках и грубой речью.

Уж не знаю, говорил он по-доброму или со злостью, как не знаю и того, повлияли ли его слова на прочих, однако же через час, после медленного, вдумчивого, серьёзного и совершенно справедливого обсуждения семейный совет решил: учитывая просьбу Мацуо и тот факт, что его вдова заслуживает доверия, следует в порядке эксперимента дать согласие.

Тем вечером я положила свои подушки меж детских постелей — близко-близко — и легла под одеяло, не помня себя от облегчения и благодарности.

Глава XXV. Наш токийский дом

Несколько недель спустя мы с детьми и кухаркой, искусной маленькой Судзу, поселились в прелестном доме в Токио. С родственниками Мацуо условились так: время от времени они будут нас навещать, проверять, всё ли в порядке, я же по всем вопросам, пусть даже самым пустяковым, буду обращаться к семейному совету.

Меня связали по рукам и ногам, но я не возражала.

Родственников в Нагаоке очень тревожило моё необычное положение, и матушка решила погостить у нас, ведь молодой вдове не пристало жить одной. Но, поскольку приехать безотлагательно матушка не могла, она отправила к нам Таки: та тоже овдовела, а поскольку и дед её, и отец служили нашей семье, настояла на своём праве уехать к бывшей госпоже. Перебравшись ко мне в Токио, Таки сразу же приняла на себя обязанности и компаньонки, и экономки, и кухарки, и портнихи, и набольшей над всеми нами, включая Судзу.

За какие-нибудь три дня Таки отыскала луч-

шую рыбную лавку в нашем квартале, а всего лишь через неделю все жуликоватые торговцы овощами и фруктами проходили мимо дверей нашей кухни, пряча свои корзины подальше от зоркого глаза провинциалки, неизменно подмечавшей, что их товар уже утратил свежесть.

Я доверилась Таки сразу же и во всём.

Правда, не обходилось без досадных случайностей, поскольку в глубине души Таки по-прежнему считала меня малышкой Эцубо-сама, хотя вслух именовала меня не иначе как оку-сама, «досточтимая госпожа», и это при том, что у меня появились кое-какие удивительные идеи и две до изумления подвижные доченьки, которые причудливо одевались и разговаривали слишком громко.

Недоразумения начались в первый же вечер. Таки закрыла ворота, заперла входную дверь и двери кухни, и я услышала, что она задвигает деревянные перегородки с внешнего края веранды, выходящей в сад. Эти перегородки служили для защиты от непогоды, охраняли нас ночью, но, если их закрыть, дышать в доме было решительно нечем.

— Не задвигайте плотно амадо, — попросила я Таки. — Оставьте хотя бы щёлочку, чтобы воздух

шёл в комнаты.

— Ма-а! Ма-а! — с искренним изумлением воскликнула Таки. — Вы почти ничему не успели научиться к тому времени, как покинули дом, оку-сама. Воздух без солнца — настоящая отрава.

— Но, Таки, — возразила я, — этот дом устроен как иностранные. В нём газовое отопление, и нам нужен воздух, даже ночью.

Таки закручинилась, явно не зная, как быть.

— Может, воздух в досточтимых иностранных домах и другой, — проворчала она, — но чуднò это всё, чуднò! Да и небезопасно: город большой и в нём кишат воры.

Таки удалилась, ворча себе под нос и покачивая головой. Я легла спать с ощущением, что наконец показала ей, кто здесь главный, но чуть погодя меня разбудило тихое прерывистое громыхание, завершившееся глухим щелчком: Таки задвинула деревянный засов на последней перегородке.

«Что же, — сказала я себе с раздражением и усмешкой, — Таки всегда умудрялась настоять на своём, даже с надзирателем из тюрьмы Нагаоки. Чего я хотела!»

Как большинство японок из трудового сословия, Таки вынуждена была зарабатывать на жизнь и многое вынесла на своих плечах. Муж

её был человек добрый, хороший работник, но злоупотреблял саке, а это значило, что не только заработок его испарялся таинственным образом, но и сам он частенько попадал в тюрьму за долги.

Всякий раз, как это случалось, Таки приходила к нам, и матушка её нанимала, чтобы Таки скопила денег и вызволила мужа. Однажды, когда Таки работала у нас, моя старшая сестра отправилась с ней по делам. У самых наших ворот они заметили двух приближавшихся к ним мужчин. Один был одет прилично, но голову его закрывала плетёная корзина, какую носили все узники за пределами тюрьмы[78]. Сестра рассказывала, что Таки застыла на месте, впилась в мужчин подозрительным взглядом и, похоже, не удивилась, когда они остановились.

Тюремщик поклонился и любезно проговорил:

— Долга осталось всего три иены. Заплатите их, и он свободен.

— Ах, пожалуйста, господин тюремщик, — в великом отчаянии воскликнула Таки, — пожалуйста, подержите его ещё несколько недель.

---

[78] Примечания: 78

Речь об амигаса, этот головной убор использовался в тюрьмах Японской империи до капитуляции Японии в сентябре 1945 года. — *Прим. науч. ред.*

Тогда я успею выплатить все долги и ещё отложить денег на следующий раз. Пожалуйста, подержите его ещё немного. Пожалуйста!

Бедный муж её смиренно ждал, пока жена спорила с тюремщиком; Таки упорно отказывалась платить три иены, и тюремщик увёл прочь узника с корзиной на голове. Таки же провожала их торжествующим взглядом, но чуть погодя достала из-за пояса сложенную бумажку, вытерла глаза, всхлипнула несколько раз и сказала:

— Идёмте, маленькая госпожа, мы и так много времени потеряли. Нам нужно спешить!

Больше я об амадо не заикалась, но несколько дней спустя велела плотнику вставить широкие доски с резным узором из ирисов, цветов здоровья, между карнизом и верхним краем перегородки. И решётку из железных прутьев, упрятанных в полые стебли бамбука. Так мы защитили себя, ведь вредоносному воздуху нипочём не просочиться сквозь целебные ирисы — даже по мнению нашей доброй фанатичной Таки.

Меня удивляла готовность, с какой мои дети принимали условия существования на этой чуждой земле. Ханано с младенчества привлекало всё новое, и я заключила, что наша жизнь, полная

беспрестанных перемен, не даёт ей затосковать по старому дому. Трёхлетняя Тиё всегда была всем довольна, искренне радовалась неизменному обществу сестры, и мне в голову не приходило, что у неё есть собственные мнения и желания. Пока мы гостили у родственников Мацуо, её не смущал непривычный уклад, но как только мы перебрались в место, которое я называла домом, и Тиё обнаружила, что одежда её аккуратно сложена в ящички, а игрушки лежат там, где она может их достать, она стала скучать по многому.

— Мамочка, — сказала она однажды (я сидела и шила, она подошла и прильнула к моему плечу), — Тиё хочет…

— Чего Тиё хочет? — спросила я.

Она взяла меня за руку и медленно повела через шесть наших крошечных комнат. Везде, кроме кухни, на полу лежали белые циновки. В гостиной в углублении висела картина-свиток, внизу на полированном возвышении стояла икебана. В углу расположилось пианино. Раздвижные шёлковые двери отделяли гостиную от моей комнаты и двух детских, располагавшихся рядышком. В обеих у рыжевато-коричневых оштукатуренных стен стояли комоды из светлого дерева с затейливыми коваными ручками. Наши с Ханано

письменные столы, оба низкие, белые, с книгами и письменными наборами, располагались таким образом, что, когда раздвижные бумажные двери были открыты, нам было видно узкое крыльцо — выход в прелестный садик со стрижеными кустами, извилистой тропкой из камней и прудиком, где резвились девять золотых рыбок.

Столовая, расположенная перпендикулярно нашим комнатам, тоже смотрела в сад. Это была самая светлая комната в доме. Шкафчики прятались близ раздвижных дверей за рыжевато-коричневыми портьерами, а красивая длинная прямоугольная печь-хибати с ящиками — неизменная принадлежность каждой японской столовой — была изготовлена из берёзы. С одной стороны всегда лежала подушка для госпожи — на случай, если она заглянет поговорить о делах хозяйственных со служанкой, кликнув её с кухни (та находилась за другой рыже-коричневой дверью, похожей на часть стены). Сразу за ней была ванная, комната Таки и Судзу, вход для слуг. Прихожая, где мы разувались, и входная дверь располагались в передней части дома и смотрели на высокие деревянные ворота с небольшой калиткой.

Тиё вела меня из комнаты в комнату, в каждой

останавливалась и тыкала пальчиком во всё подряд. «Тиё хочет…» — повторяла она, но хотела она так многого, что не находила слов. Пустота, которую я обожала, угнетала Тиё. Она хотела широкую кровать с балдахином, как в Америке дома у матушки, глубокие мягкие кресла, высокие зеркала, большой кабинетный рояль, цветастые ковры и окна с кружевными занавесками, высокие потолки, просторные комнаты, приволье! При виде её тоскливого личика у меня замирало сердце. Но когда Тиё потянула меня за рукав и, зарывшись лицом в складки моего платья, жалобно попросила: «Ах, мамочка, отвези меня домой, к бабушке и папиному портрету! Пожалуйста! Пожалуйста!» — я обняла её, уселась на пол, крепко прижала дочку к себе и впервые на своей памяти разрыдалась в голос.

Но плакала я недолго. Где моя самурайская кровь? Где моё воспитание? Неужели годы неограниченной свободы в Америке так ослабили мой характер, лишили меня силы духа? Моему досточтимому отцу было бы стыдно за меня.

— Идём, доченька, — сказала я, давясь слезами и смехом, — Тиё показала мамочке, чего нет в нашем новом доме, а теперь мамочка покажет Тиё, что у нас есть.

И мы весело прошлись тем же маршрутом. В гостиной я отодвинула низкие шёлковые двери под круглым окном, и мы увидели две глубокие полки с аккуратно составленными на них прекрасными книгами Ханано и Тиё, привезёнными из Америки. Я указала на прелестное панно над дверью, широкую тонкую доску, на диво изящную: за долгие годы — бог знает, сколько их минуло! — волны вырезали на ней неподражаемый, причудливый узор. Я показала ей столбик близ углубления в стене — всего лишь изогнутый сосновый ствол с чешуйками коры, но блестящий, точно он заключён в хрустальную оболочку. Мы полюбовались роскошными полами тёмного дерева, «гладкими и сияющими, как зеркала в бабушкиной гостиной», напомнила я Тиё, она наклонилась, увидела отражение своего серьёзного личика и расплылась в улыбке. В другой комнате я открыла двери святилища, которым мы не пользовались. Средь изысканного резного дерева стояла фотокарточка в рамке — портрет её отца, сделанный в Америке; когда к нам наконец заглянет плотник, мы собирались повесить её над пианино. Я показала Тиё большие шкафы, где днём отдыхают подушки наших постелей — шёлковые, в цветочек, — впитывают музыку,

разговоры и смех, дабы сплести из них приятные сны и ночью даровать их Тиё. Я осторожно открыла длинную печь-хибати в столовой, показала дочери горку пепла, мерцающие угольки, дожидавшиеся неизменно с утешением и теплом всякого, кто надумает выпить чаю. Я позволила ей заглянуть в ящички хибати — в одном бело-розовые рисовые лепёшки на случай, если в гости зайдёт ребёнок, в другом палочки для еды, в третьем баночка чая и большая деревянная ложка. А вот нижним широким ящиком — ух ты! ух ты! — мы не пользовались вовсе. Должно быть, его изготовили для чьей-нибудь старомодной бабушки, которая порой, рассказав внукам сказку, доставала из ящика длинную тонкую трубку с серебряной чашей-кисэру. Затянувшись три раза, выбивала её о край ящика — вот тут — трижды, тук-тук-тук, и убирала в ароматный шёлковый мешочек (Тиё принюхалась и сказала: «Фу, мамочке не нравится!») до следующего раза, когда захочется поразмыслить или развеять тоску, или другая милая бабушка заглянет на огонёк. И тогда обе сделают по три затяжки (а может, два раза по три затяжки), попивая чай и негромко беседуя о былом.

— А здесь Судзу хранит лодочки, в которых

приносят угощения, — пояснила я, — эти лодочки ждут, когда в них положат еду.

Я отодвинула перегородку, ничуть не похожую на дверь, и мы заглянули в шкафчик с множеством неглубоких полок, на которых стопками по пять стояли деревянные миски для супа, фарфоровые миски для риса, овальные блюда для рыбы, глубокие для солений, масса тарелок, блюдечек, чашек, у каждой своё назначение, свой узор, рассказывающий о старой Японии. Ниже размещались наши лакированные столики, каждый площадью в метр и столько же в высоту, а чуть поодаль громоздились наши подушки: «Одна, и две, и три — усядемся все мы!», как пела Ханано, когда Судзу раскладывала их перед трапезой.

— А теперь на кухню, — продолжила я. — Эта дверь не отодвигается, а открывается, нужно лишь повернуть бронзовую сосновую шишечку. Надень эти сандалии, Тиё, в кухню нельзя в одних носках или чулках. Ну вот мы и здесь! Половина пола — гладкие тёмные половицы, видишь, а другая — наступай! — бетон. Здесь газовая плита, а рядом с ней глиняная печь для большого пузатого горшка с тяжёлой деревянной крышкой, в нём варят рис. В эту печь нельзя бросать ни объедки, ни использованную бумагу: для

растопки берут солому, а поддерживают пламя углём, ведь тут готовят рис, главную нашу пищу, и обращаться с ним следует уважительно. А вот и Таки, сейчас она кое-что нам покажет, да так, что тебе, малютка Тиё, захочется подбежать к той большой коробке, от которой пахнет камфорой, как в лесу близ дома дяди Отани, и достать меховой воротник, твой подарок от бабушки на прошлое Рождество. Смотри!

Таки просунула пальцы в две дырочки в одной из наших узких половиц и приподняла её, потом вторую и третью. Наконец показался широкий прямоугольник светлого дерева, под которым — так близко, что Таки могла дотянуться рукой, — прятался погреб: там лежала глыба льда, а в ней на неровно вырубленных полках стояли деревянные блюда с рыбой и овощами, с яйцами и фруктами.

— Вот куда девается холодный-прехолодный свёрток, который нам каждое утро приносит торговец с соломенной сумой за плечами, — пояснила я. — А вот деревянная раковина Таки, она возвышается над бетонным полом, подобно столику на ножках из водопроводных труб.

А теперь поверни направо. По узкому коридорчику — пять моих шагов, восемь твоих — мы

попадём в ванную комнату. Овальная ванна из светлого дерева, над нею два крана, внизу ряд газовых фонарей; ванна такая глубокая, что если сесть на дно, то даже твоей мамочке вода доходит до подбородка. А вот три полочки — для нашего мешочка с отрубями, чашки и зубной щётки, и под каждой из полочек резная вешалка для полотенца, а в углу большая бамбуковая корзина для белья и свёрнутый в кольцо шланг для поливки сада. В общем, Тиё, у нас преинтересный домик, совсем как игрушечный, только большой, и мамочка всё время дома, чтобы поиграть с тобой, пока Ханано в школе.

Глава XXVI. Досадные пустяки

Подходящий садик для Тиё мне удалось отыскать очень быстро, и это была настоящая удача. По соседству с нами жил талантливый педагог, интересовавшийся современными методиками обучения детей младшего возраста. Они с женой открыли у себя дома детский сад, и мне повезло отдать туда мою дочурку. По-японски Тиё не говорила, но, к счастью, в её группе оказались двое детей американского миссионера, они хорошо говорили на обоих языках: так родившиеся в Японии американцы любезно сделались переводчиками для маленькой японки, родившейся в Америке; этот международный союз оставил по себе — по крайней мере, с одной стороны — благодарную долгую память о дружбе.

А вот с учёбой Ханано возникли трудности. Память о радостном времени, некогда проведённом в токийской школе, побудила меня выбирать среди школ при миссиях, однако, присмотревшись к ним повнимательнее, я заключила, что, хотя атмосфера в этих школах, бесспорно, благожелательнее, по уровню образования го-

сударственным они всё-таки не соперницы. Словом, я выбрала для Ханано государственную школу, её директор считался одним из лучших в Токио, вдобавок она, к счастью, располагалась неподалёку от нашего дома. Да и родственники Мацуо — я это знала точно — одобрили бы такой выбор.

Японский язык Ханано знала плоховато, а вот в литературе, истории и традициях Японии разбиралась не хуже ровесников и первый класс явно переросла.

Власти не знали, как с ней быть, ведь правила в Японии достаточно строги. Жизнь общественная всё ещё движется по накатанной колее, и в мелких чиновниках настолько сильна былая феодальная гордость нерушимой верностью букве закона, что малейшая попытка заставить их отступить от сложившихся обычаев приводит их в крайнее замешательство. Снова и снова я с замиранием сердца слышала, что ни в одном классе не находится места для Ханано, однако упорно отказывалась сдаваться! Я стояла на своём, доказывала, что раз Япония считает детей, родившихся за границей, своими гражданами и в ней действует закон о всеобщем обязательном образовании, следовательно, что-нибудь можно

придумать.

Словом, пришлось потрудиться; меня преследовало ощущение, будто день за днём моего ребёнка всё теснее опутывают нитями бюрократии, но наконец Ханано приняли в третий класс, а мне — безмолвной зрительнице с блокнотом — разрешили сидеть в дальнем конце кабинета.

Никогда не забуду те первые дни. Ханано была девочка сообразительная, наблюдательная, уже знала истории, которые проходят в третьем классе, но иероглифы не читала и объяснения учителя понимала плохо. Снова и снова я замечала, как лицо её оживляется, но в следующий миг выражение пристального внимания сменяется недоумением, а там и полнейшей тоской. И каждый вечер наш дом превращался в учебный класс, я проходила с Ханано сегодняшние уроки, переводила и объясняла ей по-английски. В свободное время — даже за едой — мы играли в игры, в которых можно использовать только самые распространённые слова, и Ханано, едва заслышав, что Таки возле двери кухни торгуется с продавцами, неизменно была тут как тут. И всё-таки, на мой взгляд, полезнее всего для неё оказалась школьная площадка для игр. Там она вызывала у всех приятное любопытство. Ханано

принимала участие во всех играх, бегала, жестикулировала, болтала по-японски, веселилась и при этом десятками накрепко запоминала слова, которые позволяли ей выражать мысли без помощи переводчика.

Я неизменно посылала отчёты дяде Отани, и в целом мне нравились «исследовательские визиты» родни, но необходимость спрашиваться у семейного совета, прежде чем принять решение или изменить даже самую малость в нашем обиходе, раздражала меня, а порой и оказывалась бессмысленной. Что за нелепость — для проформы уточнять у семейного совета, какой из двух предметов выбрать для Ханано, хотя никто из родственников не знал и не удосуживался выяснить, чему и как она раньше училась, но при этом все они считали, что девочке ни к чему тратить время ни на тот, ни на другой предмет! Но я соблюдала формальности до мелочей, и по прошествии времени визиты родни сделались реже и дружелюбнее, а на вопросы мои отвечали: поступайте как знаете.

Когда Ханано овладела японским до такой степени, что могла разбирать иероглифы на уличных вывесках, слушать и понимать разговоры о себе, я перестала ходить в школу и переключила

внимание на хозяйство. И обнаружила немало трудностей. Некоторые казались пустячными, почти незаметными, но всё же они раздражали, как укусы мошек. Например, я посчитала, что детям будет лучше носить американскую одежду. Её у них было много, и в прогрессивных японских семьях дети одевались именно так — за исключением торжественных случаев. С наступлением холодов я надевала на девочек тёплое бельё и шерстяные чулки, поскольку каждый школьный кабинет обогревали всего-навсего две угольные печурки. Но, невзирая на всю мою заботу, Тиё однажды вернулась домой простуженная. Следующее утро выдалось промозглым. У меня не хватило духу лишить её величайшего удовольствия, но о том, чтобы подвергать дочь опасности разболеться ещё пуще, не могло быть и речи. Что было делать? Вдруг меня осенило. У Тиё было мягкое шерстяное пальтишко, целиком закрывавшее платье. Я надела на дочку пальто, застегнула его на все пуговицы и, наказав не снимать его, отправила Тиё в садик.

Но меня мучила совесть. В Японии при входе в дом принято разуваться, снимать верхнюю одежду и головной убор. И Тиё, конечно же, поступит неучтиво, если в садике останется в пальто, как

если бы это была шляпка, но я догадывалась, что воспитатель примет её прелестное красное пальтишко с кружевными манжетами и воротничком за иностранное платье — не теплее обычной одежды. Подумать только, я воспользовалась невежеством воспитателя, пошла на обман! Я вспомнила Кисимбодзин и подумала, что, наверное, в сердце каждой матери таится демоница.

Я со вздохом поднялась на ноги и принялась собираться. Подошла к зеркалу сделать причёску и замерла с пристыженным смешком. На миг меня охватило суеверное сомнение: что, если в отражении я увижу тень лжи в моей душе?

Я отправилась прямиком в ближайшую лавку и купила ткани на хифу — просторную, но приличную и элегантную домашнюю накидку на кимоно, зимой её подбивают похожим на паутинку шёлковым волокном из опустевших коконов. В Японии нет одежды теплее и легче. Мы с Таки и Судзу весь день провели за шитьём, и наутро Тиё благополучно отправилась в садик в хифу поверх американского платья.

После этого случая я и решила заменить американскую одежду дочек на японскую.

В цепи моих воспоминаний о том, как мы обживались в Японии, есть ещё одно звено, не такое

печальное. Когда берут рикшу, то принято, чтобы первым ехал более уважаемый человек — то есть родитель впереди, ребёнок сзади. Но я всё время тревожилась, что с моими маленькими непоседами что-нибудь случится, и отправляла их обеих в рикше впереди себя. Однажды мы ехали по оживлённой улице, и я заметила, что Ханано выглянула из рикши и лихорадочно машет мне, выпрямляется едва ли не в полный рост, лишь бы привлечь моё внимание к столику и двум бамбуковым стульям в витрине лавки. Девочки умоляли меня купить их. Но о том, чтобы принести их в наш очаровательный домик, не могло быть и речи: ножки стульев испортят мягкие татами, да и чужеземная мебель в японской комнате выглядит неэстетично. Но дети такими глазами смотрели на эти стулья, что я всё-таки их купила и велела прибить к ножкам ровненькие дощечки, чтобы не повредить пол. Назавтра стулья должны были привезти.

Рано утром я отправилась за покупками и вернулась домой к полудню. Каково же было моё удивление, когда я вошла в гостиную и увидела посередине комнаты бамбуковый стол, по бокам от него стулья, на одном сидела Ханано, на другом Тиё. Ни книг, ни игрушек при них не было. Судзу

сказала, они просидели так час, время от времени менялись местами, но в целом сидели смирно и тихонько беседовали.

— Что вы такое тут делаете, дети, — спросила я, — почему сидите так тихо?

— Ничего, просто отдыхаем! — ответила Ханано.

Чуть погодя Тиё сказала:

— У бабушки стулья мягкие, а у этого край бугристый. Ханано, давай опять поменяемся местами.

Потом возник вопрос с постельным бельём. Гордость японской хозяйки — чтобы подушки были не только красивые и изящные, но и подходящие. Матушка передала нам с Таки достаточно шёлка и льна для детских постелей. На белье Ханано — под стать её цветочному имени — был узор из цветов четырёх времён года: тут и там тёмно-розовую ткань испещряли разноцветные бутончики. На постельном белье Тиё — а её имя значит «тысяча лет» — по синему небу летели белые аисты и плыли облака. Таки и Судзу несколько дней шили подушки, а когда они были готовы, Судзу постелила девочкам рядом; я сказала, что сама уложу дочек, а служанок отпустила на уличную ярмарку, которую открыли возле

храма неподалёку. Я принялась раздевать дочек, но тут ко мне заглянули подруги, и я оставила детей готовиться ко сну самостоятельно.

Подруги засиделись допоздна. Я слышала, как возвратились Таки и Судзу, и вскоре из детской донёсся гомон. Голос Ханано произнёс громко и чётко по-английски: «Это нечестно! Не надо! Это нечестно!» Затем что-то забормотали по-японски — жалобно, сонно, — тихий шелест — негромкое: «Простите, что вас потревожила, досточтимые. Спокойной ночи!» — скрипнула раздвижная дверь, зашептали и — тишина.

Как только гостьи ушли, я поспешила в детскую. Девочки крепко спали. Я дождалась Судзу — она ходила запирать ворота — и выяснила, что случилось. Верная Таки по возвращении заглянула к детям — проверить, всё ли благополучно, — и увидела, что «цветок в чужих краях» спит под одеялом с летящими журавлями, а девочка, чьё имя означает долголетие, мирно дремлет под цветами четырёх времён года. Выработавшаяся у Таки за всю жизнь привычка к порядку пришла на помощь и вынудила исправить путаницу. Таки рывком сдёрнула с Ханано одеяло, подняла её сильными руками, поставила перепуганного ребёнка на ноги, подхватила Тиё, плюхнула её на

постель Ханано, бормоча непрестанно: «Маленькие невежды! Маленькие невежды!» Не обращая внимания на негодующие протесты Ханано, уверявшей, что они с сестрой намеренно поменялись постелями, «просто так», Таки уложила Ханано, накрыла одеялом, вежливо поклонилась, пожелала спокойной ночи, тихонько задвинула двери и удалилась бесшумно, точно боялась разбудить спящего ребёнка.

«Годы идут, а Таки всё не меняется, — думала я, со смехом ложась в постель. — Тем, кто считает, что японки непременно кроткие, впору расширить круг знакомств».

Но кое над чем я никогда не смеялась — а именно над потайной частью жизни моих детей, которую я видела лишь украдкой. Ханано всегда мужественно, не жалуясь, сносила маленькие неприятности, которые не исправить, и так была занята своей новой жизнью, так глубоко интересовалась ею, что я и не догадывалась: в глубине души она тоскует по прежнему дому. В наш сад было два пути — один через дом, другой через невысокую живую изгородь на тропинке, что вела от деревянных ворот к двери кухни. Однажды я у самого дома попала под проливной дождь и вымокла до нитки. И вместо того чтобы войти

через большие ворота, юркнула в деревянную калитку и пробежала по каменной садовой дорожке к крыльцу. Оставила сандалии на ступеньках и поспешила к себе, как вдруг услышала голоса дочерей.

— Бабушкино кресло всегда стояло вот тут, в тени на веранде, — говорила Ханано. — А вот под этим деревом висел гамак, где ты спала днём, папа однажды чуть было не сел на тебя. А на этой широкой тропинке из камня мы четвёртого июля всегда запускали шутихи. А это подъёмный мостик. А сюда Клара ходила кормить цыплят. Всё именно так и было, Тиё, ведь я сама это нарисовала, чтобы ты больше никогда не забыла. Только маме не говори, она огорчится, а она ведь единственное дорогое, что у нас осталось. Всех остальных больше нет, Тиё, и мы никогда уже их не увидим. Ничего не поделаешь, придётся смириться. Но ты не должна забывать, никогда-преникогда, что там живёт наша любовь. Теперь давай споём.

Они встали, взялись за руки и уверенно завели звонкими голосами: «Моя страна, о тебе!»[79]

---

[79] Примечания: 79

Речь о патриотической песне (часто её называют просто «Америка»), слова к которой написал американский баптистский священник Сэмюэл Фрэнсис Смит (1808–1895).

Я тихонько расплакалась, расхаживая по соседней комнате и вспоминая те вьюнки, которые пересадили на чужую почву. «Правильно ли не спросясь сажать маленький цветок в саду любви и счастья, из которого его, быть может, вскоре вырвут ради нового начала в другой земле — начала, которое, быть может, воспрепятствует его росту? Эта другая земля, возможно, дарует ему и силы, и вдохновение, но стоит ли оно того? Ах, стоит ли оно того?»

Глава XXVII. Досточтимая бабушка

«Досточтимая бабушка к нам приезжает! Досточтимая бабушка приезжает сегодня!» — весело распевала Тиё, топоча ножками в белых носочках по белым татами; я ходила из комнаты в комнату, вносила последние штрихи, завершала приготовления к приёму долгожданной гостьи, а Тиё следовала за мной по пятам.

Теперь Тиё вместо чулок носила носки-таби, а американское платье сменилось цветастым кимоно на алой подкладке, с широкими, грациозно развевающимися рукавами.

«Всё-таки японцам больше всего к лицу японская одежда», — думала я, глядя на чёрные волосы Тиё — с ровной чёлкой, короткие сзади. В американской одежде она была не такая красивая. Японская шла ей куда больше — хотя, бесспорно, свободным от ограничений американским детям их платье удобнее, да и полезнее для здоровья. Я вздохнула, но, повинуясь чужому влиянию, ничуть не жалела, что перед визитом их бабушки переодела детей в японский наряд.

С самого дня, когда пришло письмо с извещением о приезде матушки, мы трудились не покладая рук. Мы с девочками поселились вместе, а матушке я подготовила уютную комнатку, которая — я в этом не сомневалась — покажется ей удобнее и сообразнее любой другой. Я хотела, чтобы она чувствовала себя как дома, и велела заменить висящие электрические лампочки на напольные светильники[80] высотой в три фута, с бумажными абажурами на чёрных лакированных рамах, похожие на фонари со свечами, какие были у нас дома в Нагаоке. Наши газовые обогреватели в бронзовых корпусах походили на угольные печурки. Матушка с неизменной философской улыбкой смирилась бы с любыми новшествами, как поступала всю жизнь, но я не хотела, чтобы ей пришлось с чем-то «смиряться», я хотела, чтобы всё напоминало ей о доме и не приходилось ни к чему привыкать.

В пустом святилище я держала книги и детские шляпки. Даже Таки не возражала против того, что мы складывали туда «дорогие предметы», как она их называла, поскольку японцев учат

[80] Примечания: 80

Имеется в виду андон, вертикальный фонарь с бумажным абажуром на бамбуковом, металлическом или деревянном корпусе. — *Прим. науч. ред.*

уважать книги как «плоды умственного труда», а шляпы — потому что их носят на почтенном «венце тела». И всё равно она была безгранично довольна, когда я убрала их и подготовила резную деревянную нишу для тех вещиц, которые матушка привезёт из нашего большого домашнего святилища.

— Куда мы поставим святилище, которое привезёт досточтимая бабушка? — спросила Ханано, имея в виду позолоченный, покрытый лаком изысканный шкафчик, как у дяди Отани.

— Досточтимой бабушке взять с собой всё необходимое так же просто, как христианину Библию и молитвенник, — ответила я, — а мы наведём чистоту в этой нише. Досточтимая бабушка любит те вещи, которые за её долгую жизнь со всеми радостями и скорбями стали для неё святынями.

— А наш Бог и бог досточтимой бабушки знакомы друг с другом на небесах? — спросила Тиё.

Я, склонясь над резной нишей, как раз вытирала пыль, так что Ханано ответила за меня:

— Ну конечно знакомы, Тиё. Иисусу пришлось так же непросто, как и великому Будде, когда он втолковывал людям: «Бог хочет, чтобы вы были хорошими, добрыми и прекрасными». Мама же говорит, что наша досточтимая бабушка и наша

дорогая американская бабушка обе хорошие и похожи друг на друга.

Пока мы разговаривали, из соседней комнаты слышался нескончаемый стук: там Судзу, засучив рукава и повязав свежую причёску сине-белым полотенцем, энергично выбивала пыль из сёдзи специальной щёточкой для бумажных дверей, короткой палочкой, к которой с одного конца привязаны бумажные полоски. Вдруг стук прекратился, и на пороге показалась Судзу. Стянула с головы полотенце, развязала шнурок, который поддерживал её рукава, и отвесила земной поклон.

— Таки-сан считает, что вода для ванны, нагретая на газу, окажется слишком грубой для нежного тела досточтимой пожилой госпожи, — сказала Судзу. — Не сходить ли мне за плотником?

Я и забыла, что в деревнях верят, будто для слабых и старых воду для ванны следует греть исключительно на дровах. Я отправила Судзу за плотником, и два часа спустя газовую спираль заменили печуркой, которую топят дровами; на этом наши приготовления завершились.

Тот вечер запомнился детям надолго. Мы все, кроме Таки, отправились на вокзал встречать

мою матушку. Таки осталась дома, чтобы приветственные блюда — рис с красной фасолью и рыба, запечённая целиком, с головой, — были горячими, а когда мы приехали и в доме воцарилась весёлая суматоха, расставила в святилище привезённые матушкой реликвии и зажгла свечи. После чего, отодвинув золочёные двери — воздух наполнился едким запахом благовоний, — Таки принесла в святилище столик с угощениями, а потом и наши столики. И снова я села за трапезу вместе с матушкой, а добрые духи предков радостно приветствовали меня и моих домашних. После еды мы удалились в гостиную и провели час за тем, что Ханано назвала «поговорить и познакомиться»; наконец матушка пожаловалась на усталость, которую и без того уже выдавало её бледное лицо. Мы все собрались перед святилищем, Таки и Судзу уселись возле порога.

Как знакомо — и вместе с тем как непривычно! Пение, негромкое звучание маленького бронзового гонга, матушкин голос читает священные буддийские тексты — как часто я слыхала их из уст давно усопшего, дорогого моему сердцу! — всё дышало умиротворением. Тревога и одиночество, снедавшие меня долгие месяцы, испарились, душу мою охватил покой, какого я не ведала с

тех благословенных пор, когда все члены нашей маленькой семьи были вместе, в милом, милом доме нашей доброй любимой американской матушки.

«Как похожи две части света! — думала я. — В обеих множество божков, которые мало что значат, но всем правит одна мудрая, любящая и разумная Сила; наверняка настанет день, когда мы все это поймём».

Последующие недели не скупились на новые неожиданные уроки. Прежде я полагала, что семейной преданности и естественной приязни вполне достаточно, чтобы сблизить мою матушку и моих дочерей. Но вскоре я осознала, что, хоть в преданности и приязни не было недостатка, оставалось только надеяться, что однажды, быть может, появится и взаимный интерес.

Моё стремление объединить старое с новым зачастую приводило к тому, что мне приходилось, оставив попытки, целиком принимать чью-то сторону. Если речь шла о чём-то материальном, это разве что немного стесняло; загвоздка заключалась в матушкиных старомодных взглядах, противоречивших передовым методам обучения в современных школах. Нет, матушка никого и ничего не осуждала. Все события она встречала

неизменной улыбкой или любезным замечанием о «новом образе жизни», но было ясно, что она глубоко сомневается, стоит ли тратить столько времени на предметы для мальчиков в ущерб обучению икебане, чайным церемониям, игре на кото[81] и прочим женским премудростям. А физические упражнения, о которых мои дочки рассказывали с таким восторгом — девочки всем классом занимались на спортивной площадке, маршировали, задорно пели, — противоречили матушкиным представлениям о приличиях.

Я пыталась ей объяснить, что эти упражнения полезны для здоровья и развития. Я говорила ей, что, если девочки сидят прямо или идут не склоняя головы, это уже не считается неженственным и дерзким, и даже привычка Ханано за едой весело болтать о школьных делах — матушка считала, что так себя вести пристало разве что работникам, — вполне в духе её школьного воспитания.

Кроткая Тиё понравилась матушке сразу же, а вот её резвая, деловитая, энергичная сестра вечно ставила её в тупик. Ханано была такая активная, так любила говорить, когда её не спрашивают,

[81] Примечания: 81
Щипковый музыкальный инструмент.

так часто, по строгим меркам этикета, вела себя грубо и неучтиво, что я вечно за ней присматривала, следила, чтобы она ничего не натворила. Вскоре я с досадою осознала, что меня не мучит тревога, лишь когда Ханано, связав школьные учебники и впрыгнув у двери в гэта, убегает на занятия, на прощание весело помахав мне рукой, и длится моя свобода ровно до той поры, когда днём открывается дверь и в прихожей разносится звонкое «Я вернулась!».

Но понемногу я успокоилась. Я сама не заметила как и когда, но безмолвное напряжение отпустило меня. Ханано привыкла говорить тише, вести себя сдержаннее. Часто я наблюдала, как Ханано, угнездившись подле Тиё близ матушкиной печурки, слушает рассказы или, если читает вслух, спрашивает, как произносится то или иное слово, а однажды я увидела, что девочки прильнули к бабушке и она показывает Ханано, как иероглифами писать словосочетание «американская бабушка».

Тиё сразу полюбила мою матушку. Пылкая детская привязанность сперва вызвала у той оторопь, но вскоре обе искренне подружились. Как ни странно, помимо прочего их объединила религия. Детский садик находился сразу за хра-

мом, и Тиё знала дорогу, а поскольку я не хотела, чтобы матушка ходила одна, то Тиё часто сопровождала её, если Судзу была занята. Девочке нравилось сидеть в просторном торжественном помещении и слушать пение, нравилось, когда монахиня с кротким лицом — после службы она поила мою матушку чаем — угощала её рисовыми лепёшками. Однажды матушка сказала: «Тиё, ты так любезно сопровождаешь меня в храм. В следующий раз я схожу с тобой в твою церковь». И Тиё отвела её послушать нашего священника, доброго человека, который читал проповеди на японском. После Тиё с матушкой шли куда-нибудь вместе — бывало, что и в матушкин храм, где Тиё стояла склонив голову, пока её бабушка легонько перебирала чётки и бормотала: «Наму Амида Буцу!», а бывало, что и в христианскую церковь, где матушка внимательно слушала проповеди и склонялась почтительно, когда священник молился. А потом рука об руку матушка с Тиё шли домой, разговаривая об увиденном в обоих местах. Как-то раз, когда они подошли к воротам, я услышала, как матушка сказала негромко: «Быть может, он говорит правильные вещи, но мне негоже очутиться в месте лучшем, нежели то, в котором пребывает мой муж. Пусть

даже он в жутком леденящем аду, мой долг следовать за ним. Христианская вера — для нового поколения, для таких, как ты, маленькая моя Тиё, мне же надлежит идти по стопам моих предков».

Однажды днём я шила у себя в комнате, как вдруг за закрытой дверью прозвенел голосок Тиё:

— Досточтимая бабушка, — сказала она, — когда вы умрёте?

Я отодвинула дверь. Матушка с Тиё уютно устроились на одной подушке. Я изумилась, поскольку в моё время ни один ребёнок не позволил бы себе таких вольностей с тем, кто старше, и тем не менее Тиё сидела под боком у матушки; обе с серьёзным видом разглядывали крохотные лакированные шкатулочки, расставленные на полу. Рядом стояла большая шкатулка, в которой хранились маленькие. Как хорошо я помнила эту шкатулку! В моём детстве она неизменно лежала в ящике маминого туалетного столика, время от времени матушка доставала маленькие шкатулки и в каждую сыпала благовония, истолчённые в порошок. Вот как сейчас.

— Вот бы и мне такие шкатулочки для моей куколки, — сказала Тиё.

— Нет, внученька, — возразила матушка, взяла

в руки одну из шкатулочек и аккуратно встряхнула светлые полумесяцы, похожие на стружку, которую сняли с ракушки. — Это мои остриженные ногти, я собирала их всю жизнь.

— Ногти с рук и ног! — воскликнула Тиё. — Вот это да! Как странно!

— Тише, внученька. Боюсь, тебя не приучили уважать традиции предков. Мы храним волосы, состриженные в младенчестве, и ногти, чтобы, когда отправимся в долгий путь, наше тело оказалось совершенным. Скорее всего, ждать осталось недолго. — С этими словами матушка задумчиво посмотрела в сад.

Тиё с любопытством заглядывала в шкатулки, но вдруг лицо её омрачилось, и она теснее прильнула к бабушке.

— У меня на душе неспокойно, досточтимая бабушка, — призналась Тиё. — Я думала, ждать ещё долго-долго. Вы говорили, что всегда, даже когда были маленькой, клали в эти шкатулочки благовония, чтобы поддерживать их в порядке и готовности ко времени вашей смерти.

Матушка морщинистой рукой ласково погладила внучку по чёрной головёнке.

— Да, но теперь ждать осталось недолго. Я завершила труд всей моей жизни, и милосердный

Будда уже готовит мне помост из цветов лотоса — я в этом не сомневаюсь.

— Милосердный Будда хочет, чтобы вы захватили с собой свои старые ногти, когда отправитесь на помост из лотосов?

— Нет, моё тело не имеет для него значения. Для него имеет значение только мой дух.

— Тогда зачем вы так прилежно собирали ногти?

Матушка покосилась на закрытое святилище.

— Когда святилище пусто, маленькая Тиё, оно самый обычный ящик, — сказала она. — Моё тело — святилище, в котором я обитаю: мне его одолжили. Но правила учтивости предписывают возвращать в надлежащем состоянии то, что тебе одолжили.

Серьёзный взгляд Тиё затуманился.

— Так вот почему мы каждый день принимаем ванну и чистим зубы. Вот так так! Никогда бы не подумала, что это любезность Богу.

Я так беспокоилась из-за детских промахов в этикете и так радовалась, что они медленно, но всё-таки учатся, что не задумывалась, как изменилась сама за годы жизни в Америке. Так, однажды я пошла по делам, а на обратном пути, поспешая по улице к дому, заметила, что матуш-

ка стоит в воротах и наблюдает за мной. Я сразу смекнула, что она не одобрит мою неприличную поспешность — и справедливо: нет ничего неизящнее, чем если женщина в японском наряде двигается торопливо.

Матушка, как обычно, встретила меня поклоном и заметила с кроткой улыбкой:

— Эцубо, ты всё больше похожа на своего досточтимого отца.

Я рассмеялась, но щёки мои пылали, когда я шла за матушкой по тропинке к дому; я молча снесла неизбежный упрёк (ни одной японке не понравится, если ей скажут, что у неё мужская походка). Такие случайные намёки заставляли меня быть сдержаннее в манерах, даже если ум мой устремлялся к прогрессу, и под тем же молчаливым влиянием матушки две мои подвижные американские дочки постепенно превратились в воспитанных японских девочек. Через два года обе говорили по-японски уже без акцента и так ловко носили японское платье, что посторонние думали, будто они всегда обитали в Японии.

«Жить с матушкой под одной крышей для девочек само по себе поучительно», — думала я, поздравляя себя с тем, что Ханано так славно приноровилась к принципам своей бабушки.

Эгоистично занявшись своими обыденными обязанностями и довольная тем, что в доме царит гармония, я совсем позабыла, что если речь заходит о долге, то между старым и молодым природа велит предпочесть молодое. Я замечала лишь достижения — но что же утраты?

Однажды в пору цветения вишни Ханано сидела за своим письменным столом — он стоял возле моего, — как вдруг ветерок качнул ветку сакуры, растущей близ крыльца, и на стол Ханано слетели нежно-розовые цветы. Она взяла цветок в руку, аккуратно сдавила, а потом отшвырнула и уставилась на влажное пятнышко на пальце.

— О чём ты думаешь, Ханано? — спросила я.

Она удивлённо подняла глаза и медленно отвернулась.

— Однажды в Америке, — сказала она чуть погодя, — когда у нас дома собралось много гостей — кажется, на чаепитие, — я устала и вышла на лужайку. И полезла в свой замок, помнишь, на седьмую ветку высокой яблони. С неё осыпались цветы, и один угодил прямиком мне в ладонь, намочив её, точь-в-точь как этот цветок сакуры. Ах, мамочка, разве ты не отдала бы всё, лишь бы снова увидеть бабушку, и крыльцо, и деревья, и…

Чёрная головка склонилась к столу, но не успе-

ла я протянуть руку и поднять её, как Ханано подняла глаза.

— Всё в порядке, — продолжала она, — теперь я люблю Японию. Но порой у меня в груди бушевало пламя, и я бежала быстро-быстро. А однажды, когда дома никого не было, забралась на колючую сосну у крыльца — всего раз. Но больше не хочу. Всё в порядке. Мне здесь хорошо.

И тогда-то я вспомнила, как Ханано однажды бродила по дому и саду, рукава её развевались на ветру, гэта стучали по каменной дорожке, я же, чёрствая и ненаблюдательная мать, отвела её к себе в комнату и прочла ей нотацию о том, что надо вести себя смирно и тихо.

Но это было давно. Постепенно Ханано привыкла говорить тише, смеяться меньше, не так топотать по татами, сидеть молча, склонив голову, и внимать речам взрослых. Не далее как на днях матушка сказала: «Внучка подаёт большие надежды. Она растёт кроткой и грациозной».

Я сидела в задумчивости и гадала, счастлива ли Ханано. Печалиться было не в её привычках, но она изменилась. Взгляд смягчился, но утратил сияние; уголки губ чуть опустились, живая бойкая речь стала медленнее и тише. Кроткая и грациозная? Да. Но куда девалась её былая готовность

бежать по первому моему слову? Куда девался тот жизнерадостный пыл, с которым она училась, что-то делала, за чем-то наблюдала? Моя милая американочка, полная искреннего интереса к жизни, исчезла.

Я беспомощно взглянула на её стол и тут же утешилась; порыв ностальгии прошёл, и Ханано вновь прилежно занималась.

Через час я неожиданно зашла к ней в комнату и увидела, что она стоит на коленях возле раскрытого ящика с американской одеждой. Ханано достала свой старый саржевый костюмчик и зарылась лицом в его складки. Я неслышно юркнула в сад и споткнулась о цветочный горшок: я его не заметила. То была карликовая сосна. Треснувший под напором корней горшок разбился от удара, обнажив корни, сплетённые в тугой узел.

— Совсем как бедняжка Ханано! — простонала я. — Завтра эту сосну снова посадят в горшок, и ни деревцу, ни моей дочери уже не видать свободы!

Глава XXVIII. Визит сестры

Тем летом матушке нездоровилось. В последнее время приступы астмы, прежде случавшиеся редко, усилились и участились. Я написала старшей сестре и пригласила её в гости в Токио, рассудив, что матушка обрадуется её визиту, и не только потому, что повидается с дочерью (сестра всегда жила неподалёку от нашего прежнего дома), но и услышит приятные вести о старых друзьях и соседях. Сестра приехала в столицу несколько недель спустя, и её приезд был для нас истинным благословением. Она стала для матушки утешительницей, для меня — мудрой советчицей, а для моих детей — кладезем увлекательных семейных преданий: больше всего на свете сестра любила рассказывать истории о нашем старом доме, каким он был в её детстве.

В то лето едва ли не каждый день, чуть только солнце ныряло за черепичную крышу высокого дома наших соседей и прохладная тень накрывала наш сад, мы собирались в большой комнате, выходившей на крыльцо. Мы приходили одна за другой, все после горячей ванны, облекшись

в прохладный лён. Матушка прямо и с достоинством усаживалась на шёлковую подушку, сестра же предпочитала подушкам прохладу чистых татами. Она была настоящая красавица. Я как сейчас вижу, как сестра тихонько усаживается на место, по-вдовьи коротко стриженные волосы чуть вьются, а кроткое лицо словно только и ждёт предлога, чтобы расплыться в ласковой улыбке. Между матушкой и сестрой устраивались мои дети; Ханано не сидела сложа руки — либо мастерила из яркого шёлка мешочки с сухой фасолью, либо вырезала бумажных кукол для Тиё, а та с восхищением и любовью наблюдала за сестрой, положив свои драгоценные праздные ручки на колени.

Этот час мы проводили в беседах о случившемся за день: о школьных успехах и трудностях, о происшествиях, связанных с делами домашними, об окрестных слухах и сплетнях. В конце концов разговор практически неизбежно переходил на темы, всплывавшие после чьего-нибудь замечания: «Как интересно! Расскажи нам об этом!» или «Да, помню. Обязательно расскажи детям».

Однажды матушка обмолвилась, что к нам в тот день заходил священнослужитель договориться о службе «в память о той, у которой не

осталось родственников», наша семья проводила её каждый год.

— Почему она называется «в память о безымянной»? — спросила Ханано. — Грустное название.

— Это печальная история, — ответила матушка. — Она началась почти триста лет назад и никак не закончится.

— Какое отношение история Кикуно имеет к комнатушке в конце коридора? — неожиданно спросила я, смутно припомнив дверь, которую никогда не открывали. — Ведь это случилось не в том доме.

— Да, но прихожую выстроили ровно на том месте, где это произошло, — ответила сестра. — Это ведь правда, досточтимая матушка, что после того, как дом сожгли, кто-то высадил в саду хризантемы и люди не раз замечали среди цветов тусклые таинственные огоньки?

Ханано уронила шитьё на колени, и обе девочки с любопытством уставились на тётушку.

— Ну вот ты и нашла чем себя занять до ужина, — со смехом сказала я сестре. — Дети учуяли историю. Расскажи им, почему ты на днях в ресторане отказалась сесть на подушку, украшенную хризантемами.

— Ты, должно быть, считаешь меня глупенькой,

Эцубо, с твоими прогрессивными взглядами, — с неловкой улыбкой парировала сестра, — но меня всю жизнь преследует чувство, что хризантемы — дурное предзнаменование для нашей семьи.

— Понимаю, — ответила я сочувственно. — Мне тоже так раньше казалось. И это ощущение прошло, лишь когда я уехала в Америку. Там имя Мэри так же распространено, как здесь Кику, но у меня оно ассоциировалось только со святостью и благородством, ведь это самое священное женское имя на свете. Некоторые даже молятся ему. Однажды — я тогда только приехала в Америку — я услышала, как лавочница грубо кричит кому-то: «Мэри, иди сюда!», — и каково же было моё изумление, когда к ней выбежала оборванная чумичка. И у нашей соседки была невежа горничная с таким именем. Сперва мне всё это казалось дикостью, но в конце концов я привыкла, что ассоциация — частный случай. И когда мы применяем её к общему, первоначальное чувство теряет смысл.

— Люди учатся забывать, когда путешествуют, — тихо сказала сестра. — Но насколько я помню, в доме у нас никогда не держали хризантем, равно как ни на ширмах, ни на посуде, ни на платьях, ни на веерах наших не рисовали

хризантемы; в нашей семье было много прекрасных имён, означавших тот или иной цветок, но никто из рода Инагаки не носил имя Кику, «хризантема». Мы даже служанку с таким именем не приняли бы на службу, если она, пока живёт у нас, не согласилась бы взять себе другое.

— Почему? Расскажите, пожалуйста! — взмолились девочки.

И я вновь услыхала историю, которую знала с детства, но по мере того, как я взрослела, она постоянно меняла смысл и в конце концов отпечаталась у меня в сознании как предание об отважном самурае былых времён, олицетворявшем две добродетели — великую и нежную любовь и непреклонную, холодную силу верности долгу.

Этот мой пращур был главой нашего рода в ту пору, когда по требованию властей людям его сословия полагались две наложницы, дабы обезопасить семью от бездетности, которая считалась несказанным несчастьем: если в семье не было детей, полагали, что небеса вознамерились искоренить этот род. Наложниц всегда выбирала жена из дочерей семейств того же сословия, и они, хоть и пользовались меньшим влиянием, занимали положение столь же высокое и почёт-

ное, как она сама.

Вторую наложницу моего предка звали Кикуно. Её господин по возрасту годился ей в отцы, но, видимо, любил её по-настоящему, поскольку, как свидетельствуют записи об истории нашего рода, осыпал её родственников почестями и дарами. Разумеется, у японцев не принято отзываться неодобрительно о предках, и, возможно, не всем семейным преданиям следует верить, но все они как одно отзываются об этом человеке хвалебно, и мне хочется верить, что по праву.

В ту пору все знатные дома делились на две половины — женскую, где верховодила госпожа и не было слуг, а были только служанки, и половину господина, где все работы выполняли мужчины. Для занятий, требовавших выдумки и мастерства, — чайных ли церемоний, составления ли букетов — выбирали изящных юношей в ярких одеждах с развевающимися, как у женского платья, рукавами; волосы этим юношам искусно укладывали на макушке в косичку, а на висках взбивали пышные локоны.

Среди этих слуг был юноша, которому мой предок особенно благоволил. Должно быть, этот его фаворит был и знатен, и образован, поскольку был сыном его высшего вассала. И хотя муж-

ская и женская половины дома существовали обособленно, всё-таки слуги каждый день ходили туда-сюда с официальными поручениями, домашние собирались вместе, когда того требовал долг, или для увеселений, в которых участвовали как женщины, так и мужчины. По таким случаям кроткая Кикуно и юный красавец слуга часто оказывались рядом. Ей было всего семнадцать. Её господин был в два раза старше, и все его помыслы занимала война с её грозными заботами. Нежный сладкоголосый юноша, рассуждавший о поэзии и цветах, покорил её сердце — точь-в-точь как в истории Ланселота и Гвиневры.

Нет никаких причин полагать, что юноша или девушка замыслили недоброе, но японок с детства учат смиряться, а после замужества — ведь положение наложницы приравнивается к браку — японка должна оставить всякую мысль о себе.

Слухи достигли ушей господина, но он отмахнулся от них как от нелепости. Впрочем, однажды он вошёл в просторную комнату, примыкавшую ко двору, и застал этих двоих за негромкой беседой, вдобавок — непростительное нарушение этикета — наедине. Это, разумеется, пятнало фамильную честь, и стереть это пятно, согласно кодексу чести того времени, можно было лишь

кровью или — позор в тысячу раз страшнее смерти — изгнать провинившихся через водяные врата, тем самым превратив их в парий.

Пожилой господин по милосердию своему даровал им смерть почётную — от меча. Оба согласились, что приговор его справедлив. Кикуно ушла приготовиться к казни, а молодой человек медленно, торжественно и с достоинством достал два свои меча, сбросил с правого плеча верхнее платье и остался в белой шёлковой рубахе. После чего стремительным жестом ослабил пояс и, взяв в руку короткий меч, безмолвно сел на татами.

Я часто жалею обманутого господина, представляю, как он сидел там, прямой и молчаливый. Я знаю, что сердце его переполняла скорбь, а не только горечь и возмущение, но, несмотря на душевную смуту, ему надлежало хранить верность долгу, который ему диктовали тогдашние суровые нравы.

Бедняжка Кикуно сходила к сыну, обняла его напоследок — он спал на руках у няньки, — но больше ни с кем не попрощалась. Смыла помаду с губ, распустила волосы, повязала их полоской бумаги, облачилась в белые смертные одежды. После чего вернулась в комнату, где безмолвно ожидали её возлюбленный и её господин.

Неизменный обряд японского этикета провели без малейших отступлений. Кикуно встала на колени, поклонилась до земли — сперва своему господину, которого обманула, потом сидевшему подле него прекрасному юноше в девичьих одеждах. Села лицом на запад, сняла длинный пояс из мягкого крепа и туго связала свои сведённые колени. На миг сложила ладони, сжала хрустальные чётки, затем надела их на запястье, подняла кинжал и приставила к горлу его остриё. Её господин, человек строгий и справедливый, должно быть, и правда нежно её любил, поскольку сделал неслыханное. Он рывком подался вперёд, отобрал у Кикуно кинжал и вложил ей в руки собственный короткий меч Масамунэ[82], фамильную драгоценность и даже святыню, поскольку некогда его подарил деду этого самурая великий Иэясу[83].

Молодые люди погибли: юноша храбро, как самурай, но бедняжка Кикуно, падая, взмахнула рукой, задела оштукатуренную стену и оставила

---

[82] Примечания: 82

Масамунэ (1264–1343) — японский оружейник, самый известный изготовитель мечей.

[83] Примечания: 83

Токугава Иэясу (1543–1616) — принц Минамото, дипломат и военачальник, основатель династии сёгунов Токугава.

там пятно.

Тело юноши отправили родным с учтивым известием, что смерть его приключилась внезапно. Все поняли, в чём дело, и, как сам юноша, признали участь его справедливой. Погребли его в полночь, и в дальнейшем и в храме, и в родительском доме годовщину его кончины отмечали тихо. Но Кикуно похоронили с великими почестями, положенными матери маленького господина, и в память о ней пожертвовали немало денег на благотворительность. После чего господин запретил своим потомкам сажать хризантемы и упоминать в доме имя Кику. Младенца, чья мать по слабости духа лишила сына имени, положенного ему по праву рождения, отослали прочь, дабы позор не лёг на потомков, и фамильное имя унаследовал сын, родившийся позже.

Комнату с пятном крови заперли и не открывали без малого двести лет. Потом особняк сгорел. Когда мой отец отстроил его заново, многие родственники убеждали его оставить на месте той комнаты открытое пространство, но он отказался, отговорившись тем, что доброта живых друзей приучила его верить в доброту мёртвых. Для своего времени мой отец был человеком передовых взглядов.

А вот слуги ничего не забыли. Они утверждали, будто бы в новой комнате на штукатурке проступает еле заметный отпечаток ладони, что некогда темнел на старой стене, и рассказывали столько историй о призраках, что в конце концов моя матушка, исключительно из практических соображений, вынуждена была запереть и эту комнату.

Маленький сын Кикуно стал священником и впоследствии выстроил небольшой храм на горе. Храм расположен таким образом, что тень его накрывает одинокую безымянную могилу, над которой стражницей стоит статуя богини милосердия Каннон.

Но память о любви и сострадании не увядает. Почти триста лет мой давний суровый предок покоится средь своих родных в причудливом угольно-алом гробе, и почти триста лет потомки фамилии, честь которой он защищал, из уважения к невысказанному желанию его сердца каждый год устраивают богослужение «в память о безымянной».

Глава XXIX. Японка былых времён

Однажды днём, когда мы с сестрой шили у меня в комнате, к нам заглянула Ханано. Бумажные двери по случаю тёплой погоды сняли, и комнаты от сада не отделяло ничего. Мы видели, как сидящая в столовой возле хибати матушка с длинной изящной трубкой в руке смотрит в сад, и мысли её явно витают далеко.

— Матушка счастлива в этом доме, — заметила сестра. — Лицо у неё спокойное, умиротворённое, как у великого Будды.

— Вот интересно, — задумчиво проговорила Ханано, — случалось ли досточтимой бабушке хоть раз в жизни по-настоящему сильно, чрезвычайно разволноваться.

Сестра моя со странной улыбкой взглянула на Ханано.

— Я не помню, чтобы она когда-либо обнаруживала волнение, — медленно ответила сестра. — Даже в ту тяжкую пору, когда мы покинули старый дом, матушка сохраняла уверенность и спокойствие. И командовала всеми, как генерал

на поле битвы.

— Ой, расскажите! — воскликнула Ханано и села прямо. — Расскажите же мне об этом.

— Может, и правда стоит рассказать, — вставила я. — Ханано уже достаточно взрослая, ей можно об этом знать. Расскажи ей всё, что помнишь о жизни нашей матушки.

И сестра рассказала Ханано, как матушку — ей тогда было всего тринадцать лет — усадили в свадебный паланкин и в сопровождении вереницы слуг (возглавляли шествие копьеносцы, а замыкали стражи её отца) отправили в новый дом. Наш отец был первым советником в княжестве, и невеста его приехала в особняк настолько просторный, что за долгие годы, в нём проведённые, в некоторых комнатах так и не успела побывать. Мужа она видела редко, обязанности правителя заставляли его часто ездить в столицу, и молодая жена занимала время тем, что писала стихи на изящных серебряных и золотых карточках или играла со служанками в куклы — в конце концов, она была ещё ребёнком.

Со временем родились сын и две дочери, но мать относилась к ним как к прелестным куколкам, поскольку о них целиком заботились няньки, а у сына, которому предстояло унасле-

довать фамильное имя, было столько слуг для всевозможных поручений, что матушка видела его лишь в урочные часы. Он был её сокровищем, она его очень любила и ещё больше гордилась им. Вот так в просторном и безмятежном особняке текла приятная и совершенно однообразная жизнь юной жены.

А потом всё изменилось, ибо тучи войны сгущались над нашей страной. Муж постоянно рассказывал молодой жене о всяких важных событиях и однажды уехал из дому по делу, наполнявшему её сердце трепетом. Молодой жене было немногим более двадцати лет, но она сознавала долг жены самурая; с внезапно проснувшейся женской смекалкой матушка призвала к себе наставника своего маленького сына и велела переодеть мальчика в лохмотья — ведь если бы его отец попал в беду, то и жизнь его наследника оказалась бы в опасности, — после чего отправила сына под защитой верного Миното-доно в наш родовой храм на горе. А сама принялась ждать; день ото дня тучи сгущались всё грозней. И однажды тёмной дождливой ночью в дом её прибыл воин с известием, что отца взяли в плен и везут в столицу. Около полуночи, когда в храме ударит колокол, отец должен проезжать у подножия

горы, и матушке разрешат побеседовать с ним.

Матушка вперила в гонца пристальный взгляд. Если это ловушка, что станется с её сыном?

— Вы самурай? — спросила она.

Гонец величественно положил руку на рукоять своего меча.

— Я самурай, — ответствовал он.

— Друг вы или недруг, — продолжала матушка, — если вы самурай, я поверю вам.

Поверить-то она поверила, но время было опасное, так что матушка вымыла голову и под обычное платье надела смертный наряд. После чего, сунув за пояс кинжал и, наказав своему преданному слуге по имени Ёсита, что бы ни случилось, хранить верность юному господину, сообщила гонцу, что готова.

И они отправились в дождь и тьму — воин, чьи мокрые доспехи блестели в свете фонарей, и матушка в смертном наряде под платьем. Они шли по пустынным улицам, по узким тропкам одиноких рисовых полей и наконец достигли извилистой дороги у подножия горы. Там они принялись ждать.

Наконец в темноте показались огни, послышался глухой топот носильщиков; шаги приближались и наконец остановились. Паланкин,

накрытый верёвочной сетью, опустили на землю; справа и слева его стерегли воины. Носильщики отошли в сторону. Матушка подняла глаза: сквозь квадратное оконце на неё смотрел бледный отец. Их разделяли скрещённые копья воинов. Отец произнёс:

— Жена моя, я доверяю тебе свой меч.

И всё. Родители сознавали, что те, кто внимательно их слушает, ждут слова о сыне. Матушка лишь поклонилась, но отец понял, что она догадалась.

Лицо узника скрылось за тростниковым пологом, воины положили копья на плечи, носильщики подняли паланкин, и маленький отряд растворился во мраке. Провожатый, которому доверилась матушка, поднял голову и устремился к рисовым полям; бедная матушка отправилась следом, унося в сердце мысль о священном доверии, ибо скупые слова, сорвавшиеся с губ отца, означали: «Смерть предо мною. Я доверяю тебе сына, который продолжит род Инагаки и позаботится о небесном спасении сотен наших предков».

Бедная матушка несла тяжкое бремя неуверенности и тревоги, пока однажды осенним вечером гонец не принёс известие, что по равнине полчи-

ща солдат направляются к Нагаоке. Она ожидала этого, а потому спокойно и бесстрашно приказала сделать в доме приготовления как к приёму почётных гостей. Вассалам и слугам велели повесить самые дорогие картины-свитки, поставить в токономе редчайшие украшения, после чего выйти через заднюю калитку и разойтись кто куда.

Сестре в ту пору было всего семь лет, но тот вечер врезался ей в память. Их с младшей сестрой разбудили всполошённые няньки, торопливо одели, подпоясали — поскольку ни одна верная служанка семьи самураев, как бы она ни боялась и ни спешила, не забудет о поясе, этом символе достоинства каждой японской девочки, — и повели на гору ждать в темноте матушку, она медленно шла за ними по узкой тропинке с досточтимой бабушкой и двумя слугами.

Сестра рассказала с еле заметной улыбкой, как выглядели досточтимая бабушка и матушка, переодетые крестьянками. Соломенный плащ[84] досточтимой бабушки то и дело распахивался, открывая лиловое кимоно: такие носили только пожилые госпожи её положения, но бабушка заупрямилась и не стала его снимать. И шла,

[84] Примечания: 84
Речь о мино.

ставя стопы носок к носку, а не так, как ходили крестьянки.

Матушка оставила досточтимую бабушку со слугами, дочками и няньками, сама же с Ёситой вернулась к дому. Домашние наблюдали со склона горы, как матушка с Ёситой, освещая себе путь факелами, скрученными из бумаги, перемещались с места на место: Ёсита раскладывал солому, матушка поджигала, чтобы дом не достался врагу. Досточтимая бабушка молча смотрела прямо перед собой, прочие же, упав на колени, раскачивались, всхлипывали, причитали, как водится у слуг. Потом матушка, растрёпанная и чумазая, с трудом поднялась на гору, в слабом свете зари девочек переодели в одежду служанок — узел с нею принёс на спине Ёсита — и велели нянькам отвести их для безопасности в разные места. В ту пору на слуг можно было положиться. Каждой няньке дали кинжал и приказали пустить его в ход, если окажется, что плена не избежать. Эти кинжалы с гербом потомки преданных нянек до сих пор хранят как сокровище.

Сестра добавила, что с того самого утра она долго не видела матушку. Нянька отвела её в дом земледельца, где девочка одевалась и жила как простая крестьянка, а нянька её работала

в поле с хозяйской женой. Каждый вечер после купания сестру натирали коричневым соком дикой хурмы — поскольку у знати кожа светлее, чем у крестьян, — и велели говорить так же, как дети, с которыми она играла. Сестру никак не выделяли из прочих, разве что за столом еду подавали первой.

— Теперь-то я понимаю, — пояснила сестра, — что земледелец догадывался, кто я такая, но мы были в одном из тех районов, главе которого наш отец пожаловал привилегию владеть двумя мечами, и нас не выдали. И моя младшая сестра тоже была в безопасности.

Тем временем под защитой Ёситы досточтимая бабушка с матушкой — в крестьянском платье и широких шляпах-каса с вислыми полями — скитались: то жили в горах, то останавливались у какого-нибудь земледельца, порой на несколько недель находили приют в храме. Так продолжалось два с лишним страшных года: вечно прятаться, знать, что тебя преследуют, — пусть отец проиграл и очутился в плену, но, чтобы победа была окончательной, его врагам надлежало истребить всю его семью, искоренить самое его имя.

— Наконец, — продолжала сестра, — матушка

пришла в дом земледельца, где скрывались мы с нянькой. Матушка так исхудала, загорела и обтрепалась, что я не узнала её и расплакалась. Тем же вечером Миното привёз нашего брата. И рассказал, что священник, дабы спасти ребёнку жизнь, выдал его, и брат несколько месяцев провёл в заключении вместе с отцом. Оба были на волосок от смерти — пусть и достойной, — но пришла весть, что война закончена и все политические узники прощены: это их и спасло. Брат, кажется, меня почти позабыл, больше отмалчивался, но я слышала, как он рассказывал матушке, что однажды священник, завидев поднимавшихся на гору солдат, спрятал его в книжном шкафу под свитками священных текстов, дверцу шкафа запирать не стал, но сам уселся рядом и притворился, будто разбирает бумаги. Брат вспоминал, что слышал топот, стук падающей мебели, потом всё стихло, его достали из шкафа и он увидел копья: ими проткнули все закрытые шкафы, стоявшие рядом с тем, где прятался брат.

На следующий день матушка собрала всю семью, и Ёсита подыскал дом, где можно поселиться. А потом приехал отец, и жизнь — пусть самая скромная — началась сначала.

— Вот видишь, Ханано, — заключила сест-

ра, — жизнь твоей бабушки не всегда была безмятежной.

— Какая чудесная жизнь! — восхищённо сказала Ханано. — Чудесная, хоть и страшная. А досточтимая бабушка — героиня! Настоящая героиня!

Я посмотрела на дочь — грациозная, она сидела очень прямо, гордо подняв голову и крепко сжав руки. Как она похожа на мою мать! Одно поколение отделяло Ханано от старинной гордости и сурового воспитания, одно — от грядущей свободы; она обитала, увы, в печальном настоящем — растерянная, непонятая, одинокая!

Сестра прогостила у нас всю осень и зиму. Я всегда буду вдвойне ей благодарна, поскольку те недели для матушки стали последними — и выдались счастливыми. Они с сестрой подолгу беседовали о прошлом, — не как мать с дочерью, а скорее как подруги (в конце концов, матушка была старше всего на четырнадцать лет и сестра во многом была так же старомодна, как она), — перебирали в памяти былые дни. А когда нас постигло прискорбное событие, присутствие сестры стало для меня истинным утешением, ведь она лучше меня знала старинные обычаи и распоряжения делала с нежностью, какую не

выказал бы посторонний.

Когда мы печально брели в храм и погребальное каго покачивалось на плечах облачённых в белое работников, мысли мои устремились к другому — давнему — дню, когда я (мне в ту пору было одиннадцать) тоже шла в траурной процессии скорбящих друзей, сжимая в руках табличку с именем отца. Мы шагали за поющими священнослужителями по узким тропинкам средь рисовых полей, а из корзин, закреплённых на концах устремлённых в небо длинных шестов — их несли помощники священнослужителей, — нас осыпали клочки священных бумажек пяти разных оттенков. Они летели по воздуху неяркими облаками, перемешивались друг с другом и оседали на полях соломенных шляп и белых одеждах скорбящих.

Теперь всё было иначе. Даже почестям, которые мы воздаём усопшим, не устоять перед всемирными переменами, и поминальные службы по матушке устраивали самые простые — разумеется, насколько позволяло её положение. И ещё она попросила, чтобы, помимо положенных ей обрядов, мы провели церемонию «для безымянной».

Моя благородная, верная матушка! Даже на пороге смерти она хранила преданность долгу

жены и роду супруга, она вспомнила о бедной Кикуно, о которой никто никогда не молился, не считая этой одинокой службы. А поскольку брат, глава нашей семьи, был христианин, матушка понимала, что впредь эту традицию соблюдать станет некому.

Я слушала негромкое и спокойное пение под ритмичный стук деревянного барабана, думала о том, что всю свою жизнь моя кроткая матушка хранила нерушимую верность благородным своим убеждениям, и гадала, какая сила питала её стойкость и преданность. Постепенно я осознала, пусть смутно, что негромкая мелодия сменилась диковинным скорбным напевом, и мысли мои устремились к пропащей душе, из-за тяжкого греха сбившейся с пути в рай. И снова потомки фамилии, которую она опозорила, сидели, низко склонясь, и слушали, как священнослужители поют молитвы о том, чтобы ей помогли, направили скиталицу на одиноком её пути.

Наконец музыка стихла, старший священнослужитель пропел о прибытии усопших к райским вратам и помолился о милосердии, прочие священнослужители подняли над головой тарелки, медленно их свели, и долгий дрожащий звон смешался с приглушённым стуком деревянного

барабана. Пред моим затуманенным взором, расплываясь, мелькали лиловые, алые, золотистые рукава, я слушала плач и молитву о милости, что без малого триста лет возносилась под небеса в струйке дыма от благовоний; я надеялась, что памятливый бог мести хотя б из участия к бескорыстной преданности моей матери сжалится над той, что согрешила давным-давно, и исполнит последнюю матушкину просьбу.

На пороге храма я поклонилась телу моей дорогой матери и с тяжёлым сердцем проводила взглядом покачивающееся из стороны в сторону каго с изогнутой крышей и золочёными лотосами, пока оно не скрылось за поворотом дороги, ведущей к месту кремации. Мы же вернулись в наш одинокий дом, и на протяжении сорока девяти дней в нашем маленьком резном святилище светлого дерева горели свечи и вился дымок благовоний. В последний вечер я преклонила колени на том месте, где некогда молилась матушка, и прошептала христианскую молитву Богу, который понимает. А помолившись, медленно закрыла золочёные двери, искренне веря, что путешествие моей матушки окончилось с миром и что, где бы она ни была и что бы ни делала, она по-прежнему беззаветно участвует в

великом Господнем замысле.

Мой духовник всерьёз расстроился из-за того, что я отправляла эти последние буддийские обряды — совершенно лишние, ведь матушка ничего не узнала бы и не огорчилась, если б я ими пренебрегла. Я же ответила, что, если бы я умерла пусть даже на следующий день после того, как стала христианкой, моя матушка не преминула бы похоронить меня по христианскому обряду и соблюла бы его до мелочей, поскольку сочла бы, что это порадует мою душу, а я — дочь своей матери. Влияние? Да. Влияние верности, сострадания, понимания — всё это черты Нашего Отца, и её, и моего.

Глава XXX. Белая корова

Когда Ханано минуло пятнадцать, семейный совет поднял вопрос, которого я так страшилась. По японским обычаям, если в семье одни дочери, необходимо усыновить мальчика, который унаследует родовое имя и станет мужем старшей дочери. Так имя сохранится. К выбору приёмного сына я подходила со всей деликатностью, но две или три кандидатуры уже отвергла и понимала, что вскоре от меня потребуют положительного ответа.

Если японка желает сохранить влияние и почёт, ей не следует рассуждать о чём бы то ни было: это попросту неразумно. Красноречивее всего не слова её, а поступки, но настала пора, когда я поняла, что должна говорить. С письмом от моей неизменно преданной американской матушки — а предложения её оказались мудры — я предстала перед советом и попросила позволить мне на несколько лет увезти девочек учиться в прежний мой дом. Эта просьба вызвала оживлённые обсуждения, но теперь у меня в совете появились друзья — как члены семьи Мацуо,

так и моей собственной, — а поскольку прежде я послушно исполняла их пожелания, то получила щедрую награду. Мне ответили согласием. Душу мою переполняла благодарность, сердце пело от восторга; я начала готовиться к возвращению в Америку.

Тиё не знала, радоваться или горевать, что мы уезжаем. Не так-то просто оставить подружек, любимую школу, вернуться в страну, которую почти забыла и живо помнишь разве что бабушку. Но Ханано была счастлива. Бурно не ликовала, но постоянно хлопотала, ходила по дому быстрыми лёгкими шагами и негромко напевала себе под нос, а если мне случалось на неё посмотреть, неизменно расплывалась в улыбке. За то время, что длились приготовления, я не раз, глядя на её счастливое лицо, думала, что если — если — жестокая судьба помешает ей попасть в страну, которую она любит всем сердцем, то я всё равно буду вечно благодарить небо за тихую радость, что переполняла её в эту суетливую пору. И это счастливое воспоминание у меня никто не отнимет.

Время в хлопотах летело быстро, и наконец настало утро, когда мои девочки, на пальцах считавшие дни до отъезда, весело объявили, что

остались всего две ладони с растопыренными пальцами. Десять дней! Мы почти подготовились, но всего ведь не предусмотришь, как ни старайся, и всегда найдутся незаконченные дела, отложенные на последние, самые насыщенные дни.

Мои дети никогда не были в Нагаоке. Я не раз думала отвезти их туда, но жизнь наша всегда была очень насыщенной, и что-нибудь вечно мешало. Однако я не могла допустить, чтобы они уехали из Японии, не побывав там, где подле мужа и могил наших предков упокоилась их бабушка, и вот наконец ранним весенним утром мы отправились в путь.

Как отличалось наше путешествие от того, которое я много лет назад совершила с братом, направляясь учиться в Токио! Прежде путь занимал несколько дней, и проводили их то в деревянном седле, то уютно устроившись в раскачивающемся каго, то тряслись в рикше по крутой дороге; теперь же добирались каких-то четырнадцать часов на проворном маленьком поезде узкоколейки, который, пыхтя, пробирался сквозь горы — через двадцать шесть туннелей, представлявших собой новейшие достижения мирового инженерного искусства. Мы то погружались во мрак, то выныривали на солнце и любовались

холмами с террасами рисовых полей на склонах и той извилистой узкой дорогой, которую я отлично запомнила. В сумерках мы очутились на перроне оживлённого городка в окружении холмов, щетинившихся скелетоподобными нефтяными вышками. Мне рассказывали об этих переменах, но мой нерасторопный разум прежде не осознавал, до какой степени моя Нагаока превратилась в далёкий сон.

Хорошо, что дети впервые увидели город в пору цветения сакуры, поскольку даже мне показалось, что дома словно стали меньше, а улицы у́же, чем я изображала в своих рассказах. И если б не свежесть и яркость красок, что глядели поверх оштукатуренных стен, украшали храмовый двор и пестрили ветви деревьев вдоль каждой улицы, мои дочери, верно, разочаровались бы. Наутро повеял ветерок, наши медленные рикши тряслись по непривычно незнакомой дороге в Тёкодзи, воздух был напоён ароматом лепестков — розовых, похожих на ракушки, — что летели или лежали волнами на покатых крышах, зимой защищавших тротуары от снега.

«Как же мы любим эти прекрасные бесплодные деревья — символ нашего угасающего самурайства!» — со вздохом подумала я, устремила

взгляд на холм, где некогда стоял замок, и меня вдруг охватило изумлённое удовлетворение. Былой охранительный дух по-прежнему жил средь руин, ибо на камнях основания вознеслась огромная пожарная каланча с высокой наблюдательной площадкой и сигнальным гонгом.

Старого дома уже не осталось. Я надеялась, что со временем брат надумает возвратиться и провести старость в доме своей юности, поскольку очаровательная кроткая женщина, на которой он женился уже в зрелости, прожила недолго и вскоре после того, как родила наследника рода Инагаки, скончалась так же кротко, как жила все свои недолгие тихие годы. Но все интересы брата были связаны с далёким городом с его прогрессивным шумом фабрик и современной жизни, и брат слышать не желал ни о каких планах, за исключением тех, которые связаны с учёбой сына.

Вот так боги выгоды и коммерции одержали победу; всё, что осталось от наших никчемных сокровищ, перевезли в хранилище к сестре. Дзия и Иси разъехались по своим далёким домам, и теперь на месте нашего высокого просторного дома с его вислой соломенной крышей и нежными воспоминаниями вознеслись уродливые иностранные корпуса женского педагогического

училища. На месте старого каштана, под которым я похоронила Сиро, и поля, где упражнялись в стрельбе из лука и где я так часто видела отца и господина Тоду, — правый рукав спущен с обнажённого плеча, оба усердно, пусть и забавы ради, соревнуются, кто победит, — ныне раскинулся усыпанный гравием двор, где расхаживали и занимались физкультурой современные ученицы в плиссированных юбках и заграничных туфлях. Странное зрелище — и мучительное для меня! Я сознавала, что эти перемены знаменуют будущее, полное надежды и пользы, и ради всеобщего блага не желала бы их задержать, но все тихие удовольствия и колоритная давняя жизнь сменились настоящим, казавшимся дешёвым и убогим. И в те немногие дни, что я провела в старом своём городке, воспоминания о прекрасных старых традициях и идеалах порой затмевали в моём сознании новую передовую жизнь, которую я и желала бы избрать.

Отдав дань любви и уважения дорогим усопшим, мы отправились к моей сестре, она специально приехала в Нагаоку из своего дома на горе в нескольких часах езды на рикше, чтобы встретиться с нами. Деревушка, где обитала сестра, была необычная. Уступ, по которому тянулась

её единственная улочка, был настолько узок, что снизу, из долины, деревушка казалась игрушечной — оштукатуренные стены, соломенные крыши, точно пришпиленные к зелёному склону горы.

Мы покинули долину; каждую нашу повозку тянули два работника и один толкал. Подъём был крутой; обочины извилистой дороги поросли густым кустарником. Время от времени возницы останавливались и, опустив оглобли на бёдра, переводили дух, вытирали пот с раскрасневшихся лиц, набирались сил перед следующим рывком.

— Пока взберёшься сюда, запыхаешься, — сказал один из возниц и с улыбкой указал на долину, — но оно того стоит, хотя бы и для того, чтобы увидеть, как зеленеют террасы риса среди огромных бурых скал, как, разбитая на осколки, отражается солнечная лазурь неба в ряби ручья, что бежит внизу.

— Хай[85], — согласился другой, — так и есть. А горожане не видят ничего, кроме ровных улиц да пыльных крыш, торчащих поверх стен или деревянных заборов. Жаль мне их.

И, довольные, они отправились дальше, отду-

---

[85] Примечания: 85
Да (*яп.*).

ваясь от натуги.

— Что это за низкие кривые деревца с серыми стволами и множеством свежих почечек? — во время очередной остановки спросила Ханано.

— Шелковица, — ответила моя сестра. — В этих краях занимаются шелководством, и во всех деревнях на горе выращивают шелкопряда. Здесь почти в каждом доме стоят деревянные рамы с лотками шелкопряда, в тихие дни, когда идёшь по улице, слышен шелест: это червяки едят листья.

Дети заинтересовались и на протяжении нашей дороги обменивались вопросами и восклицаниями о шелкопряде и о том, как он ест листья шелковицы. Наконец наш долгий подъём завершился на коротком отвесном уступе, с которого мы резко повернули на просторную улицу с приземистыми домами с широкими свесами крыш. В дальнем её конце стоял самый высокий дом в деревне — дом моей сестры. Его изжелта-коричневатая соломенная крыша возносилась над стеной из скруглённых камней, увенчанной деревянной изгородью, до такой степени похожей на ту, которая некогда окружала наш старый дом в Нагаоке, что смутная тоска защемила моё сердце.

Слуги высыпали за высокие деревянные ворота и встретили нас радушно, как водится в сельской местности; наши повозки прокатились меж двух шеренг слуг, которые бормотали знакомое мне с детства старомодное приветствие: «О-каэри-асобасэ!» — «Как мы рады, что вы вернулись!»

После долгой тряски в повозке тихий дом подарил нам покой, а горячая ванна — в Японии (так уж издревле повелось) её неизменно готовят к приезду долгожданного гостя — чудодейственно нас освежила. Затем мы с девочками вышли в гостиную, смотревшую на крыльцо, уютно расположились на мягких подушках и стали любоваться голубым небом, долиной и миром далеко внизу; наконец две служанки внесли изящные столики для обеда.

— Придётся вам здесь обходиться без мяса, — виновато сказала сестра, торопливо входя в гостиную. — У нас только курица, и овощи с моего огорода, и рыба из горных речек. Ни мяса, ни хлеба тут не достать.

— Ничего страшного, — ответила я. — Девочки любят рыбу и рис, а я, как ты знаешь, всегда любила овощи и зелень. Помнишь «белую корову»?

Сестра засмеялась, и Ханано, не упускавшая возможности послушать очередной рассказ,

спросила:

— Что за белая корова?

И за едой моя сестра поведала историю из моего детства, такую давнюю, что я знала её лишь по чужим воспоминаниям.

— Ваша матушка росла не очень здоровым ребёнком, — начала сестра, — но по-настоящему никогда не болела. В то время многие жители Нагаоки, если не знали, как поступить в каком-то серьёзном вопросе, шли за советом к мико, жрице маленького синтоистского храма на окраине городка, и досточтимая бабушка как-то раз попросила нашего отца послать за этой благочестивой женщиной. Два дня до её прихода Эцубо не давали ни китового супа, ни лука, вообще никаких резко пахнущих блюд, и велели быть паинькой — и в помыслах, и в поступках.

Ранним утром важного дня Иси умыла Эцу холодной водой. Потом одела в кимоно с гербом Инагаки и отвела в комнату досточтимой бабушки. Там собралась вся семья, приехали даже родственницы. Помню, как Эцубо вошла в комнату, держась за мамину руку, поскольку в ту пору только училась ходить. Сестра поклонилась присутствующим, и матушка усадила её на татами рядом с досточтимой бабушкой, чуть впереди

всех прочих. Токоному в тот день накрыли соломенными циновками и украсили священными синтоистскими символами. Разумеется, самое почётное место отвели мико. Она пришла вся в белом, распущенные чёрные волосы перехвачены у плеч лентой из рисовой соломы, к которой привязаны белые зигзагообразные бумажки-сидэ. Едва матушка и Эцубо уселись, мико два или три раза пала ниц, после чего взяла из токономы прут светлого дерева, на конце которого были длинные бумажки. Мико помахала прутом над головой Эцубо, пробормотала какие-то молитвы. Мы сидели тихо, склонив головы. Наконец мико нарушила молчание сообщением, что боги ей передали: в прошлой жизни Эцубо была маленькой белой коровой, на которой возили дрова для синтоистского храма на вершине горы. Боги сказали, что маленькое создание так кротко и самоотверженно изо дня в день взбиралось по каменистой тропе и, не жалея сил, исполняло свой священный долг, что боги ускорили медленную поступь перерождений и позволили душе белой коровы в следующей жизни сразу же воплотиться в человеческом существе.

— То есть моя мамочка была этой белой коровой? — уточнила Ханано, широко раскрыв глаза

от изумления, Тиё же перестала жевать и глядела на меня с испугом.

— Наш отец не поверил мико, — с улыбкой продолжала сестра, — но тем не менее, чтобы порадовать досточтимую бабушку, щедро пожертвовал на синтоистский храм. Но всегда говорил, что это не столько дар в благодарность богам, сколько символ удовлетворения: ведь теперь-то он понимает, почему Эцубо так сильно любит овощи, а рыбу почти не ест. Правда это или нет, неважно, как в случае с любой сказкой, но вам повезло, девочки, ведь ваша матушка тянет свою ношу истово и терпеливо, она вскарабкалась по каменистой тропе препятствий и наконец готова отвезти вас в Америку.

Сестра весело кивнула детям и не скупясь положила мне на тарелку овощей и побегов бамбука.

Несколько дней спустя нас пришла повидать одна из соседок сестры, чей сын жил в Токио и вёл прибыльную торговлю нефтью. Встреча с ней напомнила нам с Ханано забавный случай, связанный с визитом жены этого сына вскоре после того, как мы приехали жить в Токио. Эта дама происходила из нуворишей — состоятельная, передовая, словом, из тех, кого называли недавно

придуманным словом «хайкара»[86], воплощавшим самую суть моды и новых веяний. Одевалась она щегольски — разумеется, на японский манер, поскольку в ту пору даже самые передовые из дам ещё не дозрели до того, чтобы выходить в свет в европейских нарядах.

После долгих церемонных поклонов и обычных приветственных расспросов о здоровье родных, а также деликатных хвалебных замечаний о букетах, выставленных в токономе, дама подалась вперёд и развернула дивный вышитый креповый платок необычного окраса. По старой японской традиции в гости идут с подарком, вот и наша гостья вынула из платка и подала нам — скромно, однако с заметной гордостью — большую заграничную картонную коробку, на которой изящными английскими буквами было написано:

ИМПОРТНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ

Иностранное лакомство с ароматом цветов!

Его употребляют и дамы, и господа

---

[86] Примечания: 86

От английского high collar. Слово используется по сей день в значении «франт, щеголь».

в культурном обществе Европы и Америки

То была большая упаковка обычной жвачки. Гостья моя держалась чопорно и изысканно, все её движения отвечали строжайшему этикету, а оттого неожиданное появление этой вульгарной коробки показалось ещё неуместнее и смешнее. При этом вполне естественно, что она подарила нам именно это. Не так-то просто выбрать презент человеку, который прожил несколько лет в Америке и по вкусам своим считается иностранцем; моя гостья отправилась в лавку с заморским товаром и заботливо выбрала то, что сочла наиболее подходящим.

Ханано и Тиё были в комнате, когда эта дама протянула мне коробку жвачки. Тиё с пристальным интересом уставилась на иностранные буквы. Разумеется, прочесть их она не могла, но Ханано, едва скользнув по коробке взглядом, снова впилась в неё глазами — после того, как мы поклонились гостье в знак признательности за доброту; лицо Ханано странным образом искривилось, она отвесила глубокий поклон, попросила её извинить и стремительно вышла из комнаты.

Едва гостья ушла, Ханано поспешила ко мне.

— Мамочка, — весело воскликнула она, — подумать только, Накаяма-сама выбрала для тебя именно это! Что бы она подумала, если б узнала, как ты ругала меня в Америке, когда я пришла из школы со жвачкой во рту? Ты тогда заставила меня прополоскать рот и заметила, что, если б мы были в Японии, Иси сказала бы, что я похожа на буддийское изображение голодных духов в аду[87]!

Сестру эта история очень заинтересовала.

— Обычай, бесспорно, диковинный, — проговорила она, — но не такой вредный, как тот, от которого пошла охагуро, наша традиция чернить зубы.

— А с чего она началась? — спросила я у сестры. — Меня в Америке не раз спрашивали об этом, а я в ответ могла рассказать лишь ту забавную старую историю о жене, которая случайно испачкала зубы и стала такой красавицей, что в сердце мужа разгорелась страсть, а в сердцах других жён — зависть.

— Есть немало историй, таких же нелепых, как эта, о нашей древней традиции, — сказала сестра. — Когда я впервые приехала домой с чёрными

---

[87] Примечания: 87
Речь о претах. — *Прим. науч. ред.*

зубами, помню, отец и господин Тода разговаривали о том, что некогда у наших предков была мода что-то жевать. А досточтимая бабушка рассказала мне вот что: «Давным-давно, когда у всех были белые зубы, жила-была молодая жена, чей ревнивый муж вечно обвинял её в том, что она улыбается, чтобы показать свои красивые зубы. И вот как-то раз, когда эта женщина резала баклажаны на ужин, она взяла тонкий кусочек их шкурки и приложила к зубам. Вернувшийся муж заметил, как красиво лиловый цвет оттеняет смуглую кожу и алые губки жены, и сердито спросил, для кого она так изукрасилась. Она пояснила, что пыталась спрятать зубы. Муж понял, какая она скромная и гордая, и больше не ревновал. А женщина, похорошев, превратилась в образец для подражания, и со временем обаяние чёрных зубов стало символом покорной жены, достойной доверия». Вот такую историю рассказала мне досточтимая бабушка, когда я вышла замуж.

Сестра, должно быть, в тот раз услышала, как отец с господином Тодой обсуждают теорию, которая разумнее всего объясняет нашу традицию чернить зубы. Исторический факт: первые завоеватели Японии, несомненно приплывшие с жаркого побережья Центральной Азии, выса-

дили на тёплых островах южной Японии — где сами впервые сошли на наш берег — бетелевые пальмы, но из-за разницы почвы и климата вырастить эти деревья практически невозможно. И через несколько лет привычка жевать бетель неизбежно закрепилась за богачами и знатью. У кареты, на которой ездил император, правивший тысячу лет назад, и которая ныне выставлена в токийском музее изобразительных искусств, была крыша из листьев бетеля. Это говорит о том, что в ту пору бетелевые пальмы были редкостью, поскольку императорская карета, разумеется, была самой роскошной повозкой в стране.

Зубы соком бетеля красила только знать; разумеется, подражать этому сделалось модным, и простые японцы подыскали замену бетелю. В Средние века — в Японии бетелевые пальмы давным-давно исчезли — знатные дамы и господа чернили зубы порошком из дикого ореха, собранного в горах. У придворных императора эта традиция сохранялась до 1868 года. В ту пору чёрные зубы были даже у императора Мэйдзитэнно. Самураи никогда не чернили зубы. Они гордились своим презрением к любой моде, которая свидетельствует скорее о праздности и роскоши, чем о мощи и силе оружия. Из-за рас-

цвета западного образа жизни после Реставрации этот символ тщеславия постепенно исчез, но, поскольку он считался проявлением изысканной красоты и беззаботной жизни высшего света, всё-таки сохранился у женщин, причём всех сословий — как эмблема брака. С тех пор женщины чернили зубы в день свадьбы и далее всю жизнь.

Нельзя сказать, что мода эта уродлива. Если зубы чернить каждое утро, они выглядят как отполированное эбеновое дерево; блестящие чёрные зубы за коралловыми губками подчёркивают прелесть смуглой кожи и кажутся японцам такими же красивыми, как европейцам в пору колонизации Америки — чёрные мушки на белоснежной, как слоновая кость, девичьей коже. Традиция чернить зубы понемногу отмирает, но в сельской местности ещё встречается повсеместно. И даже в больших городах её придерживаются почти все пожилые дамы — как самого высшего света, так и самого незначительного положения. А вот среднее сословие, как всегда, оказалось прогрессивнее.

Глава XXXI. Бесполезные сокровища

Мы провели счастливую неделю у сестры в шелководческой деревушке, и под самый конец нашего визита сестра отвела нас в своё просторное хранилище, где держали вещи, привезённые из Нагаоки. Бо̀льшая часть наших древних сокровищ превратилась в никчемное бремя, но кое-что мне хотелось показать дочерям, ведь в старину эти предметы были и полезными, и красивыми, а потому для меня по-прежнему полнились драгоценными воспоминаниями.

Сквозь тяжёлые огнеупорные двери — от пожара их защищал слой штукатурки в треть метра толщиной — мы вошли в просторную комнату, вдоль всех четырёх стен которой располагались полки, до краёв заставленные вещами. Здесь рядами тянулись узкие ящички с целой библиотекой книг в традиционных мягких переплётах. Здесь стояли ряды коробок побольше — со столиками, за которыми ели, а также блюдами, подносами и прочими предметами обихода из запасов богатого дома. Здесь были длинные тонкие коробки с

картинами-свитками и множеством украшений — бронзовыми вазами, курильницами для благовоний, предметами обстановки, вырезанными из дерева или слоновой кости, — каждый завёрнут в хлопок или шёлк и расположен так, чтобы было удобно достать, ведь убранство японского дома меняли часто.

Часть пола занимали ряды комодов, составленных спинка к спинке, а в углах стояли высокие подсвечники, ширмы и прочие крупные вещи.

— Вы только посмотрите! — воскликнула Ханано, изумлённо оглядываясь. — Я никогда, ни разу в жизни, не видела столько вещей сразу!

— Как в магазине, — подхватила Тиё, — только вещи на месте, но при этом всё вперемешку!

— Не будьте строги к моему хозяйству, — рассмеялась сестра. — Битком набитое хранилище — лучший музей предметов домашнего обихода, какой только можно найти в Японии; иначе и быть не может, ведь мы держим здесь всё, чем не пользуемся. Сюда каждый день что-то убирают и что-то отсюда достают. Я ни разу не видела, чтобы где-то в хранилище было всё аккуратно.

Но в хранилище сестры и правда царил беспорядок, поскольку кое-где на полках, заполненных наполовину, и в пространстве за деревянной лест-

ницей, ведущей на верхний этаж, были собраны вещи из наших хранилищ в Нагаоке: им пока не нашли подходящего места. Меж высоких подставок под фонари, обёрнутых в вощёную бумагу, и стопок коробок с боевыми знамёнами я увидела большой неуклюжий паланкин, в котором отец ездил с официальными визитами в столицу ещё в ту пору, когда она называлась не Токио, а Эдо. Лак потускнел, металлические украшения поистёрлись, парчовые подушки полиняли, но Ханано нашла паланкин на диво изящным. Она забралась в него, удобно устроилась на пухлой подушке, облокотилась о лакированный подлокотник, заглянула в туалетную шкатулку в шёлковом кармашке спереди. Потом посмотрела на своё отражение в тусклом металлическом зеркале и объявила, что дорожный экипаж досточтимого дедушки очень удобный, на таком хоть в Америку.

Ханано вылезла из паланкина, я толкнула обитую крышу, но замки заржавели. Прежде она открывалась и откидывалась. Если отцу случалось спешить, он не раз одевался, пока носильщики несли паланкин, а Дзия, бежавший рядом, ему помогал.

— Вот ещё один паланкин, и красивее твоего,

Ханано, — прощебетала Тиё из-за лестницы, — только у этого нет дверей.

— Ма-а! Ма-а! — рассмеялась сестра, подойдя к Тиё. — В этом не ездят, малышка. В этом купаются!

Сестра подняла и усадила Тиё в огромную красную лакированную лохань, которая, сколько я себя помню, всегда стояла в углу нашего хранилища. Мы держали в ней коконы шелкопряда, пока служанки не вешали их на веретено и не сматывали шёлковую нить в клубки, отбирая её у бедных маленьких сварившихся обитателей коконов. Края лохани потёрлись, но нигде ничего не облупилось, поскольку лак делали ещё в прежние времена и он до сих пор казался бархатистым; под блестящей поверхностью, точно водоросли в чистом ручье, виднелась лента, сплетённая из бамбука. Ванна, должно быть, была очень старая, поскольку в нашу семью она попала вместе с прочим приданым моей прапрапрапрабабки, дочери даймё Ёдо, Инаба-но-ками.

— Тиё, вылезай оттуда! Вылезай и иди сюда! — позвала Ханано. — Я нашла деревянный цилиндр — правда, подкладка у него странная, — добавила она, заглянув в шляпу.

Ханано стояла в тёмном углу, где на полке ле-

жала куча всякой всячины. В руках у Ханано была высокая крышка с неглубокого ведёрка из светлого дерева, со дна ведёрка посередине торчал крепкий острый шип. Эта вещь принадлежала отцу, её всегда хранили в закрытом шкафчике над токономой в гостиной.

— Идёмте наверх, — выпалила я. — Сестра, ты ведь покажешь девочкам свой шёлковый свадебный головной убор[88]? Они ни разу не видели традиционную свадьбу, когда убор целиком закрывает голову невесты.

Я поспешно увела детей наверх по узкой лесенке. Не хотелось объяснять им, зачем нужно ведёрко с шипом. Их современное практическое образование не позволит прочувствовать ту глубокую гордость, из-за которой многие самураи былых времён, если им случилось провиниться перед законом, предпочитали наложить на себя руки, дабы не опозорить семью своей публичной казнью[89]. И в таких вот ведёрках — а они были в доме каждого самурая — доставляли ко двору голову самурая в доказательство, что закон со-

[88] Примечания: 88

Речь о цунокакуси.

[89] Примечания: 89

Самурай делал себе сэппуку (харакири), а голову ему отсекал помощник-кайсяку. — *Прим. науч. ред.*

блюдён. После того как власти опознают самурая, его голову с подобающими церемониями возвращают родным, а самурая хоронят с почестями, поскольку он целиком искупил вину.

Разумеется, наше ведёрко никогда не использовали по его страшному назначению. Время от времени на нём крепили моток конопли, когда досточтимая бабушка или Иси сматывали её, чтобы сучить. Ведёрко для этого дела подходило не хуже, чем корзинка для кудели. Да и оба предмета были настолько похожи, что корзинки для кудели даже не клали невесте в приданое, хотя в ту пору все прочие прядильные приспособления считались для него обязательными.

Верхнюю комнату хранилища заливал свет из прорубленных в толстой стене узких оконцев, забранных железными решётками. Ставни — по сути, тяжёлые оштукатуренные двери — были открыты, по комнате гулял приятный сквознячок, так что наверху было прохладно и свежо. Вдоль стен стояли комоды и большие деревянные сундуки, обитые полосами железа; на некоторых я заметила герб Инагаки. Я легко догадалась, что лежало в этих сундуках и комодах, поскольку у сестры было полным-полно вещей, необходимых для деревенского дома. Были тут и подушечки,

обитые шёлком, и круглые подушки для мужчин, и лакированные хакомакуры, деревянные подушки под шею, и большие москитные сетки, крепившиеся шнурами к потолку по углам и таким образом защищавшие комнату целиком, и всевозможные подушки — мягкие, плотные, из тяжёлого шёлка, для зимы; тонкие, летние, сплетённые из соломы; бамбуковые, в косичку, для крыльца; плетённые из верёвок — для кухни; круглые, прямоугольные, блёклые и яркие, в узорах — ибо подушки служили нам стульями и в каждом доме имелся запас на все случаи жизни.

— А здесь лежат мои «драгоценные платья». — Сестра жестом указала на невысокие комоды. — Та одежда, которую я ношу постоянно, хранится внизу, чтобы проще было достать, эти же наряды — не все, но некоторые — в нашей семье уже двести с лишним лет.

Сестра вынула из комода искусно вышитое кимоно на алой подкладке, со шлейфом и плотной подбитой каймой — церемониальный наряд, который прежде, особенно в древние времена, надевали лишь по торжественным случаям[90]. Платье было чистое и выглядело как новое, ведь

---

[90] Примечания: 90
Речь об утикакэ. — *Прим. науч. ред.*

японки аккуратные хозяйки, так что, скорее всего, это платье доставали, встряхивали и осматривали всякий раз, как проветривали вещи, — с тех самых пор, как кто-то из наших прабабушек давным-давно надел его впервые.

— Оно совсем как те роскошные платья, которые мы видели на том спектакле в токийском театре, правда? — сказала Ханано.

Платье действительно выглядело похоже. Ведь в современной жизни пышные наряды увидишь разве что на сцене.

В следующем ящике лежали свадебные кимоно сестры — все семь штук. И льняное белое — в знак того, что сестра умерла для своей прежней семьи, — и алое шёлковое, символ рождения в семье мужа, и пять других, искусно расшитых, с гербом мужа и брачными символами — сосной, бамбуком и сливой.

— А вот головной убор, который ты просила показать. — Сестра развернула нечто похожее на большущий атласный гриб. Этот предмет был сшит из самого изысканного шёлка и закрывал не только голову, но и плечи. Внешне он напоминал плотную блестящую вуаль.

— Какой красивый! — восхищённо воскликнула Тиё. — Ханано, примерь, а мы посмотрим, как

он тебе придётся!

Я всполошённо ахнула и обрадовалась, когда Ханано, расплывшись в улыбке, покачала головой. Не знаю, почему дочка отказалась. Быть может, мягкость белоснежного шёлка смутно напомнила ей траурные одежды, в которых мы были на похоронах моей матушки. Никаких предрассудков с тем, чтобы примерить свадебный наряд, не связано, но всё-таки это не принято. Свадебные наряды убирают с глаз долой ждать своего часа. И на досточтимую бабушку, и на мою матушку в последний путь под погребальное одеяние надели свадебное платье.

В следующем сундуке лежали сестрины погребальные принадлежности, ибо свадьба и похороны, два самых важных обряда в жизни каждого японца, идут рука об руку. Этот сундук привезли из нашего дома, и половину его занимали валявшиеся в беспорядке церемониальные наряды, в каких щеголяют мужчины, что несут высокие фонари, бамбуковая голубиная клетка и тяжёлый похоронный каго. Их делали изо льна, шёлк на похоронах не используют. Были здесь также и хакама, и камисимо без фамильного герба, для вассалов, и кимоно с белым поясом, для слуг, и коробки с наколенниками-кяхан,

и сандалии-варадзи для путешествий, и масса мелких предметов, необходимых для участников замысловатых процессий. Помню, когда-то в этом сундуке лежало всё необходимое для похорон самурая — всё, кроме широкополых соломенных шляп, скрывающих от богини Солнца лица скорбящих. Шляпы по таким случаям всегда мастерили новые. В доме каждого высокопоставленного чиновника такие вещи всегда были наготове, ведь смерть зачастую является без предупреждения, а японские правила для торжественных церемоний строги и неизменны.

— Ну вот! — Сестра закрыла крышку сундука, просунула железную скобу в тройную защёлку. — Польза этих вещей, как и их красота, осталась в прошлом. Порой я распарываю какую-нибудь вещицу, чтобы обшить льном истрепавшееся татами, а если кому-нибудь из работников случается порвать ремешок сандалии, дарю ему пару сандалий из этого сундука, но вещи уходят медленно-медленно. А это, — добавила сестра и ласково похлопала по новому сундуку светлого дерева, — принадлежит будущему. И однажды пригодится.

— Что там? — спросила я.

— Мой погребальный наряд.

— Ох, сестра, — произнесла я серьёзно, — пожалуйста, покажи его девочкам. Они, разумеется, видели наряд нашей матушки, но у меня не было возможности объяснить им, что к чему.

Сестра открыла сундук и достала похоронное платье. Мы примолкли: сложенное, это платье выглядело точь-в-точь как то, в которое мы обрядили матушку. Сшили его из мягкого белого льна, вместо широкого кушака — узкий поясок, как на первом платье ребёнка, поскольку считается, что в загробный мир мы попадаем младенцами. Платье почти целиком испещряли цитаты из буддийских текстов, в разную пору написанных знаменитыми священнослужителями. Пустая полоска спереди означала, что тексты ещё не закончены. Подле платья лежал белый мешочек, его вешали на шею. Когда сестра отправится в последний путь, в него положат шкатулочку с её младенческими волосиками, которые срезали на церемонии наречения, когда сестре было восемь дней от роду[91], ещё положат высохшую пуповину, локоны, которые сестра отрезала, когда овдовела, шесть монет (чтобы отдать лодочнику), погребальные чётки с белыми деревянными

[91] Примечания: 91

Речь о церемонии «о-сития» (буквально — «седьмая ночь»), когда младенцу дают имя. — *Прим. науч. ред.*

бусинами и священную табличку под названием «пропуск на небо»[92].

Сестра принялась складывать платье и, заметив угрюмые лица девочек, весело рассмеялась.

— О чём загрустили, печальницы? — воскликнула она. — Если бы я получила телеграмму из дома, что пора возвращаться, но поехать мне было бы не в чем, — вот это был бы позор!

— Да, дети, — добавила я, — для японцев так же естественно готовиться к последнему путешествию, как для американцев иметь дома чемодан.

— Идите сюда. — Сестра поманила нас в противоположную часть комнаты. — Здесь есть кое-что твоё, Эцубо. И лучше-ка ты забери эту вещь себе.

Сестра выдвинула узкий ящик. В нём, завёрнутый в лиловый креповый платок с гербом Инагаки, лежал изящный футляр длиною примерно в треть метра. Сердце моё заколотилось. В футляре хранилось одно из трёх наших фамильных сокровищ — сайхай, некогда принадлежавший

---

[92] Примечания: 92

Скорее всего, речь об амулете с пожеланием счастливого перерождения. — *Прим. науч. ред.*

Токугаве Иэясу[93], который тот подарил моему предку на поле битвы при Сэкигахаре.

Я почтительно поднесла драгоценную вещь ко лбу. После чего, велев дочерям сесть и склонить головы, медленно развернула креповый платок и достала из него лакированный деревянный жезл, с одного конца к нему крепилась шёлковая петля — в неё продевали руку, — а с другого была бронзовая цепочка-застёжка, державшая бумажную кисть.

Мы слушали, затаив дыхание, как сестра рассказывала моим девочкам об их храбром предке, который в минуту опасности спас жизнь своего великого господина, и о том, как Иэясу любезно подарил ему на память свой окровавленный плащ, свой чудесный меч Масамунэ и жезл, которым вёл за собой войска на поле битвы.

— И все три, — заключила сестра, — по сей день хранятся в семействе Инагаки как драгоценные святыни.

— А выглядит совсем как обычная палка, правда? — прошептала Тиё, обращаясь к Ханано.

— Так это и есть палка, — отвечала моя сестра. — Самая обычная, как и любой жезл, какими

---

[93] Примечания: 93

Вновь речь о Токугаве Иэясу, основателе династии сёгунов Токугава. — *Прим. науч. ред.*

в древности пользовались военачальники, ибо Иэясу жил в ту пору, когда написали: «Узорчатые ножны говорят о том, что клинок тупой».

— Эти бумажки такие жёлтые и потрёпанные, — заметила Ханано. — А раньше они были белые?

— Да, — ответила я. — Просто пожелтели от времени. А потрёпанные они потому, что их часто отрывали и ели.

— Ели! — с ужасом воскликнули дети.

Я невольно улыбнулась, объясняя девочкам, что прежде многие верили: поскольку сайхай побывал в руке самого Иэясу, бумажные ленточки обрели волшебную силу исцелять недуги. Я слышала, как моя матушка говорила, что больные порой приходили издалека, чтобы выпросить клочок бумаги, скатать его и проглотить этот катышек как лекарство. Отец каждый раз смеялся, но всё равно просил матушку дать человеку бумажку, присовокупляя, что она куда безвреднее многих снадобий, а вера и вовсе целительна.

Мы направились было вниз, как вдруг я остановилась возле большого сундука из светлого дерева, с объёмной крышкой и на изогнутых ножках: в похожих сундуках в храмах хранят книги. Этот сундук-кири я видела в детстве, но только в

те дни, когда вещи доставали проветрить, и всегда он был перевязан священной синтоистской верёвкой. Я нерешительно окликнула сестру.

— Прости мне мою дерзость, — сказала я, — но не могла бы ты открыть этот кири? Наши чувства уже не те, что были, и мне так хотелось бы, чтобы дети…

— Эцубо, ты хочешь взглянуть на реликвии, — перебила сестра, но осеклась и пожала плечами. — Ладно, всё равно женские глаза уже смотрели на них, — добавила она не без горечи, — новый порядок вещей лишил нас всех благоговения.

Мы с сестрой взялись за концы крышки и подняли её, как некогда, давным-давно, делали Дзия с Ёситой в церемониальных одеждах. Меня охватил трепет, когда мы наклонились и заглянули в сундук. Некоторых реликвий в нём уже не было. Плащ и меч Иэясу ныне хранились у потомков другой ветви рода Инагаки, книги с нашей родословной забрал мой брат; нашим взорам открылось сложенное одеяние, похожее на саван, некогда белое, но пожелтевшее от времени. Сверху покоился остроконечный головной убор и старинный деревянный раскладной веер. В этом наряде даймё или его представитель в качестве

верховного священнослужителя отправлял обряды в храме, посвящённом его предкам; считалось, что в такие минуты на него нисходит небесная сила. Бабушка рассказывала, что однажды, когда мой прадед надел это облачение, под тенью его широко простёртого рукава было явлено чудо.

Едва взглянув на реликвии, мы тут же бесшумно опустили крышку. Больше мы с сестрой об этом не упоминали, но я знала, что она, как и я, считает, что мы поступили дерзко, открыв кири, ведь в старину его держали в святилище и нога женщины не ступала даже в ведущий к нему коридор, дабы не осквернить святыню. Я давно уж переросла свою детскую веру в подобные вещи, но память не вовсе утратила влияние надо мною, и мысли, прекрасные и печальные, крутились в моей голове, как вдруг одно из тяжёлых окон со стуком затворилось. Их всегда закрывал снаружи слуга с длинным шестом, и, видимо, кто-то из слуг, не зная, что мы в хранилище, закрыл окно.

— Ма-а! Ма-а! Уже поздно. Торопитесь, негостеприимно прошу вас, — рассмеялась сестра.

Мы поспешно спустились по узкой лестнице и вышли во двор. Окна одно за другим со стуком закрывались за нашей спиною, погружая хранилище со всеми его сокровищами во мрак.

Глава XXXII. Чёрные корабли

Вечером накануне нашего отплытия в гости зашёл мой токийский дядюшка и принёс в подарок девочкам коробку «ленточек дружбы» — тонких, изящных дрожащих полосок, которыми связывают руки друзей меж палубой и причалом в минуту отъезда и расставания.

— Я возьму розовую для Тосико, а синюю — для Куни-сан, — воскликнула Тиё, увидев яркие ленты, — белую для учительницы, лиловую — для вас, дядя Тоса! Две самые красивые для вас, любого цвета, какой выберете!

— А я возьму целый моток красных и белых для всей Японии! — сказала Ханано. — Любовь, большая любовь и прощание, ведь я никогда не вернусь. Я всех здесь люблю, но останусь навсегда с бабушкой в «доме, милом доме», — и Ханано, мурлыкая песенку, удалилась, сияя от радости. Она и не думала, что однажды всё же вернётся, и не раз, вдвойне полная преданности: как к своей родине, так и к той стране, которую любит, той, где её дети, муж и дом.

Ханано и Тиё легли спать, я же рассеянно

собирала последние вещи. Судзу взяла в руки сложенную шаль, чтобы положить её сверху в чемодан и закрыть крышку.

— Тут свободно, — сказала Судзу. — Сюда и подушка влезет, но глупо везти в такую великую страну, как Америка, самую обычную подушку, на которой мы сидим.

Ей было невдомёк, что на дне чемодана лежит величайшая ценность; пока я не увидела её в хранилище сестры, я искренне полагала, что эта вещь наверняка осталась подле печурки в комнате досточтимой бабушки. То была квадратная плоская подушка из синей парчи, старая и порядочно полинявшая.

Я заворачивала её в одиночестве, чтобы взять с собой в долгую дорогу, и когда пальцы коснулись шёлковых цветов, мысли мои обратились к прошлому — к тому самому дню, когда маленькая черноволосая девочка в гэта с топотом вошла в просторную прихожую и, наскоро отдав учтивый поклон родителям, простёрлась перед бабушкой, которая с книгой в руках сидела на этой самой широкой и плоской подушке.

— Досточтимая бабушка, — молвила девочка и указала на цветную карту мира, — я не знаю, что и думать. Мне только что рассказали, что наша

любимая страна лишь несколько крохотных островков на огромной планете.

Бабушка поправила большие очки в роговой оправе и принялась сосредоточенно изучать карту. Затем медленно и с достоинством закрыла книгу.

— Нет ничего удивительного, маленькая Эцубо, в том, что Японию на этой карте изобразили такой крохотной, — проговорила бабушка. — Это сделали люди на чёрных кораблях. На японских картах Япония большая.

— Кто такие эти люди на чёрных кораблях? — спросила девочка.

— Рыжеволосые варвары, явившиеся без приглашения на нашу священную землю. Они приплыли на больших чёрных кораблях без парусов.

— Это я знаю. Иси поёт мне об этом, — ответила девочка и затянула пронзительно:

Они явились из края тьмы,

Великаны с носом крючком, точь-в-точь как у горного чёрта;

Великаны с взъерошенными рыжими волосами;

Они выманили обещание у нашего свя-

щенного властелина
И плясали от радости, и снова уплыли
В свой далёкий край тьмы.

— Интересно, почему их корабли назвали чёрными. Вы не знаете, досточтимая бабушка?

— Потому что издалека они походили на клубы чёрного дыма, которые подплывают всё ближе и ближе, а ещё потому, что у них были длинные чёрные пушки, издававшие грохот. Рыжеволосых варваров не заботила красота. Они смеялись над японскими лодками с парусами из дорогой парчи и с резными деревянными вёслами, инкрустированными кораллом и перламутром. Они разговаривали как торговцы и не желали познавать душу детей богов.

Бабушка примолкла и медленно покачала головой.

— А потом? — нетерпеливо спросила девочка. — Досточтимая бабушка, что было потом?

— Чёрные корабли и рыжеволосые варвары уплыли прочь, — с глубоким вздохом заключила бабушка. — Но много раз возвращались. Они всегда возвращаются. И теперь люди в нашей священной земле лишились радости и безмятежности и тоже разговаривают как торговцы.

— Неужели радость и безмятежность уже никогда не вернутся? — Девочка с тревогой смотрела на бабушку. — Досточтимый учитель говорит, что плывущие корабли сближают разные страны.

— Послушай меня, внученька! — сказала бабушка, выпрямившись. — Пока рыжеволосые варвары и дети богов не познают душу друг друга, их страны не сблизятся, сколько б ни плавали корабли.

Шли годы, и Эцубо, та самая девочка, что некогда слушала историю о чёрных кораблях и рыжеволосых варварах, сама отправилась на чёрном корабле без парусов в новый свой дом в далёкой стране рыжеволосых варваров. Там она поняла, что души людские в обеих частях света одинаковы, но тайны этой не знают ни на западе, ни на востоке. И эта новая глава дополнила бы историю моей бабушки — дополнила бы, но не завершила бы. Рыжеволосые варвары и дети богов ещё не познали душу друг друга, ещё не открыли тайну, но корабли уже плывут… плывут…

Послесловие переводчика и редакторов

Мемуары Эцу Инагаки Сугимото «Дочь самурая» впервые были опубликованы в 1925 году на английском языке сначала в журнале Asia, а затем в издательстве Doubleday. Если верить открытым источникам, благодаря своим воспоминаниям Сугимото стала первой уроженкой Японии, чья книга получила статус бестселлера в США. В 1940 году «Дочь самурая» перевели на японский язык, и перевод осуществлялся под контролем автора.

Две версии книги — английская и японская — неидентичны. Японская содержит больше упоминаний типичных для жителей страны реалий: еды, одежды, предметов быта. А оригинальная версия на английском языке описывает те же реалии общими словами: просто безликий шкафчик, какие-то лепёшки, традиционный алтарь — не более того.

Работая над переводом «Дочери самурая» на русский язык, переводчик Юлия Полещук и редакторы Любовь Сумм, Анна Слащёва и Елена Васильева решились в ряде случаев отойти от

сухости англоязычной версии и сверить перевод не только с оригиналом, но и с авторизованным переводом книги на японский.

Во-первых, некоторые реалии, не известные американскому читателю первой трети XX века, оказались вполне понятны российскому читателю первой трети XXI века. Например, мы точно можем себе представить, что такое «онигири» — и это название скажет нам больше, чем просто «шарики риса», да и слово «сюрикэн» рисует перед нашим мысленным взором чёткую картинку. Поэтому мы включали такие слова в русский перевод даже тогда, когда их нет в английском тексте, предварительно проверив корректность упоминания того или иного продукта или предмета с научным редактором, японистом Анной Слащёвой.

Во-вторых, мы решили добавить к некоторым русским словам через дефис японские названия — в тех случаях, когда реалии могут оказаться для современного читателя плохо различимыми. Например, печурка и очаг: поэтому в тексте появились «печь-хибати» и «очаг-котацу».

В-третьих, мы позволили себе оставить в нём те японизмы, которые обозначают повторяющиеся объекты, например веревку-симэнаву с

бумажками-сидэ, сосенки-кадомацу, соломенные сапожки юки-гуцу.

В-четвёртых, мы выбрали абстрактные понятия и традиции — ярким примером станет «охагуро» — и тоже включили их в текст.

Во времена Эцу Инагаки Сугимото у читателя не было возможности зайти в интернет, вбить в поисковик несколько слов и увидеть картинку, которая изображает неизвестный ему предмет. У современного читателя эта возможность есть, поэтому нам кажется важным и оставлять японизмы в сносках к тексту — чтобы интересующиеся японской культурой смогли посмотреть, как выглядят куколки тэру-тэру бодзу, причёска такасимада или рыбка мокугё, — и добавлять некоторые японизмы в сам текст. И, конечно, в нем остались те японизмы, которые Эцу-сан использовала в своём англоязычном тексте.

Чтобы быть с читателем до конца честными, мы приводим полный список добавленных в основной текст японизмов — их не более тридцати — и значения в соответствии с главами, где они появляются впервые.

Глава I «Зимы в Этиго»: камон (герб), данго (рисовые лепёшки), юки-гуцу (соломенные сапожки)

Глава III «Зимние дни»: хибати (печка), котацу (очаг), карута (игра в карты)

Глава IV «Старое и новое»: буцудан (шкафчик), камидана (алтарь)

Глава VI «Солнечный Новый год»: кадомацу (сосны), симэнава (верёвка, которую используют в синтоистских храмах и алтарях, а также на праздники), сидэ (бумажки, которые подвешивают к симэнаве)

Глава VII «Несостоявшаяся свадьба»: мино (соломенный плащ)

Глава IX «История марионетки»: онигири (треугольники из риса), оомотэ (орган самоуправления)

Глава X «День Петуха»: нандина (барбарисовый куст)

Глава XI «Моё первое путешествие»: кашая (одеяние буддийского монаха)

Глава XII «Наука странствий»: сюрикэн (метательный кинжал)

Глава XV «Как я стала христианкой»: катагина (кимоно без рукавов), дзякё (христианское вероучение)

Глава XVII «Первые впечатления»: кодзики (столбик)

Глава XXIII «Тиё»: токкури (кувшинчик)

Глава XXV «Наш токийский дом»: кисэру (чаша)

Глава XXX «Белая корова»: охагуро (традиция чернить зубы)

Глава XXXI «Бесполезные сокровища»: хакомакура (деревянная подушка под шею), кяхан (наколенники), варадзи (сандалии)

Переводчик Юлия Полещук, редакторы Любовь Сумм, Анна Слащёва, Елена Васильева

Огромная благодарность научному редактору книги Анне Слащёвой: благодаря её кропотливой работе далёкие от нас японские историко-культурные и этнографические реалии стали понятнее и ближе.

Над книгой работали

Директор по контенту Яндекс Книг: *Юлия Мишкуц*
Главный редактор оригинальных проектов Яндекс Книг: *Ксения Грициенко*
Ответственный редактор: *Елена Васильева*
Менеджер проекта: *Дарья Виноградова*
Продюсер аудио: *Елизавета Никишина*

Научный редактор: *Анна Слащёва*
Литературный редактор: *Любовь Сумм*
Корректор: *Людмила Захарова*

Производство аудио: Вокс Рекордс
Обложка: Наташа Агапова
В оформлении обложки использован фрагмент цветной гравюры на дереве (суримоно) Ясимы Гакутэя «Кисть: леди Вэй» (Рейксмюсеум, Нидерланды)

Перевод выполнен по изданию:
Etsu Inagaki Sugimoto. A Daughter of the Samurai.
New York: Doubleday, Page & Company, 1925.